

Совбрана

Полдень, XIX век

Полдень, XIX век

ФАНТАСИЯ



Полдень, XIX век

корпорация
Сомбра

Сканировал и создал книгу - vtmakhanov

П49 Полдень, XIX век: Сборник фантастических произведений. — М.: Корпорация «Сомбра», 2005.—352 с.
ISBN 5-91064-002-X

Когда речь заходит о фантастике XIX—начала XX века, поклонники этого жанра прежде всего вспоминают Жюля Верна и Герберта Уэллса. Космические путешествия, летающие корабли, боевые субмарины и другие плоды воображения этих писателей, ставшие реальностью, кажутся нам исключительным приоритетом западной литературы. Имена же русских фантастов, предвидения которых затмевают самые смелые фантазии европейских авторов, незаслуженно забыты. А ведь им удалось прозреть не только технический облик нашего времени, но и многие политические события, оказавшиеся неожиданными даже для людей нашей эпохи. Как знать, возможно, еще при жизни нынешнего поколения сбудутся и другие предсказания классиков русской фантастики Фаддея Булгарина, Григория Данилевского, Николая Федорова..

Этот сборник — попытка воздать должное нашим соотечественникам, которые опередили свое время на века, и познакомить с их творчеством современных любителей фантастики

Владимир Одоевский

4338-Й ГОД¹

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в соннамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изощренная долгим упражнением, позволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего соннамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты, какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; ка-

¹ По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. (Примеч. В.Ф. Одоевского.)

кую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю, — может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжение нескольких столетий; скажите, что бы мы знали о временах Нехао, даже Дария, Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в

таком употреблении; не только через 2500 лет, но едва ли через 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что через 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р. Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газа также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытоего тяжестью, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих

законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеизложимым письмам.

Кл. В. Одоевской

**От Ипполита Чунгнева,
студента Главной Пекинской школы,
к Лянгину, студенту той же школы**

Константинополь, 27-го декабря 4337-го года

ПИСЬМО 1-е

Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, — с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучна; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аэролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться; действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промельнули мимо нас.

Теперь — теперь слушай и ужасайся! я сажусь в Русский гальваностат! — увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увершания деда Орлия, и собственную опасность, — и все наши понятия об этом предмете.

Воля твоя, — летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоявшие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они меня не понимали! они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из russkik подвержены воздушной болезни — при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови, — может быть, тут многое значит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространялось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на Землю, или, если хочешь, соединение ее с Землею, кажется делом решенным; приблизительно назначают время падения нынешним годом, — но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

С.-Пбург. 4 Янв. 4338-го

ПИСЬМО 2-е

Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: *Гостиница для прилетающих*. Здесь такое уже

обыкновение на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицею, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно, — не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь никогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно; что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полуширю; истинно, дело достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в дома и в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воз-

дух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциации именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снаряда-ми, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие.

Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не

более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноzemцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

P.S. Скажи своему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камер-обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

ПИСЬМО 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой средине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в кото-

ром содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположеными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательная коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного размеру: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому, — спросил я у смотрителя Кабинета, — что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений, — отвечал он, — но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания, — сказал Харгин, — но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе, как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите, — сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту, — вот, — продолжал мой ученый, — одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтобы ослабить силу этого страшного животного, — заметил смотритель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля, и этим железом могли наносить ему больше вреда?

— Ваше замечание очень остроумно, — отвечал учтивый ученик, — но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину, — сказал Хартин, — на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р. Х. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать, — сказал я, смотря на скелет, — что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось, — заметил Хартин.— В огромных связках антикварии находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель, — но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций, и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово *немцы*; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла.

Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России, — сказал я, — это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманны, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Гедесков покорили Германцы, или правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцев Дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...

— Да! Так думали до сих пор, — отвечал Хартин, — но теперь здесь между антикварами почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью.

Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиным условились не пропустить первого заседания.

ПИСЬМО 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив

приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное. потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассыпает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и le menu¹. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнитические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью, ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

ПИСЬМО 5-е

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.

Меню (фр.)

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаяев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы, — это никому не покажется странным; записные ж фешионабли решительно молчат по целым вечерам, — это в большом тоне, спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большою частию в платьях из эластичного хрустала разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать: Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, бы-

строту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидающем бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки *a la comete*¹; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаяу, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которой я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей dame и с удивлением увидел, что она играла на

¹ В виде кометы (*фр.*)

клавишиах, приделанных к бассейну эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление.

Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные плечи, отражались в быстро бегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локонны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки как бы выходившей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света, — все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов, — это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивывать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение.

В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами — для гостей; некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком: ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержащийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (*bouquet*) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решавшимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны, — обыкновенно более привыкий к магнетической манипуляции, — все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на

которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперевес высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь, — сказал один, — хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». — «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа, — сказала одна хорошенькая дама, — потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». — «Ваше радужное платье, — сказала щеголиха своей соседке, — так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также, и я также», — вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и скажанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнитическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и выюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего Министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не озабоченовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

ПИСЬМО 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философи, и историки первого и второго класса. К счастию, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжение нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опыта; из сего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преж-

девременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старицу употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание) обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на него лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались [на] личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять [его]. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна, — непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием, — а на это едва достает сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседели от беспрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностью и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р. Х.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан.

«Это один из первых памятников, — сказал мне хозяин, — Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

ПИСЬМО 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю, — сказал он, — позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большую частью они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заня-

ты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнитической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим Государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта: *Петрополь с башнями дремал...*

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету, молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментариев, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли бумагою и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столо-

начальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...» Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастию, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразумение: что значит слово «столоначальник»? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен, — аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжался действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалованье, пятьсот рублей, с важностию такого места, каково должноствовало быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что в древности слово рубль было общим выражением числа вещей: как, например, слово «мириада»; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть великого человека, переживший его по крайней мере четырё тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся доныне от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, както: *raport*, или правильнее *report*, *инструкция*, *отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их?!

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обычные дни зала едва может вмешать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бралились.

— Что это такое? — спросил я у Хартина.

— О, не спрашивайте лучше, — отвечал Хартин, — эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В на-

шем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши учение гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чужды благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продаёт, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; вся кому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междуусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удается нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение

— Скажите, — спросил я,—откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?

— Они большою частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться, — а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительной антропологией, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце.

Здесь мы приблизились к дому.

ФРАГМЕНТЫ

I

В начале 4337 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат¹ быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над Гостиницей для прилетающих; почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластичного стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков» — Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества, — возразил, улыбаясь, трактирщик, — состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной матема-

¹ Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом. (Прич. В.Ф. Одоевского.)

тики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству

Американец насмешливо улыбнулся:

— О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас — что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги...

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?

— Вы получаете даром... от вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием, — а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной тарифе...

— Это не совсем дурно, — заметил расчетливый американец, — мне подлинно неизвестно было это распоряжение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.

— А откуда вы сели, смею спросить?

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстрактана спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота *a la fleur d'orange*, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. Да после обеда нельзя ли мне иметь магнитическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнитическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластичному дивану на золотых жердях опустили с потолока опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.

Путешественник кашал за двоих — и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику, — мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историком при первом здешнем поэте Орлий, то одно из почтеннейших званий в империи; должность историка приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта, или производить новые следования по его указаниям, его звание учреждено неявно, но уже принесло значительные услуги государству, Исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.

Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим, — и о чём мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особенно замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными,—ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; [давнее] разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно [или] — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому, — он решил, следя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученую, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходит в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте

некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы: каждый из историков имеет в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антропологов, географов; физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и далее. Минеролог имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копиистов [...] испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды несимволичные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блестательными успехами, которые означенновали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренно вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

ЗАМЕТКИ

Сочинитель романа «The last man»¹ так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассуд-

¹ «Последний человек» (англ.)

ков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей, — тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся. Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, — вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.

АЭРОСТАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ

Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в *пространстве*; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, — колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п. — словом, все общественное устройство?

Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самим своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.

Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.

Письма из Луны.

Нашли способ сообщения с Луной; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейски-

ми потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

ЭПОХА 4000 ЛЕТ ПОСЛЕ НАС

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не означает своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

XIX век. Через 2000 лет

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие через туннель, сделанный насеквозд земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее. Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта.

В Петербург[ских] письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоительность орудий человека в сравнении с тою целью, мысль о которой выработалась умственную деятельностью. Этюю невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целью наводится на все человечество беззадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнью.

Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства *превращать климаты* или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны. Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии производит то, что лицемerie и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы *et les hommes le savent naturellement*¹.

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизова-

¹ И люди осознают это естественно (фр.)

ние делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатию или антипатией, которая обнаруживается при магнитических действиях.

Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

Машины для романов и для отечеств[енной] драмы.

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка замениется электрическим разговором; проживут еще романы, и то недолго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет прелстовать труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.

Скажете: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. *Non multum sed multa!*¹ без этого жизнь невозможна.

В немногом — многое (лат.)

Сравнительную статистику России в 1900 году.

Шелковые ткани заменились шелком из раковины.

Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерян) — в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.

Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает.

Фаддей Булгарин

ПРАВДОПОДОБНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ, или Странствование по свету в двадцать девятом веке¹

Однажды вздумал я пригласить моего доброго приятеля переехать со мной на ялике из Петербурга в Кронштадт. Погода была прекрасная; тихий ветерок играл с нашим парусом; мы любовались прелестными видами берегов, златыми шпицами Петербурга и лесом мачт, окружавших Кронштадт. Поговорив о древнем и нынешнем состоянии России, о великом ее преобразователе Петре I и о будущих благоприятных надеждах, мы невольно завели философический разговор о способностях рода человеческого вообще и о благе, проистекающем от направления сих способностей к полезной деятельности.

— Веришь ли ты, — спросил меня приятель, — что род человеческий беспрестанно стремится к совершенству в нравственном отношении и что наши потомки будут лучше нас?

' Не хочу присваивать себе чужого и признаюсь перед читателями, что уже многие прежде меня пускались странствовать на крыльях воображения в будущие века. Известный французский писатель Мерсье и немецкий Юлий фон Фосс особенно отличились в сем роде Но как область вымысла чрезвычайно обширна и всякому позволено странствовать в ней бездланно и беспошлиенно, то я вознамерился также перешагнуть (разумеется, в воображении) за 1000 лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки. Мерсье и фон Фосс поместили в своих сочинениях много невероятностей, вопреки законам природы, я, напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное Нравственную цель сей статьи читатели увидят сами (Здесь и далее примеч Ф В Булгарина.)

Я. Хотя не совсем верю, но желаю этого от чистого сердца.

Приятель. Как, не веришь? Сравни дикого Новой Голландии с образованным европейцем; рассмотри философически причины различия между частными людьми и народами, и после этого ты удостоверишься, что нравственное состояние человека усовершается беспрестанно по мере успехов просвещения в народе, благоустройства в государстве, изощрения способностей человека в занятиях благородных, возвышенных, полезных.

Я. Не сомневаюсь, что человек способен к совершенству, но верю, что эта постепенность образованности, от дикаря Новой Голландии до просвещенного европейца, имеет свои пределы и не может простираться за черту, назначенную природой. Как невежество, так и образованность имеют свое начало и конец: все крайности сходятся между собой. Последняя степень невежества есть бессмыслие; полет ума за пределы природных способностей — влечет к *сумасшествию*. А это одно и то же!

Приятель. Это голос самолюбия мудрецов XIX столетия. Древние греки и римляне, без сомнения, также думали, что степень их образования есть самая возвышенная; но согласись, что они, в сравнении с нами, дети, едва вышедшие из младенчества.

Я. Не соглашаюсь. Древние образованные народы обращали все умственные свои способности на усовершенствование философии, нравственности, политических сведений, изящных искусств и общежития. Должно сознаться, что они достигли возможного совершенства во всех сих отраслях человеческих познаний. Со времен Сократа и Платона едва ли сказано что-нибудь нового по части светской нравственности и философии. Просвещенные европейцы поныне руководствуются римскими законами и следуют образу правления древних, в различных его изменениях. Величайшие наши знатоки удивляются остаткам греческих и римских искусств, а в общежитии мы не только отстали от древних, но даже потеряли ключ к истинным наслаждениям. Сравни наши скучные этикетные балы, бостоны, вечера и длинные обеды — с пищевыми древних, где ум и сердце так же наслаждались, как и чувства. Прежде полагали, что мы превосходим древних в новых политических системах, но недавно открытая ученым, г-м Майо, рукопись Цицерона доказывает, что древние имели даже понятие о ны-

нешнем роде правления. Повторяю, они превосходили нас в нравственном отношении, довели до возможного совершенства все отрасли образованности, обратившие на себя их внимание, и умели лучше нас наслаждаться жизнью.

Приятель. Но зато как мы далеко шагнули вперед в науках физических. В последнее столетие сделано более открытий, нежели в первую тысячу лет. В наше время созданы химия, физиология, физика, механика, медицина, открыто электричество, магнетизм, исследованы газы и проч. Все это со временем завлечет нас далеко на поприще открытий и усовершенствований. Теперь каждый номер газеты объявляет что-нибудь новое по части наук, художеств и даже умозрительной философии. Кажется, что род человеческий соединенными силами стремится к совершенству, сится сорвать завесу, скрывающую тайны природы. Счастливые начала обещают великие успехи.

Я. Правда, что в физических науках мы гораздо выше древних, и если открытия будут продолжаемы беспрестанно в таком же множестве и с таким же рвением, то любопытно знать, что будет с родом человеческим через тысячу лет...

Едва я успел кончить последние слова, как вдруг поднялся сильный ветер; одним ударом опрокинуло наш ялик: я упал в море и потерял чувства...

Когда я пришел в себя, мрак ночи препятствовал мне видеть, где я находился; но я чувствовал, что лежу в мягкой постели, окутанный одеялами. Чрез несколько времени свет начал пробиваться чрез малые отверстия в ставнях, — я отворил их и остолбенел от удивления. Стены моей комнаты, сделанные из драгоценного фарфора, украшены были золотой филиграввой работой и барельефами из того же металла. Ставни сделаны были из слоновой кости, а все мебели из чистого серебра.

Для собственного уверения, что я не сплю, я щипал себя, кусал, бегал по комнате, и наконец удостоверившись, что все это происходит наяву, я подумал, что рассудок мой расстроился и что мое воображение представляет мне все предметы в каком-то странном виде.

Я открыл окно, и мне представилась великолепная площадь, окруженная прекрасными лакированными домами различных

цветов. Кругом площади и по бокам широкой улицы, продолжавшейся во весь разрез города, были сделаны крытые галереи для пешеходов, а на мостовой чугунные желобы для колес экипажей. Все улицы еще были пусты; я увидел одного только часового, стоявшего у большого фонтана посреди площади. На нем был красный бархатный плащ; на голове имел он круглую соломенную шляпу с пуком перьев марабу, а в руке держал длинный шест, к которому на нескольких колесах прикреплены были дюжины две небольших пистолетов, и в средине шеста — длинный мушкетон. По-видимому, это оружие было очень легко, потому что часовой повертывал им, как перышком.

Наконец мало-помалу начали отворяться двери и окна в домах. Представьте себе мое изумление, когда я увидел господ и госпож в парчовых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких однокомнатных двухколесных возках, наподобие кресел: они катились сами без всякой упряжки по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы: дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины. Крестьяне и крестьянки, сидевшие на возах, все одеты были с таким же великолепием в парчу и бархат; при этом зрелище я более уверился, что я сошел с ума, и принял горько плакать о потере небольшого количества моего рассудка.

Чрез полчаса дверь отворилась в моей комнате, и вошел господин в парчовом полукафтане, в шелковых чулках, с распущенными кудрями по плечам. Он с низким поклоном объявил мне чистым русским языком, что его барин прислал осведомиться о моем здоровье и спросить, что мне угодно.

— Скажите, ради Бога, где я и что со мной делается? — воскликнул я трепещущим голосом. Служитель, как казалось, не понимал моего вопроса и потому не отвечал.

- Как этот город называется? — спросил я
- Надежин, — отвечал слуга.
- В какой стране он лежит?

— В Сибири, на Шелагском Носу.

При сих словах я громко рассмеялся.

— Как в Сибири! — воскликнул я.

— Точно так, — отвечал слуга. — Но позвольте доложить моему барину, что вы проснулись; он придет к вам, и вы лучше с ним объяснитесь.

Слуга пособил мне одеться в платье, сшитое наподобие азиатского, из ткани чрезвычайно легкой, голубого цвета.

— Кто же таков ваш барин? — спросил я. — Вероятно, какой-нибудь принц, судя по богатству его дома.

— Он профессор истории и археологии при здешнем университете, — сказал слуга и вышел из комнаты.

— Бедный мой рассудок! — воскликнул я. — Наконец тебе суждено помешаться на золоте, не оттого ли, что ты всегда мало занимался этим предметом! Но посмотрим, что мне скажет профессор, который, как кажется, собрал в своем доме богатство всей ученой братии из целого мира. Не снимет ли он оболочки, покрывающей мой ум и взоры?

В сие время он вошел в мою комнату, в такой же простой и легкой одежде, как моя, и, вежливо поклонившись, просил меня сесть с ним рядом на канапе. Не дав ему выговорить слова, я повторил мой вопрос: где я нахожусь, и, услышав прежний ответ, спросил, каким образом я здесь очутился.

— Вчера люди, работавшие на берегу морском, — сказал профессор, — нашли вас в меловой пещере, завернутого в драгоценную траву *radix vitalis* (жизненный корень), которую мы употребляем для возвращения к жизни утопленников, задохшихся и всех несчастных, у которых жизненные силы остановились от прекращения дыхания, без расстройства органов. Но скажите мне, в свою очередь, каким образом вы попали в эту пещеру?

— Не знаю, что вам отвечать, — сказал я. — Вчера, то есть 15 сентября 1824 года, я упал в море между Кронштадтом и Петергофом, поблизости Петербурга, а сегодня нахожусь в Сибири, на Шелагском Носу, в великолепном городе! Признаюсь вам, — продолжал я, — что я сомневаюсь в моем здоровье и думаю, что мое воображение расстроилось. Все, что я слышу и вижу, удивляет меня и приводит в недоумение.

— На свете ничего нет удивительного, — отвечал профессор, — кроме того, что люди могут еще чему-нибудь удивляться! Самая удивительная вещь — создание Вселенной, а все прочее неудивительно. Знайте, что ныне 15 сентября 2824 года и что вы спокойно проспали в пещере целые 1000 лет!

— Возможно ли? — воскликнул я.

— Пожалуйте не удивляйтесь ничему, — сказал профессор, — а скажите мне, помните ли вы все происшествия своего времени?

— Помню, как вчерашний день, — отвечал я.

— Прекрасно, — сказал он, — вы можете нам объяснить многие исторические и археологические предметы и принесете большую пользу истории просвещения. Взамен я вас познакомлю с нравами и обычаями нашего времени; между тем пойдемте позавтракать; я вас представлю моему семейству.

Мы сошли в нижний этаж по круглой лестнице из слоновой кости и вошли в залу, убранную с неимоверным великолепием. В ожидании прибытия дам я вступил в разговор с профессором.

Я. Кто бы подумал, что Шелагский Нос, только что описанный в наше время и состоявший из ледяных и снежных глыб, будет населен? Что суровый климат северной Сибири превратится в роскошную полуденную страну, в Эльдорадо, и что, наконец, у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков!.. Непонятно!

Профессор. А кто бы подумал в Древней Греции и Риме, во времена Геродота и Тацита, что пустыни Севера, которые первый описывал страною, вечным мраком покрытою, а другой обиталищем волков и народов люлейших, нежели дикие звери, что Север, говорю я, через тысячу лет украсится богатыми городами, населится просвещенными народами и славой сравняется с Грецией и Римом? Сравните описание Германии Тацита и записки о Галлии Юлия Кесаря с состоянием сих стран в XIX веке: климат, люди, все переменилось. Точно то же сделалось с Сибирью: все это весьма естественно и нимало не удивительно. Истребление лесов, осушение болот, переход внутренней теплоты земли к Северу, возвратное движение рав-

ноночных пунктов (*Praecessio aequinoctiorum, precession des équinoxes*) и, наконец, множество непредвиденных случаев изменили наш климат; теперь мороз водворился в Индиях и в Африке, а полярные страны сделались самыми роскошными и плодородными.

Я. Полярные страны! В наше время только начали их отыскивать и описывать одни углы. Скажите, отыскан ли северо-западный путь и справедливо ли предположение наших ученых, что Берингов пролив соединяется на севере с Баффиновым заливом?

Профессор. Без сомнения. В наше время это обыкновенный путь кораблей из Индии в Европу.

Я. Слыхали ли вы о капитане Парри, который в наше время прославился, открывая сей путь между грудами льдов, хотя предприятие его осталось неисполненным?

Профессор. Имя его известно в истории наук.

Я. Но скажите мне, откуда у вас такое множество золота и серебра? В наше время даже в сказке неприлично было бы говорить о таком богатстве.

Профессор. В ваше время золото и серебро составляли богатство, а ныне эти металлы почитаются самой обыкновенной, дешевой вещью и употребляются только небогатыми людьми. Жадность к богатству изрыла землю до такой степени, что люди отыскали, наконец, жилы самородных металлов в чрезвычайном множестве и в полной мере пресытились золотом и пустым блеском. От большого количества золота и серебра цена их упала, и человеческая прихоть причислила сии металлы к предметам бедности, по предвечному правилу, что только то мило, что редко и дорого.

Я. Из чего же чеканите вы монету и делаете драгоценные свои вещи?

Профессор. Из дубового, соснового и березового дерева.

Я. Из дерева, которым у нас топили печи, из которого строили барки, крестьянские дома, мостили дороги!..

Профессор. Оттого-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не радели о воспитании и сохранении дерев, они наконец сделались редкостью и драгоценностью.

Я. Из чего вы делаете свои драгоценные платья, если парча, бархат и шелк составляют убранство черни?

Профессор. Мужчины носят платье из рыбьих жил, как, например, мое и ваше, и из морских растений, а щеголихи и модницы из рогожек, из перьев редких птиц, чешуи редких рыб и листьев ароматных деревьев.

Я. Воля ваша, но я не могу удержаться от смеху. В наше время таким образом одевались только дикие фигляры под ка-челями.

Профессор. Богатство и вкус — вещи условные: первое про-исходит от редкости предметов и трудности их приобретения; второе зависит от прихоти людей или моды, всегда смешной и странной. В глазах мудрого истинное богатство состоит в воз-можности удовлетворения первым жизненным потребностям, а впрочем, все равно, на золото или на куски дерева вы покупа-ете необходимые для вас вещи. Мне известно по истории, что даже в ваше время король Сандвических островов, Тамёамеа, платил европейцам за пушки, корабли и товары сандаловым деревом. Согласитесь, однако ж, что дуб превосходнее сандала.

Я. Это правда: богатство есть вещь условная.

В сие время вошла жена профессора с двумя прелестными дочерьми и маленьkim сыном. Женщины были одеты в туники из рогожек, сплетенных весьма искусно и окрашенных в ра-дужные цветы. Мальчик лет 10 был просто в халате. Каждая женщина в левой руке имела кожаный щит, покрытый непро-ницааемым лаком, чтобы закрываться от нескромных глаз, во-оруженных очками с телескопными стеклами, которые были в большой моде¹. Хозяйка сказала мне несколько слов на неиз-вестном мне языке, но, увидев, что я не понимаю, спросила по-русски, неужели я не говорю по-арабски.

— Нет, — отвечал я, — в наше время весьма немногие уче-ные занимались изучением сего языка.

— Это наш модный и дипломатический язык, — сказал про-фессор, — точно так же, как в ваше время был французский.

Женщины не могли скрыть улыбки при сих словах, и стар-шая дочь спросила меня:

¹ Мысль о телескопных стеклах принадлежит Фоссу Я прибавил щиты, чтобы избавить красавиц от весьма затруднительного положения.

— Может ли это статься, чтобы ваши дамы говорили французским языком, однозвучным, почти односложным и беднейшим словами из всех языков?

— В наше время, — отвечал я, — дамы говорили по-русски только с лакеями, кучерами и служанками, а всю свою премудрость истощали в подражании французскому произношению. У нас кто не говорил по-французски, — продолжал я, — тот почитался невежею в большом свете, хотя иногда так случалось, что те из русских, которые между собой говорили всегда по-французски, бывали величайшими невежами.

— Все это повторяется теперь у нас, — сказал профессор, — с той только разницей, что французский язык в наше время есть то же, что у вас был чухонский, а богатый, звучный и гибкий арабский язык заступил место французского.

В это время человек принес поднос, уставленный деревянными некрашеными чашками, поставил его на золотой столик и через несколько минут принес две деревянные же чаши, одну с русскими щами, другую с гречневой кашей и бутылку с огуречным рассолом. Я решительно отказался от этого завтрака, почему все семейство крайне удивлялось.

— Жена моя, — сказал профессор, — хотела угостить вас самым дорогим завтраком из заморских растений; извините ее, она не знает археологии и потому не могла угодить вашему вкусу. Я велю вам из кухни принести чаю, кофе и шоколаду: эти в ваше время лакомые вещи ныне употребляются только черным народом.

— Правда, — сказал я, — что уж в наше время простой народ начал излишне употреблять чай и кофе: я предвидел, что со временем богатые люди, для отличия, откажутся от сих растений. Но я не понимаю, каким образом, взамен чаю и кофе, самые грубые растения: капуста, гречиха и огурцы — вошли в такую честь!

— От редкости, — отвечал профессор. — Переменой климата переменилось царство растений, и эта обыкновенная и грубая в ваше время пища ныне получается на кораблях из Индии, взамен бананов, кокосов, корицы, перцу и гвоздики, которые мы туда посылаем. Впрочем, по исследованию ученых медиков, оказывается, что капуста, гречиха и огурцы — здоровая и

питательная пища — достойны оказываемой им чести. Можно утверждительно сказать, что эти растения гораздо полезнее всех горячительных средств, которые в таком множестве употреблялись в ваше время и производили подагру, расслабление нервов и преждевременную старость.

Напившись чаю, я предложил профессору прогуляться со мной по городу и осмотреть некоторые заведения; он согласился на это, и мы, надев небольшие соломенные шляпы, вышли на улицу.

Осмотривая дом с улицы, я не мог довольно налюбоваться прекрасной отделкой фризов, капителей, колонн и других наружных украшений. Плоды, цветы и различные фигуры, изображенные на стенах между окнами, превосходили все, что я доселе видел по части ваятельного искусства.

— Прекрасная лепная работа! — сказал я.

— Вы ошибаетесь, — отвечал профессор, — все наши дома и все эти украшения сделаны из чугуна.

— Как, чугунные дома! — воскликнул я. — Это что-то необыкновенное. Хотя в наше время начали уже употреблять чугун для дорог, мостов, колонн, лестниц, разного рода машин, полов, даже картин¹ и галантерейных вещей, но я никак не мог предвидеть, чтобы из чугуна можно было строить дома.

— Ничего нет легче, — сказал профессор, — строитель дома представляет на чугунный завод план и фасад здания, и ему отливают нужное число ящиков или сундуков колонны, пол, потолки и крышу, которые скрепляются между собой винтами. Ящики, закрытые со всех сторон, имеют по одному малому отверстию с винтом, через которое насыпают в ящики сухой песок, а для крепости стен и защиты от влияния атмосферы сии ящики спаиваются между собой особенной массой вроде мастики. Такие дома весьма удобно переносить с места на место, и несколько огромных фур с паровыми машинами перевозят дом в несколько часов.

— Теперь понимаю, что это нетрудно, если вы богаты железной рудой, — сказал я. — Но чрезвычайное употребление горючих веществ, при недостатке дров, должно быть весьма ощущительно небогатым людям, и ваши заводы, вероятно, погло-

¹ Я видел прекраснейшие портреты выпуклой работы, сделанные на казенном заводе

шают большое количество земляных угольев, торфу или других материалов.

— Вы снова ошибаетесь, — сказал профессор. — Новый способ разложения атмосферного воздуха, открытый знаменитым самоедом Пануромаем, членом Обдорской академии, в 1946 году, производит светородный газ, который согревает нас, освещает и содержит наши заводы и фабрики. Во всякой части города находится главная лаборатория, откуда проведены трубы во все дома. По воле хозяина оного или жильца при повороте одного крана комнаты освещаются: другой кран в несколько секунд согревает печи, а третий доставляет огонь в кухню и в одно мгновение готовит кушанье.

— Все это хорошо, — сказал я, — но такое множество металла не привлекает ли в город электричество во время грозы?

— На что же громовые отводы, — сказал профессор, — которыми в ваше время так мало пользовались? Посмотрите, у нас над каждым домом, мостом и будкой находится громовой отвод, а кроме того мы всегда снабжены этим спасительным орудием. Снимите вашу шляпу! — примолвил профессор.

Я снял ее, и он мне показал под пуком перьев складной громовой отвод¹ и клубок цепочки для спłyва электрической материи на землю.

— Вот это прекрасно, — сказал я, — но при всем том гром может оглушить человека.

— Посмотрите в вашем боковом кармане, — сказал профессор, улыбаясь.

Я вынул три небольшие эластические шарики из красивой коробочки, и профессор объявил мне, что это *воздухоотражатели*, которые должно класть в рот и в уши во время грозы.

— Итак, у вас все придумано для спокойной и беспечной жизни, — примолвил я, повертывая эластические шарики.

— К чему бы иначе послужили науки? — сказал профессор. — Из одного любопытства, право, не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования.

В это время мы проходили мимо купеческого магазина, и я остановился посмотреть, как двенадцатилетний мальчик по-

Выдумка громовых отводов на шляпах принадлежит Фоссу Це почки и воздухоотражательные шарики мое изобретение

средством простого рычага, укрепленного на шпиле, поднимал огромные тяжести и препровождал их в слуховое окно, где другая машина (в виде весов, укрепленных на блоке, управляемая также мальчиком) спускала товары на пол.

— Боже мой! — воскликнул я. — Самые простые средства в механике, открытые еще в баснословные времена, известные в наше время каждому плотнику; рычаг, клин, весы и винт наконец дождались своего настоящего употребления. В наше время тысяча человек работали бы в поте лица при подобном случае.

— Это самое простое средство, — сказал профессор, — но у нас есть паровые подъемные машины, которые поднимают, как перышко, стопушечные корабли и ворочают утесами, как булыжником. Человек силен одним своим умом, и так он должен действовать своими умственными силами для преодоления сил физической природы... Но сядем в валовую машину, — сказал профессор, — чтобы поспешить к прибытию воздушного дилижанса. Сегодня почтовый день, и я ожидаю писем от сестры моей, из Новой Голландии.

Мы сели в покойные кресла на рессорах; мальчик завел пружину, стал сзади, и мы покатились по чугунным желобам столь же быстро, как в наше время скатывались с летних гор на Крестовском острове или у качелей на Святой неделе.

Вскоре мы прибыли на обширную площадь, где возвышалась чугунная башня с террасой наверху. Здесь мы остановились, и профессор объявил мне, что это воздушная пристань. Едва мы взошли на террасу, как увидели вдали огромный шар, к коему подвязан был большой плашкот в виде птицы, размахивавшей крыльями и хвостом необыкновенной величины. Черный дым вился струей за судном и с первого взгляда удостоверил меня в существовании паровой машины.

Пока воздушный дилижанс приближался, я спросил у профессора, каким образом достигли люди до управления аэростатами, изобретенными в наше время и послужившими один раз только в пользу, в сражении при Флерусе¹.

¹ Во время Французской революционной войны с аэростата, прикрепленного на веревке, наблюдали однажды движения неприятельской армии

— Ничего нет проще, — сказал профессор, — как это средство. Надобно было только немного логики и много смелости. Первый водоплаватель, — продолжал он, — который выдумал ладью, для управления ею подражал рыбам и водоземным животным. Для поворачивания ладьей он сделал руль наподобие рыбьего хвоста, а для горизонтального движения сделал весла по образу рыбых крыльев и лап животных. Устрица и бобр научили его употреблению паруса. Воздух есть такое же упругое тело, как вода, и некоторыми законами действует на тяжесть. Итак, чтобы летать по произволу, надлежало подражать птицам, что было весьма легко по изобретении средства держаться в воздухе. Птица летает вперед, опускается или поднимается посредством крыльев и хвоста, приводимых в движение мускулами, которые в свою очередь подчинены воле или инстинкту животного. Мы сделали те же крылья и хвост, мускулы заменили винтами и пружинами; вместо произвольного движения употребили паровую машину (которая беспрерывным своим движением уподобляется жизненной силе), а вместо воли поставили кормщика — и дело с концом¹.

Между тем аэростат приблизился, свернул крылья, бросил якорь на террасу, и часовой, прикрепив якорный канат к вертикальному колесу, посредством пружины привел его в движение и притянул дилижанс на поверхность пристани. Человек до ста мужчин и женщин вышли из плашкота, каждый с особыенным парашютом в руках. Пока в кантоне разбирали письма, я любовался устройством воздушного дилижанса и осматривал крылья, которые ничем не отличались от употребляемых в ветряных мельницах. Профессор, приметив, с каким любопытством я осматривал механизм сего аэростата, по прочтении писем пригласил меня за город, на воздушное ученье, и мы тотчас отправились туда в ездовой машине.

Не могу выразить чувствования, объявшего мою военную душу при виде двухсот огромных аэростатов с плашкотами, выстроенными в одну линию на земле. Пред каждым стояло по сто человек солдат, вооруженных духовными ружьями со штыками

У Фосса воздушные шары управляются запряженными в них орлами Мне показалось это совершенно невозможным, и я выдумал крылья и паровую машину

ками. По первому сигналу люди взошли на плашкоты, по второму зажгли огонь в паровых машинах, а по третьему музыка заиграла военный марш, развились разноцветные флаги, и аэростаты поднялись на воздух. Сперва они пролетели значительное пространство в одну линию, потом разделились на плутонги и начали делать различные повороты. Ничто не может сравниться с величием и прелестью этой картины: я был в восхищении, но вскоре мой восторг превратился в ужас. По данному сигналу из духовой пушки с аэростата главного начальника воздушной эскадры вдруг солдаты бросились опрометью на землю с неизмеримой высоты. Я обмер от страха, но вскоре пришел в себя, увидев распускающиеся в воздухе парашюты, которые, плавно опускаясь в различных направлениях, представили взорам моим другого рода прелестное зрелище. Солдаты, коснувшись земли, выпутились проворно из сеток, свернули парашюты и, привязав их как ранцы к спине, немедленно построились и начали производить пешие маневры.

- Каково вам это нравится? — спросил профессор.
- Чудеса! — воскликнул я. — После этого изобретения ни крепости, ни оборонительные местоположения, ни быстрые переходы не спасут неприятеля. Одно только отчаянное мужество может сохранить армию от поражения.
- Погодите немного, — сказал профессор, — вы увидите, что против каждого средства есть противодействие.

Чрез несколько времени аэростаты опустились на землю, и несколько других шаров, без плашкотов, пустили на воздух на веревках.

- Это на что? — спросил я профессора.
 - Для цели, — отвечал он.
- В эту минуту выступила рота солдат, без ружей, с колчанами за плечами и самопалами в руках. Начальник скомандовал, и они начали бросать из луков конгревовы ракеты, от которых шары тотчас полопались в воздухе.
- Вот это ужасно! — сказал я.
 - Опасность не столь велика для воздухоплавателей, как вы думаете, — отвечал профессор, — ибо люди в подобных случаях спасаются на парашютах и обыкновенно не лишаются жизни, но попадают в плен.

Когда ученье кончилось, я пожелал увидеть вооружение солдата: ружья, как выше сказано, были духовые, а в сумах, вместо пороху, находились съестные припасы, а именно: один серебряный ящичек с крепким бульоном, вываренным из различных растений и мяс, которого несколько крох достаточно для пропитания целого семейства, по крайней мере на месяц; другой ящичек наполнен был мукой из питательного саго, для делания опресноков, и наконец каждый солдат имел при себе пневматическую машину для превращения воздуха в воду в случае нужды, и машину для произведения кислотвора, а из оного огня для варения пищи.

Похвалив все сии применения наших изобретений к общественной жизни, я заметил, что удобство иметь всегда при себе огонь, воду и съестные припасы особенно спасительно на кораблях, где часто случается, что во время кораблекрушения людей выбрасывает на необитаемые берега и несчастные погибают там от нужды и изнурения.

— В наше время все эти изобретения пригодны только воздухоплавателям и вовсе не нужны для морского флота, — сказал профессор. — Во-первых, потому, что у нас более не бывает кораблекрушений, ибо суда построены из меди и железа, а во время бури опускаются на дно морское; во-вторых, морская вода в несколько минут, посредством гидравлических чистителей, превращается в пресную; в-третьих, дно морское доставляет нашим мореходцам и водолазам множество растений и животных для пропитания, а наконец, в-четвертых, потому, что в наше время вовсе нет необитаемых берегов: вся земля населена, удобрена и украшена руками людей, размножившихся до невероятной степени. Даже голые утесы среди океана, посредством привозной и сделанной из камней земли, превращены в роскошные сады, а безопасность подводного плавания и воздушное сообщение поддерживают взаимные сношения отдаленных стран и удовлетворяют жизненным потребностям.

— Итак, подводные суда, изобретенные в наше время американцем Фультоном и усовершенствованные англичанином Джонсоном, введены в употребление? — спросил я.

— Без сомнения, — отвечал он. — Вы, подобно детям, забавлялись новыми изобретениями, как игрушками, а мы поступа-

ем как взрослые люди. Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы в продолжение ее можно было наслаждаться цветами изобретения и плодами усовершенствования. Надобно слияние многих жизней, опыты веков, чтобы каждая новая выдумка и открытие принесли немалую пользу.

Наконец, профессор объявил мне, что он должен поспешить на лекцию в университет. Я просил его взять меня с собой, но, для избежания взоров любопытства, скрыть от всех, что я всеобщий дедушка или предок нынешнего поколения. Мы снова сели в ездовую машину и покатились обратно в город, проехав во всю его длину к противоположным городским воротам, и, миновав оные, остановились у крыльца великолепного и огромного здания, окруженного ботаническим садом и зверинцем.

Профессор ввел меня в круглую залу, или ротонду, в которой находилось около пяти тысяч слушателей различного пола, возраста и звания. Между тем как профессор пошел в подготовительную комнату, имевшую сообщение с возвышенной кафедрой, я поместился у входа на скамье и начал читать программу лекций, полученную мною от приదверника. Распределение факультетов было то же самое, что и в наше время, только науки имели свои собственные подразделения, которые в наше время показались бы смешными и странными. Например, в юридическом разряде перед науками законоведения и судопроизводства находились три новые разряда, а именно: *добрая совесть, бескорыстие и человеколюбие*. К философии прибавлены были *здравый смысл, познание самого себя и смирение*. В разряде исторических наук я заметил особенное отделение под заглавием: *нравственная польза истории*, а к статистике и географии прибавлено было отделение: *достоверность показаний*. В филологическом разряде первое место занимал *отечественный язык*. Особенная наука под названием: *применение всех человеческих познаний к общему благу* — составляла отдельный факультет, со многими подразделениями, по мере средства и связи всех отраслей человеческих познаний.

Вдруг раздался звук колокола, наступила тишина в собрании, а профессор *здравого смысла* взошел на кафедру — я в первый раз в жизни слушал публичную лекцию с таким удо-

вольствием и вспомнил то время, когда я, посещая один немецкий университет, заснул на философической лекции, упал со скамьи и привел в смятение и соблазн всех почитателей Канта и Шеллинга. Теперь другое дело: профессор говорил понятным для всех языком, излагал истины, близкие сердцу. Он говорил, что здравый рассудок повелевает безусловно повиноваться законам той земли, где мы живем; не осуждать опрометчиво поступков старших, во-первых, из схождения к человечеству, а во-вторых, потому, что мы, наблюдая действия, часто не знаем ни первой побудительной причины, ни цели. Он советовал судить о делах по следствиям, а не по началу и не по первым впечатлениям, приводя в пример спасительные лекарства, которые, действуя на тело, производят часто неприятные ощущения. Говорил, что общее благо граждан проистекает от стремления каждого в особенности к вспомоществованию ближним. Делать добро другим значит делать добро себе самому, потому что этим средством приобретается право на любовь и уважение других, а с сим вместе на их помощь. Он советовал каждому исполнять свою должность самым строжайшим образом, для поддержания общего благоустройства, и приводил в пример машину, которая, от одной испорченной частицы в механизме, изменяет свое назначение. Одним словом, профессор здравого смысла говорил в продолжение целого часа такие вещи, которые почти всем были известны в наше время, но не обращали на себя большого внимания, потому что были разбросаны в беспорядке по различным сочинениям и почитались слишком обыкновенными.

После того мой хозяин, профессор, начал изъяснять археологию, и я удивился, когда он, вместо одних букв, чисел, часов и почерков, начал объяснять, по древним памятникам, степень гражданской образованности народов, их обычай, нравы и критическими изъяснениями стал доказывать, чему должно подражать и что отвергать. Слава Богу, подумал я, что наконец сухая археология, удручавшая мою память и раздражавшая мое терпение, получила истинное свое направление.

Профессор кончил лекцию, и пока слушатели и другие профессоры расходились по домам, он повел меня в археологический музей и библиотеку.

В музее все предметы расположены были хронологическим порядком, и можно догадаться, что я поспешил в залу, где над дверьми написано было «XIX столетие».

Здесь я увидел наши костюмы, экипажи, землемельческие орудия, оружие, собрание монет и медалей, обломки капителей, портреты, бюсты, гробницы и пр. и пр. Я хотел испытать познания моего профессора и удостоверился, что он гораздо лучше знает философическую часть своей науки, нежели практическую. Я нашел множество знакомых мне лиц в числе портретов, писанных в первой половине XIX столетия, и чрезвычайно смеялся, когда профессор начал мне объяснять свои догадки об их звании и достоинствах, судя по одежде и положению тела на портретах. Невежу, написанного с книгой в руках, он почитал ученым; актрису в театральном костюме называл африканской принцессой; капитана-исправника или уездного комиссара, написанного с саблей в руках, он называл полководцем, а земского судью, моего приятеля, который велел написать свой портрет в мундире, с кипой бумаг, почел за великого дипломата. Но более всего забавляло меня то, что он трактирные вывески с именами городов почитал надписями триумфальных ворот, и мраморную гробницу откупщика называл гробницей азиатского военачальника, судя по длинной и кудрявой надписи.

Когда я ему растолковал истинное значение всех сих предметов, то он столько же смеялся, как я, и мы согласились, что, вероятно, многие греческие и римские медали, египетские гробницы, этрусские сосуды, статуи, на которых в наше время учёные археологи везде видели полубогов, героев и богов, часто изображали кого-нибудь гораздо ниже званием и принадлежали, может быть, честным трактирщикам, купцам и прочим смиренным гражданам.

— В наше время, — сказал я, — учёные филологи и изыскатели древностей на каждом египетском капище вычитывали имена Клеопатры и Птоломея и сохраняли их, как драгоценности, принадлежавшие сим знаменитым владельцам Египта, не обращая внимания на то, что и бедным мещанам не запрещено было называться сими именами.

— Ваша правда, — сказал профессор, улыбаясь, — но перейдем в библиотеку

Я предполагал, что увижу несколько миллионов книг, судя по страсти наших авторов к печатанию своих произведений и по успехам типографского искусства, но как я удивился, когда увидел собрание книг не обширнее бывшей библиотеки Плавильщика, у Синего моста, в Санкт-Петербурге. Профессор сказал мне, что ныне только отличные сочинения помещаются в библиотеках, а прочие истлевают в книжных подвалах или поступают на обертки в лавки и магазины.

Еще к большему моему удивлению, я здесь не нашел сочинений, которым в наше время друзья сочинителей предсказывали в журналах бессмертие, а напротив того, увидел книги, о которых мало говорили, а еще менее читали, занимающие здесь почетные места. Чтобы не трогать самолюбия моих современников, я вовсе умолчу об их именах; скажу только, что я тщетно искал новых наших романтиков, наших нежных Парни и чувствительных Ламартинов (разумеется, подражателей) и всех сладкозвучных поэтов, которые в наше время пленяли раздражительный слух своих приятелей и приятельниц гармонией стихов, музыкальным сочетанием слов и попеременно — то сладострастными, то ужасными и отвратительными картинами. С переменой вкуса переменялось понятие о прекрасном, и с преобразованием языка рассеялась условная прелест: звучные слова, как пустое эхо, замолкли в воздухе, а картины исчезли, как тени при появлении солнечных лучей. Остались только возвышенность мысли, силачувствований, глубокое познание всегда неизменного сердца человеческого, просвещенная любовь к родине и великие истины природы; а сладкозвучная поэзия, составленная из одних слов и картин, разбилась, как старые гусли.

Утешьтесь, знаменитые тени Ломоносова, Державина, Озерова, Фонвизина, ты, древний Нестор, красноречивый Платон, остроумный Кантемир и прочие поборники истины! Я видел ваши творения, оцененные по достоинству, ваши имена, начертанные золотыми буквами в сем святилище ума и гения. Скажу больше: сочинители грамматик и словарей, изыскатели отечественного языка уцелели в сем литературном кораблекрушении. Потомство, всегда признательное к полезным трудам, сохранило их память. Все прочее поглощено временем.

Но утешьтесь и вы, почтенные мои собратия, журналисты, милые поэты и легкие прозаики, утешьтесь моим собственным уничижением: тщетно я искал моего имени под буквой Б. Увы! я не мог отыскать его под спудом тысячи лет, и все мои статейки, критики и антикритики, над которым я часто не досыпал ночей, в приятных надеждах на будущее — исчезли! Сперва я хотел печалиться, но вскоре утешился и, выходя за двери, весело повторил любимое мое выражение: *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*

Професор сказал мне, что должно поспешать домой, где ожидают его гости, которых он созвал в честь моего пробуждения, потому что для моей собственной пользы мне надлежало открыться. Итак, отложив до другого времени осмотр любопытных предметов, находящихся в университете, мы поспешили в дом профессора.

Собрание было многочисленное. Профессор пригласил почетнейших людей в городе, первостепенных дам и знатных иностранцев, в числе коих было несколько негров и людей оливкового цвета. Хозяин сперва представил меня градоначальнику, человеку отличному своими сведениями, нравственными качествами и заслугами. Он был в цвете лет, деятельно исполнял свою должность и пользовался всеобщим уважением.

После того профессор подвел меня к молодому человеку небольшого роста, с широким лицом, сплюснутым носом и назвал его принцем эскимосским, начальником эскадры, стоявшей на якоре на здешнем рейде. Я недавно читал «Путешествие» Парри и удивился сходству лицеочертания сего принца с картинками, приложенными к книге сего путешественника, изображающими жителей полярных стран, бедных эскимосов, которые в наше время, подобно медведям, блуждали по необитаемым берегам и льдам полярных морей. Вежливость и образованность сего принца и находившихся с ним двух адъютантов заставили меня догадываться о высокой степени просвещения полярных стран.

Засим профессор познакомил меня с молодым негром и назвал его сыном знаменитого Барабаноя, полководца сильнейшей в Африке империи Ашантской. Этот юноша путешествовал для приобретения опыта, сопутствуемый своим настав-

ником, негром по имени Кукуреки, которого профессор рекомендовал мне как первого в то время историка, Тацита двадцать девятого столетия. Я не мог удержаться, чтобы не сказать знаменитому Кукуреки, что ашантии в наше время известны были как самое лютое племя негров на западном берегу Африки, которое причиняло жестокие опустошения в английских колониях.

— Мы были в то время точно в таком положении, — отвечал Кукуреки, — как римляне при Ромуле. Наконец мужество наших предков, просвещение и промышленность принесли обыкновенные свои плоды и возвели нашу империю на высочайшую степень могущества. В ваше время, — сказал при сем эскимосский принц, — наш народ также уподоблялся более диким зверям, нежели людям. Но перемена климата, счастливое положение нашего полярного архипелага для торговли, соединение всех племен эскимосских, разделенных прежде льдами и невежеством, мудрые законы, просвещение и богатство произведений различного рода дерев довели нас до такого богатства и утонченности гражданской жизни, что теперь почти невозможно верить рассказам первых путешественников в наши страны, Парри и Франклина.

— Итак, имя Парри сохранилось у вас? — сказал я.

— Он счастливее Христофора Колумба, — отвечал принц, — его именем называется главный город нашей империи на острове Мельвиле.

Я хотел было продолжать разговор, но профессор подвел меня к двум почтенным старцам, из коих одного назвал президентом Камчатской академии наук, а другого главой купечества жителей Алеутских островов. Я давно перестал удивляться, но при сем случае не мог не улыбнуться, вспомнив, каковы в наше время были камчадалы и алеуты.

Консул трех соединенных республик: Алжира, Триполи и Марокко также обратил на себя мое внимание воспоминанием варварства, в котором находились сии варварийские владения в наше время.

Наконец, я перешел к дамам, сидевшим в особой комнате. Для каждого возраста был особенный покрой одежды. Старухи были в длинных платьях темного цвета, с капюшонами и

рукавами; женщины средних лет одеты были чрезвычайно скромно, но красиво, с длинными же рукавами, закрытой грудью и наколками на головах, с перьями и лентами. Молодые девицы наряжены были точно таким образом, как древние греческие нимфы: пурпуровые и радужные мантии, белые как снег хитоны, гирлянды и венки из природных цветов украшали и возвышали их прелести. Все женщины имели, как выше сказано, на левой руке легкие щиты, испещренные надписями и изречениями, изображающими их образ мыслей и чувствования. Все дети без исключения, мальчики до 14, девушки до 11 лет, были в русских рубашках и халатах, вероятно, для того, чтобы нежные их члены, не быв сжаты, росли и совершенствовались на свободе.

Признаюсь, я с неприятным чувством вошел в комнату женщин, полагая, что они меня закидают вопросами. Но как я удивился, когда они не оказали ни малейшего любопытства и после вежливого приветствия продолжали заниматься своими разговорами.

— Вот одно из первостепенных чудес вашего века, — сказал я потихоньку профессору. — Женщины ваши нелюбопытны!

— Люди догадались, наконец, — сказал профессор, — что важнейшая пружина общественного благосостояния есть воспитание женщин, имеющих влияние на мужчин от колыбели до могилы. Усовершенствование женского воспитания, — продолжал он, — истребило в них любопытство, сию вредную страсть, причинившую множество расстройств не только в семействах, но даже в государствах.

— А болтливость? — спросил я.

— Придавлена падением любопытства, — отвечал он.

— А ревность?

— Истреблена образованностью и взаимным уважением между супружами. Только недостаток здравого рассудка, — примолвил он, — может заставить женщину верить, что она, терзая своего мужа подозрениями, сумеет исправить его или привязать к себе. Теперь уверились, что ревность, в случае неверности, вовсе бесполезна, а в случае одних подозрений чрезвычайно вредна, потому что изгоняет из сердца любовь. Вы помните, что сказал один остроумный писатель вашего времени: «Скажи несколь-

ко раз своему слуге без всякой причины: зачем ты крадешь сахар? Слуга кончит тем, что в самом деле станет красть сахар». То же бывает с любовью.

— Прекрасно! — воскликнул я. — Бесподобно! Слава Богу, что я не умер; теперь непременно женюсь, и чем скорее, тем лучше... Но существует ли кокетство? — спросил я еще тише.

— В умеренной степени, — отвечал профессор. — Впрочем, будьте уверены, что немного кокетства столь же нужно красавице, как вежливость образованному человеку. Я не говорю вам о сего рода кокетстве, которое заставляет женщину забывать все свои обязанности, чтобы пленять, нравиться, кружить мужчинам головы и жертвовать благосостоянием детей своих для нарядов и украшений. Нет! позволительное кокетство состоит в благопристойности, чистоте и отличном вкусе убранства, в искусстве привлекать благорасположение и почтение мужчин, удерживая их в пределах скромных и позволительных сношений; одним словом, это средина между несносным жеманством (*pruderie*) и предосудительной вольностью в обращении.

— Согласен, — сказал я, — и непременно хочу жениться.

— Это весьма легко, — сказал профессор, — но надобно прежде представить доказательства, что в случае потери вашего имения или приданого вы можете собственными трудами пропитать свое семейство, чтобы после не быть в тягость обществу.

— Вот запятая, — сказал я. — Но мы после поговорим с вами об этом.

Между тем слуга доложил, что кушанье подано: мы пошли в залу и уселись за круглым столом, без всякого порядка, где кому было угодно, — исключая женщин, которые поместились в один ряд. Стол был уставлен разного рода кушаньями в деревянных блюдах; они стояли на золотых подносах¹ и треножниках, а согревались лампами с водородным газом. Большая часть кушаньев, чрезвычайно вкусных, состояла из неизвестных мне растений и мяс; одни только рыбы припоминали мне наше время. Градонаачальник, приметив мое любопытство, сказал:

¹ Металл употребляется здесь только как лучший проводник тепла

— Все, что вы здесь видите на столе, исключая хлебного и плодов, есть произведение моря. По чревычайному народонаселению на земном шаре и по истреблению лесов все почти животные и птицы, которых прежде в таком множестве употребляли в пищу, перевелись; лошадей мы бережем, как верных наших товарищей; верблюдиц, коров и овец сохраняем для молока и шерсти, слонов для войны. Но зато море представляет нам неисчерпаемый магазин для продовольствия. После изобретения подводных судов и усовершенствования водолазного искусства дно морское есть плодоносная нива, населенная несчетным множеством питательных растений, а воды снабжают нас в изобилии рыбами, водоземными животными и раковинами. В странах, удаленных от моря, люди занимаются фабриками, рукоделиями, разведением плодов, хлебных растений и винограда; воздушное сообщение доставляет нам средства весьма скоро меняться различными произведениями.

— Кстати, о винограде! — сказал я, налил бокал и выпил за здоровье собеседников. Вино показалось мне удивительного вкуса: оно соединяло в себе игру и мягкость шампанского с крепостью бургонского и имело какой-то очаровательный запах. — Скажите мне, господа, — спросил я, — позволяет ли усовершенствованная природа человеческая употребление вина?

— *In vino veritas!* — сказал важно президент Камчатской академии: при сих словах все бокалы наполнились и опорожнились за мое здоровье. «Это по-нашему», — думал я.

Наконец служители убрали блюда и оставили одни только плоды, закуски и вино. В это время профессор встал со стула, подошел к стене, потянул пружинку, и прелестная мелодия, уподобляющаяся звукам нескольких арф, пленила мой слух. После прелюдий женщины хором запели гимн отечеству; мужчины вполголоса повторяли слова гимна; слезы невольно покатились у меня из глаз. Когда пение кончилось, я не мог удержаться, чтобы не похвалить сего обыкновения, градоначальник спросил меня, каким образом мы проводили время за десертом.

— В наше время, — отвечал я, — состояние атмосферы или погоды было неисчерпаемым источником красноречия Кrome того, каламбуры, комплименты, нежности и мадrigалы (ска-

занные, кстати, французскими маркизами г-же Помпадур или герцогине дю Барри, при дворе Людовика XV) переходили по преданию от отца к сыну и составляли так называемый светский ум, которого достаточно было лет на шестьдесят, в кругу большого света.

Между тем эскимосский принц начал декламировать по-русски прелестные стихи — в похвалу просвещению, а когда он кончил, консул трех соединенных республик: Алжирской, Мароккской и Триполийской — прочел оду в похвалу человеколюбию и правам собственности.

— Жаль, — сказал я, — что в наше время не думали об этом в варварийских владениях и почитали за особенную честь разбивать христианские корабли и мучить пленников.

— Все почти народы начинали политическое свое существование разбоями, — отвечал консул. — И ваши новгородские удальцы, и варяжские витязи были не лучше наших старинных деев.

Молодой ашантский путешественник велел подать гитару и пропел нам в свою очередь (также по-русски) эпизод из сочиняемой им поэмы: «*Просвещенная Африка*». Мне показалось странным, что все иностранцы не только говорили чисто по-русски, но даже сочиняли на нашем языке стихи и декламировали. Президент Камчатской академии изъяснил мне это.

— Люди вообще любят во всем разнообразие, — сказал он, — и сущность вымышляет различные обычай для; угодzenia различным вкусам. В наше время арабский язык употребляется в дипломатике и в легких разговорах с дамами. Русский язык, без всякого сомнения, первый в мире по своему сладкозвучию, богатству и легкости словосочинения, есть язык поэзии и литературы во всех странах земного шара. Для точных наук у нас есть также особенный всемирный язык¹, а именно — условные знаки, числа, буквы, означающие пространство и количество, и математические формулы. То самое, что знаменитый шведский ученый в ваше время, Берцеллий, хотел ввести в хи-

¹ Многие ученые пытались не в шутку составить особенный язык для всех точных наук. У меня есть одно сочинение на итальянском языке о сем предмете.

мию (то есть химические пропорции), ныне введено во все точные науки. Они преподаются у нас алгебраической методой, и то, что прежде изъяснялось целыми томами и множеством машин для произведения опытов, ныне объясняется одними теоремами или дилеммами. Зато у нас более аксиом, нежели у вас было предположений.

Наконец мы встали из-за стола; дамы перешли опять в другую комнату, а нам подали трубки с какой-то ароматической травой. Хозяин сказал мне, что эта трава производит противоположные действия табаку, то есть вовсе не имеет наркотического (снотворного) свойства, не кружит головы, помогает пищеварению и очищает мозг от винных паров.

По старой привычке после обеда я перешел к дамам, чтобы послушать красноречивых и пламенных суждений о шляпках и чепцах, также скромных пересудов о недостатках ближнего¹. Но я едва верил ушам моим, когда услышал, что матери разговаривали между собой о воспитании детей и о средствах к счастливой супружеской жизни. Старушки приводили различные примеры из светской жизни, в подкрепление полезных истин, а модные девицы говорили о литературе, о своих занятиях и о хозяйстве.

Слуга поставил несколько столиков в средину комнаты, и я ожидал, что хозяйка станет раздавать карты, как водилось в наше время. По моему обыкновению, я собирался бежать из дома, потому что я всегда предпочитал сон или прогулку этому занятию, но, по счастию, вышло противное. Принесли газеты, ландкарты, новые эстампы; мужчины и дамы занялись чтением, рассматриванием картинок, разговорами, рассуждениями, и мы не заметили, как время пролетело.

Я особенно забавлялся рассматриванием географических карт, которые мне толковал президент Камчатской академии. Все места в Азии, Африке, Америке, Новой Голландии, которые в наше время означались на картах пустыми и ненаселенными, теперь испещрены были надписями городов и каналов. Возле полюсов изображены были большие острова, столь же

¹ Знаменитый Шеридан не знал языка вежливости и назвал это просто злословием

населенные, как в наше время Франция. Кроме сего, меня удивило то, что все реки имели правильное направление наподобие каналов¹. Президент сказал мне, что все реки ныне сделаны судоходными: берега окопаны и проведены прямыми линиями для предохранения удобренных мест от наводнения и употребления большого пространства земли для хлебопашества, что каналам осушены все болота и установлено водное сообщение на целом земном шаре.

Между тем смерклось, и в одно мгновение все дома и улицы осветились газом. Эскимосский принц и глава купечества Алеутских островов предложили мне пойти с ними в театр; я с радостью согласился.

На улицах было столь же светло, как среди дня. Кроме бесчисленного множества фонарей на всех площадях сделаны были искусственные солнца, посредством отражения света в фантастических фонарях особенного рода, сделанных из выпуклых и вдавленных зеркал.

В театре помешалось до двадцати тысяч зрителей: он так был устроен, что во всех отдаленных углах слышно было каждое слово, произнесенное тихо на сцене. Декорации доведены были до такого совершенства, что я принимал все предметы за естественные; машины приводили в очарование как по изобретению, так и по быстроте. Представляли трагедию и оперу. Я не хочу распространяться об игре актеров и о музыке: скажу только, что я был в восхищении, и когда спросил главу купечества, отчего это происходит, что все актеры знают свое дело в пре-восходной степени, он мне отвечал: оттого, что ныне актеры учатся своему искусству не на сцене перед публикой, но появляются тогда только, когда достойны сей чести по своему таланту. Кроме того я заметил, что в трагедии не наблюдалось ни единства места и времени, ни единообразное александрийское стихосложение, почитавшиеся в наше время неизменными условиями драматургии. Не знаю, по каким правилам была сочинена пьеса; знаю только, что она доставила мне душевное наслаждение изображением великих характеров, страстей, выбором происшествий и очаровательным языком поэзии

Как река Дюранс во Франции

В антракте принц, разговаривая со мной о различных предметах, предложил мне отправиться с ним в его отчество, обещая мне вознаградить потерю моего имения, которого я не надеялся получить обратно после тысячи лет. Любопытство и обстоятельства заставили меня согласиться на его предложение, с условием, однако же, чтобы он доставил мне способы быть полезным обществу. Принц на другой день поутру возвращался в свое отчество.

Из театра мы зашли к профессору и я, поблагодарив его за мое спасение и за все вежливости, объявил о моем намерении, простился с его семейством и, обещая скоро возвратиться, поехал с принцем на ездовой машине в гавань, где шлюпка ожидала нас и перевезла на адмиральский корабль, которые великолепием уподоблялся огромной галантейной игрушке. Принц ночным сигналом повелел флоту: к свету быть готовым сняться с якоря. Мне отведена была особенная каюта, и я заснул крепким сном, утруженный необыкновенными ощущениями в продолжении целого дня. Надеюсь, что и читатели мои вздрогнут немного при чтении сей статьи, а это также немаловажная услуга с моей стороны, потому что сноторвные лекарства продаются дорогой ценой.

Принц эскимосский, получив до свету письма от Надежинского губернатора, должен был отвечать ему. Это нас удержало на рейде долее, нежели мы предполагали.

Между тем я занялся рассматриванием корабля. Он был сделан из медных листов, спаянных и скрепленных винтами. Воздушные пушки, гидравлические чистители, химическая кухня, отопляемая газом, и удобность доставать съестные припасы на дне морском были причиной, что корабль не был завален множеством тяжестей. В средней его части, между трюмом и палубой, устроена была огромная машина вроде часов, которая заводилась ключом, и — в случае безветрия или подводного плавания — приводила корабль в движение посредством четырех колес, прикрепляемых к осям снаружи. Мачты были складные и легкие.

Вышел на палубу, я чрезвычайно удивился, увидев множество людей, разгуливающих по морю без лодок, других ныряющих и выходящих из воды в полном одеянии, с корзинками,

наполненными зеленью, устрицами, рыбами и прочими произведениями моря.

Толпы разносчиков окружили наши корабли, и я сошел в ялик, чтобы хорошенько осмотреть этих водоходов и водолазов. Они были одеты в ткани, непроницаемые для воды; на лице имели прозрачные роговые маски с колпаком. Каждый из них сидел верхом на узкой скамейке с четырьмя кривыми ножками¹, к которым приделано было по одному жестяному шару, наполненному воздухом. Под скамейкой прикреплено было колесо, которое вместо весел приводило ее в движение. К ногам водоходов привязаны были лопатки для управления машиной при поворотах. При каждой скамье плавал на веревке большой жестянной шар. Если надобно было опускаться на дно морское, этот шар наполняли водой, и тогда тяжесть его увлекала человека ко дну, когда же надлежало подниматься, то посредством архимедова винта, приделанного к шару, выливали из него воду, и скамья с человеком снова всплыvalа на поверхность. По обоим концам скамьи висели два кожаные мешка, наполненные воздухом, для дыхания под водой посредством трубок.

Я непременно хотел спуститься на дно и погулять по морю, но в это самое время начали сниматься с якоря. Ветер был самый попутный, и мы полетели стрелою по открытому морю.

На другой день мы находились на высоте Ледяного мыса. В наше время это был предел человеческих открытий за Беринговым проливом, и только немногие русские мореплаватели дерзали пускаться далее Кука в сих морях, запертых льдами от Севера. Здесь природа, погруженная в хладную дремоту, в наше время не производила ничего к услаждению человеческой жизни и была столь же сурова, как вечные льды и скалы. Теперь плодоносные деревья и виноград зеленелись на берегах; златые куполы башен и храмов, великолепные здания и мачты корабельные в порте возвещали о цветущем состоянии сей страны.

Город на Ледяном мысе назывался *Куковым открытием*. Мы не имели времени здесь останавливаться; но принц, приметив мое любопытство, сказал мне, улыбаясь, что если я хочу ви-

Наподобие письменных скамеек в конторах.

деть город, то он в минуту перенесет его на корабль, невзирая на то, что мы находимся от него в тридцати верстах. Тотчас подняли на высоту мачты камеру-обскуру с огромным телескопом: несколько впуклых и выпуклых зеркал в различных направлениях, отражая предметы с удивительной точностью, представили нам через темную трубу целый город на столе (точно так, как в модели) с жителями, экипажами и всеми городскими занятиями. Я мог различить физиономии людей, представлявшихся в миниатюре, и по телодвижениям догадывался даже о предметах их разговоров.

Принц, желая более позабавиться на счет моего невежества, спросил, не хочу ли я подслушать, что говорят между собою в городе.

— Хотите ли знать, — сказал он, — что шепчет вот, например, эта пожилая женщина с молодым человеком в уединенной аллее сада?

— Очень рад, — отвечал я в шутку.

Принц велел подать свою слуховую трубу, после того изменил тригонометрически расстояние между кораблем и садом, между мною и говорящей парой, выдвинул несколько колец в слуховой трубе, остановил на известном числе градусов, в середине трубы зажег какой-то спирт, велел мне приложить ухо к узкому концу, и я через несколько минут почувствовал, что звук приближается и, наконец, явственно доходит до моего слуха. Почитаю излишним передавать читателям содержание разговора, слышанного мною в саду города *Куково открытие*. Все это случалось и в наше время: добрая и богатая старушка предлагала прелестному юноше свою любовь и богатство. Многие смеются, когда молодой человек женится на старухе, а по мне это кажется по крайней мере столь же смешно, как брак старика с девочкой лет пятнадцати.

По сродному мне любопытству, я просил истолковать мне действие слуховой трубы и усовершенствование оптики. Принц сказал:

— Человек стремится духом к бессмертию, умом возносится к престолу Вышнего, но на земле он не может иначе действовать, как посредством пяти чувств, то есть зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. И так для распространения круга

действия нашего на земле и для увеличения наших наслаждений надлежало изобрести средства к усовершенствованию наших способностей и придать силу чувствам, вооружив их машинами, орудиями и укрепив химическими составами. Все орудия, употреблявшиеся в наше время: телескоп, зрительные и слуховые трубы, очки, лорнетки, барометры, термометры — были детскими игрушками; ваши духи, сласти и все принадлежности гастрономии и косметики — жалкие опыты. Что же касается до чувства осознания, то оно вовсе не подлежало усовершению и даже не обращало на себя внимания. Время, опыт и поощрение ученых просвещенной публикой довели все первоначальные открытия до высочайшей степени совершенства. Я вам тотчас покажу несколько образчиков.

Принц велел принести телескоп и спросил, вижу ли я что-нибудь на небе.

— Ничего, — отвечал я.

— Итак, поглядите.

Я посмотрел в телескоп на луну и увидел на ней города, крепости, горы, леса, — точно в таком виде, как представляются окрестности Страсбурга с башни Минстера¹. Животные двигались на луне, как муравьи, но невозможно было различить их формы и вида. Отдаленные неподвижные звезды казались солнцами во всем блеске, похожими на наше; удивительное множество планет в необыкновенной величине представлялось взорам и наполняло воздушное пространство.

В умилении я упал на колени перед великолепием создания Принц повернул телескоп в открытую море, и пространство нескольких тысяч верст исчезло: цель нашего плавания, Полярная страна, показалась столь близко, что я невольно вздрогнул, воображая, что мы ударимся о берега. После этого принц подал мне свой лорнет, обнажил грудь и велел смотреть: я увидел кругообращение крови в жилах, отделение соков в лимфатических сосудах, действие воздуха в легком и весь механизм физической природы нашей, точно как будто в стакане.

— Как бы хорошо было, — воскликнул я, — изобрести очки, через которые можно было бы видеть сердечные чувства!

¹ Высочайшая башня в Европе, называемая сим именем.

— Это можно видеть отчасти и теперь, — отвечал принц. — Например, если вы изъясняетесь в любви и кровь вашей возлюбленной бросается к сердцу, изливаясь из него постепенно и производя легкий трепет в нервах, — знак, что вы любимы. Быстрое излитие крови из сердца — означает гнев, а естественное кругообращение — равнодушие. Если кровь в человеке начинает волноваться при виде драгоценных камней, это признак корыстолюбия. Повествование о великих подвигах, о высоких чувствованиях в благородном человеке столь сильно волнует кровь, что даже потрясает голодную нервную систему, — в другом не производят ни малейшей перемены. Одним словом, по внутреннему движению крови весьма легко узнавать то, что не обнаруживается на лице и словами. Часто самый и хладнокровный и нечувствительный человек представляется воспламененным, когда видит в том свои выгоды; весьма часто пламенная душа скрывает свои чувствования между людьми, не умеющими ни ценить, ни понимать ее. Стальные пословицы вообще справедливы и недаром говорят: наружность обманчива.

— Усовершенствование увеличительных стекол мне несколько понятно, — сказал я, — но каким образом вы дошли до того, чтобы слышать верст за пятьдесят? Вот это мудрено!

— Нимало, — отвечал принц. — В ваше время полагали, что звук есть не что иное, как сотрясение воздуха от удараения двух однородных или разнородных тел. Эта теория пережила много столетий, потому что не нашли ничего удовлетворительнее для объяснения сего явления. В наше время открыли, что звук есть особенное свойство каждого тела, так, как тяжесть, притяжение, химическое сродство (*affinite*) однородных частиц, ноздреватость и прочее. Не страшно ли думать, что изменение звуков, бас, дискант, тенор и другие тоны производятся воздухом от одного сотрясения его различными веществами. Основываясь на этом, толстые и большие массы какого бы ни было вещества должны были всегда раздаваться с басом, а маленькие части дискантом. Опыты доказывают противное: большая или малая масса серебра или другого звонкого металла всегда издает звуки тоньше и громче, нежели большие куски железа или камня; следовательно, различие в звуке есть их свой-

ство внутреннее. Падение огромной массы, ударяя в воздух, издает собственные звуки и исторгает звук из воздуха. Но это только служит доказательством, что воздух, как всякое тело, имеет свой собственный звук, который свистит в вихре, гремит в медленном трении паров и атмосферы и стучит от внезапного удара. Музыка, голос человека и некоторых животных подвержены другим законам. Гармония и речения или слова суть взаимное сочетание соответственных звуков, которые исходят из тел, точно так же, как воздух в виде пузырьков, и прежде всего ударяются в тела нежные, оживленные, гармонические. Между сими телами и звуками есть род магнитического влечения, и чем лучше создан человек, тем живее чувствует прелест гармонии. Воздух только переносит звуки, и если расстояние велико, то придавляет их своей тяжестью. Бесконечное разложение тел химическим процессом на газы довело до того, что из звуков извлечен также газ, который при горении привлекает их к себе верст за пятьдесят.

— Чудесно! — воскликнул я.

— Точно так же чудесно, как все в природе, — отвечал принц. — Всякая вещь, которая нам кажется самой обыкновенной, столь же премудро создана, как и самая непостижимая для нас; разница состоит в нашем понятии, а не в самом предмете. Например: одно создание воды, воздуха или света есть уже величайшее чудо; но мы сему не удивляемся, потому что видим их и пользуемся ими всякий день; напротив того, восхищаемся фейерверком или фокус-покусом!

— Правда, — сказал я. — Но позвольте мне увидеть опыты над усовершенствованием вкуса: в старые годы я любил полакомиться и хороший стол при гостеприимстве всегда почитал отличным качеством богатого человека.

Принц отложил это до обеда и в самом деле угостил меня так, что у меня и теперь во рту чешется при одном воспоминании о разных кушаньях, которые по несколько раз изменяли вкус от нескольких капель каких-то бульонов.

После обеда принц сжег ароматический порошок, которого благовоние до такой степени восхитило меня, что все нервы во мне затрепетали от радости, ум воспламенился, и я в первый раз в жизни заговорил стихами.

Наступило последнее испытание: принц велел мне натереть руки благовонной помадой, чрез полчаса осязание мое сделалось столь нежно, что я тотчас научился различать цвета одним прикосновением, и сделался столь щекотлив, что хохотал во все горло — от одного дуновения ветра.

Наконец мы вступили в полярный архипелаг. В самом виду берегов барометр показал приближение бури. Принц тотчас повелел флоту спуститься на дно морское. В одно мгновение мачты убрали, прикрепили колеса, закрыли все люки, исключая несколько отверстий с клапанами для впускания воды в особую переборку в трюме, и корабль начал опускаться на дно морское. Достигнув известной глубины, закрыли клапаны, завели машину, и корабль быстро пошел вперед. Внутри было довольно светло, и я не чувствовал никакой тягости в дыхании: воздухохранительная и воздухочистительная машины были в беспрестанном движении. Я не отходил от окна и наслаждался новым зрелищем. Рыбы и морские животные стадами кружились возле корабля, и стоило только бросить сеть, чтобы достать запасу на целый год.

Между тем колебание моря сделалось ощутительным под водой, и принц велел выстрелить из духовой пушки для сигнала, чтобы остановиться на якоре. Все суда повторили выстрелы и бросили якори.

Наш корабль остановился возле подводной плантации, принадлежавшей богатому жителю полярных стран. Мне весьма хотелось осмотреть этот новый род недвижимого имения на дне морском, принадлежавшего в наше время тюленям, ракам и устрицам. Принц велел меня нарядить в воздушное платье, снабдил двумя мешками воздуха и, посадив на водоходную скамейку, научил ею действовать. Он не забыл дать мне в проводники искусного водолаза. Когда я был готов в путь, меня поставили близ дверей, быстро их отперли, вытолкнули вместе с проводником в воду и тотчас заперли двери.

Опускаясь на дно морское, я увидел, что оно было разделено каменными заборами, а в иных местах столбами с надписями, означающими границы владельцев, и усеяно пирамидальными строениями. Проводник сказал мне, что это подводные дома, вроде наших ферм или хуторов, где работники и хозяева отды-

хают после трудов или прогулки. Кругом были огороды морских растений и огромные четвероугольные каменные строения с железной решеткой вместо крышки. Я взглянул в некоторые из них и увидел, что это садки или подводные зверинцы, наполненные разнородными рыбами, водоземными животными, устрицами и проч.

Вдруг из одной пирамиды раздался звук колокола. Проводник сказал мне, что это знак приглашения, и мы поспешили к дверцам, находившимся у самого подножия: они растворились, и мы вошли в средину. В нижнем этаже было на несколько футов воды, которую механическая помпа беспрестанно выкачивала. Мы слезли со скамеек и пошли по лестнице во второй этаж, предназначенный для отдохновения работников; здесь вовсе не было воды, равно как и в третьем, великолепно убранном, где находился сам хозяин с несколькими друзьями. Узнав, кто я таков, хозяин повел меня по комнатам, показал мне весь механизм подводных зданий и расследовал, каким образом их строят. На самом крепком фундаменте складывают пирамиду из огромных четвероугольных камней, скрепляя их железными полосами и свинцом; окна делаются из толстого стекла с железными решетками. Когда строение кончено, тогда выкачивают из средины воду и проводят по дну медные трубы для выпуска воздуха. Трубы сии выходят на поверхность воды возле берега, а в открытом море воздвигается для сего нарочно одна пирамида, возвышающаяся над водой, где сходятся все трубы подводных строений. Воздушные насосы способствуют кругообращению атмосферы, и я на опыте узнал, что в сих подводных жилищах воздух даже гораздо чище, нежели вверху.

Побеседовав несколько с хозяином дома и его друзьями, я возвратился на корабль. Между тем буря прошла, и принц повел флоту подниматься. Тотчас привели в действие механические насосы; корабль, по мере убавления воды в трюме, поднимался и вскоре всплыл на поверхность моря. Все пришло в прежний порядок, и через полчаса мы бросили якорь на рейде города Парри, столицы Полярной империи.

Принц взял меня с собой в город, и я здесь гораздо более изумился, нежели в Надежине. Здесь все дома построены были

из толстых масс самого чистого стекла. Стены покрыты были разноцветными барельефами и, отражаясь на солнце, казались объятыми пламенем. Прелестные стеклянные портики, храмы и великолепные здания с цветными колоннами на каждом шагу привлекали и восхищали мои взоры. Мостовая сделана была из блестящего металла, подобного цинку. Принц, хотя озабоченный приветствиями веселого народа, стремившегося к нему навстречу, приметил мое удивление.

— Вам кажется странным, — сказал он, — что вы не видите здесь чугунных строений, как в Надежине. Мы не имеем много железа и вместо того, чтобы употреблять иностранные произведения, пользуемся отечественной промышленностью. Наши горы изобилуют веществами для делания стекла, и как его весьма удобно извлекать из земли посредством огня, то мы перетопили целые скалы в стекло усиленным действием светородного тела и с небольшим трудом имеем самый прочный, лучший материал для строения. Стеклянные дома просты, красивы, не подвержены пожарам, сырости и согреваются весьма скромным количеством газа.

Проходя мимо лавок, я увидел, что каждый почти купец занимался чтением книги или газеты. Ездовые машины были здесь в таком же употреблении, как в Надежине, кроме того, множество людей бегало по улицам в беговых калошах. Это не что иное, как железные башмаки с пружинами и колесами под подошвами: когда их заводили, то они катились сами собой, и пешеход столь же быстро на них переносился с места на место, как на коньках, ускоряя и останавливая по произволу действие машины. Принц должен был поспешить к своему отцу с рапортом о благополучном возвращении флота. Я в это время хотел погулять по городу с одним из его адъютантов.

— Видите ли вы это строение на правой стороне? — сказал принц. — Это библиотека для чтения. Зная, что вы охотник до этого занятия, назначаю вам здесь через два часа свидание.

У дверей библиотеки меня встретил дежурный чиновник и ввел в комнаты. Адъютант предупредил дежурного, что я пришелец из XIX века, и чиновник, осмотрев меня с любопытством с головы до ног, предложил мне свои услуги для показания всего, находящегося в этом хранилище.

Я увидел здесь две машины, вроде органов, с множеством колес и цилиндров, они показались мне чрезвычайно многосложными мой проводник растолковал мне их употребление. Это были: машина для делания стихов и машина для прозы. При мне сделано было несколько опытов, и я постараюсь моим читателям растолковать этот механизм, сколько я успел понять с первого взгляда.

Проводник мой выдвинул ящик, в котором находились маленькие четырехугольные косточки, наподобие употребляемых в игре домино, на них были написаны разные слова. Он, без всякого порядка, всыпал несколько пригоршней слов в ящик, под которым устроены были клавиши. После того уложил на шахматной доске рифмы, завел машину — и пошла работа! Кузнечный мех сжимаемый цилиндром, дул в ящик со словами, которые, побрякивая от действия ветра, высакивали на шахматную доску в такт, под музыку. Чрез полчаса машина остановилась и я прочел стихи; в которых нашел все слова на своем месте меру, гармонию в стихах и богатые рифмы, — одним словом все, кроме здравого смысла и цели, точно также, как в стихотворениях наших поэтов, которые страсть подбирать рифмы почитают вдохновением, а похвалу приятелей — достоинством

Машина для делания прозы, хотя устроена была точно таким же образом, но отличалась тем, что для определения тактов имела трубу и барабан, а не фортепьяно, и что на косточках написаны были не одни только слова, но даже целые речения и мысли, выбранные из разных авторов.

— Нельзя ли сочинить что-нибудь на заданный предмет? — спросил я.

— Очень можно, — отвечал мой проводник, — что вам угодно?

Гут я хотел привести в затруднение проводника и доказать недостоинство сочинительных машин. Я избрал предметом сочинения описание моей родины, любопытствуя, каким образом машина отделается от этой задачи и опишет место не виданное и, может быть, не слыханное ни одним из жителей полярных стран.

Проводник достал с полки словарь древней географии, отыскал в нем название моего отечественного города, подобрал на-

писанные на косточках речения, сходные с книгой, взял принадлежащие к описанию собственные имена, множество прилагательных, несколько вспомогательных глаголов и кучу готовых речений, бросил все это в ящик, пустил пружину, барабан удариł поход, труба заиграла марш, и косточки начали сыпаться.

Представьте себе мое удивление, когда через полчаса вышло довольно подробное описание города, в котором я родился. С первого взгляда показалось мне, что оно не уступает произведениям посредственных умов; но прочитав со вниманием, я тотчас приметил напыщенность, пошлые изречения, чужие мысли и недостаток связи с целым, которые обнаруживали действие машины, а не ума.

— Весьма жаль, — сказал я, — что в наше время не знали этого изобретения; оно бы послужило в пользу весьма многим бесталанным головушкам.

— Оно было известно в ваше время, — отвечал мне проводник, — но сохранялось втайне между пишущей братией и переходило, как наследственный секрет, от безграмотного к бесполковому и обратно. Впоследствии это изобретение усовершенствовано, а теперь вовсе не употребляется и хранится только для любопытных.

Наконец, пришел принц; он велел мне за собою следовать и повел на обед к одному купцу, жившему в соседстве, сказать, что на другой день представит меня своему родителю, который теперь не очень здоров.

Я воображал, что у купца, к которому идет обедать принц, увижу величайшую роскошь и богатство. Комнаты убраны были чисто. Я удивился, увидев у купца библиотеку и на стене множество карт и журналов. В наше время это была бы такая редкость, о которой не преминули бы написать в газетах. Жена его и дети одеты были также очень просто и не были обременены драгоценностями которые иногда составляют все достоинство ихластителей и каждому покупщику припоминают его передачу при покупке. Я не стану утруждать моих читателей описанием нашего обеда и превождения времени: скажу только, что я был восхищен умом и обширными познаниями купца в политической эко-

номии, в статистике разных стран, в технологии и других науках, необходимых для негоцианта. Жена и дочери своей скромностью и любезностью очаровали меня, а старший сын вовсе не показывал в себе того высокомерия, презрения к наукам и душевного разврата, которые порождает багатство, если оно не соединено с образованием и рачительным воспитанием.

Возвратившись в жилище принца, я отдохнул несколько в моей комнате и занялся было рассматриванием исторических картин, как вдруг меня позвали в кабинет к принцу. Я застал там короля полярных стран, почтенного старца, на лице которого изображалась душевная доброта и во взорах видна была какая-то необыкновенная проницательность. С ним было несколько министров и первостепенных ученых.

Король велел мне сесть и более двух часов расспрашивал о различных предметах относительно правления, образа жизни, торговли, мануфактур и просвещения в нашем XIX веке. Он, кажется, был доволен моими ответами и спросил меня: хочу ли я остаться здесь или возвратиться в мой отечественный город, Петербург? Я просил его исполнить последнее.

— Итак, я поручаю тебе должность моего литературного корреспондента в сей столице просвещения, — сказал король, — и прикажу доставить тебе средства жить безбедно в твоем отечестве. Завтра отлетает отсюда воздушный дилижанс, и ты можешь отправиться.

Я поблагодарил доброго короля, и он вышел, оставив меня с принцем.

— Теперь, любезный странник, — сказал мне он, — ты можешь осмотреть любопытнейшие предметы в городе и вовсе не заботиться об отъезде: все будет готово и устроено, а между тем этот господин, — примолвил он, указывая на своего секретаря, — будет сопутствовать тебе в твоих прогулках по городу. До свидания!

Пройдя через несколько улиц, я остановился перед одним огромным строением.

— Это суд, — сказал мне мой проводник.

— Итак, при всем вашем просвещении и успехах в науках, — сказал я, — вы не успели истребить процессов?

— Это совершенная невозможность, — отвечал мой товарищ, — ибо пока между людьми будет мое и твое, до тех пор будут тяжбы.

Мы вошли в огромную залу, наполненную слушателями. Адвокат с возвышенного места говорил речь, и как я не слыхал начала, то и продолжение было для меня не любопытно.

Я просил моего проводника показать мне канцелярию. Мне хотелось увидеть канцелярский порядок, который в наше время составлял важную часть судопроизводства.

Мы прошли в боковую залу: там, за большим столом, сидело несколько секретарей, а вместо писцов и переписчиков кругом стояли писательные машины. Я попросил показать мне действие сего механизма, и секретарь, взяв лист писаной бумаги, положил его между двумя вальками, пустил пружину, и машина пришла в движение. На один валек навертывалась белая бумага, окропляемая сверху какой-то химической жидкостью, а другой валек свертывал отпечатки. Чрез несколько минут более двух тысяч оттисков было готово. Мне чрезвычайно понравилось это изобретение: во-первых, потому, что такая машина всегда исправна в должности и не обременительна для просителей; во-вторых, что она не разгласит канцелярской тайны, и, наконец, в-третьих, что она работает тогда, как нужно, а не тогда, как заблагорассудится, и не отговаривается ни болезнью, ни домашними обстоятельствами. Не говорю уже о скорости течения дел, единственном желании правых и грозе виновных.

Из суда проводник мой повел меня в дом общего воспитания. Здесь все дети бедных и богатых граждан получают первоначальные познания в науках и нравственности по одной методе и под надзором правительства. Оттуда юноши поступают в университеты и, окончив полный курс, выходят в свет.

— Неужели у вас нет частных пансионов, гувернеров и воспитателей по ремеслу? — спросил я моего проводника. Он не понял меня, и я должен был ему растолковать что в наше время был народ воспитателей, из которого иногда простой grenadier, взятый в плен, или бедный ремесленник, не зная почти грамоты, воспитывали в другой земле княжат и графов и что часто некоторые женщины, после размолвки с полицией, ос-

тавляли свое отечество, чтобы в отдалении заняться новым ремеслом воспитательниц.

— Верно, этот народ воспитателей был одарен от природы величайшими способностями, — сказал секретарь принца, — точно так же, как народ учащихся был ею обижен; иначе нельзя предполагать, чтобы невежа мог учить детей отца образованного.

— Это действие моды, а не природы, — отвечал я. При сих словах проводник мой расхохотался до такой степени, что я боялся болезненного припадка.

— Как! — воскликнул он. — Поверять воспитание пришельцам из одной моды! Вот это удивительно!

Между тем вы вышли на крыльце всеобщей школы, и я доволен был прекращением разговора, который заставлял меня краснеть за чужие странности.

В классах наблюдалась величайшая тишина. Дети бедных и богатых одеты были одинаковым образом: это самое отдаляло от юных сердец чувства зависти и кичливости. Вверху зал были галереи с решетками, где находились посетители и родственники, которые по временам навешали сие заведение без ведома учителей и детей, чтобы без всяких приготовлений с их стороны осведомляться об их успехах в науках. Все отрасли человеческих познаний в первоначальных классах преподавались по усовершенствованной и легкой методе.

На женской половине был тот же порядок. Мы посетили высший класс и вместо профессора увидели на кафедре прекрасную даму средних лет, которая читала курс семейственных обязанностей. Наконец, классы кончились, и мы возвратились во дворец к обеду.

Непредвиденные обстоятельства заставили воздушный дилижанс отправиться в тот же вечер; итак, я, распростясь с принцем и получив кредитивную грамоту, поспешил на воздушную пристань. Там ожидал меня адъютант короля, который представил мне от его имени подарок: два огромные дубовые бревна. Это было то же самое, если б в наше время подарить два слитка чистого золота такой же величины. Я просил изъявить мою душевную благодарность добному государю, взобрался на плашкот и чрез полчаса полетел в Россию.

Мы были в пути двое суток. Земля представлялась мне сверху, как географическая карта, с оттенками лесов, вод и городов. На третье утро мы увидели Финский залив, Кронштадт и Петербург и продолжали полет свой несколько ниже. Сердце мое трепетало от радости при виде золотых крыш, строений и возвышенных шпицев храмов и башен отечественного города Пространство его изумило меня: до самой Пулковской горы, по морскому берегу и далеко внутрь земли, расположены были широкие улицы и огромные здания. На горе возвышался обелиск в виде египетской пирамиды. Мне сказали, что это памятник великих воспоминаний XIX столетия.

Наконец воздушный дилижанс опустился, и я, облобызив отечественную землю, пошел в город искать для себя квартиру

Здесь рукопись, писанная на новоземлянском языке, кончается, и начинается второе отделение на языке, которого доселе мы разобрать не успели. По примеру Шамполиона, разгадавшего смысл египетских иероглифов, мы постараемся узнать содержание сей рукописи и тогда сообщим оное нашим читателям. До тех пор просим их не верить, если бы кто вздумал объявлять о переводе оной, потому что сия рукопись хранится у нас одних и в таком сокровенном месте, что ее невозможно достать без нашего позволения.

Григорий Данилевский

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Еще никто не видел моего лица».
Древняя надпись на статуе Изиды

**Настоящий рассказ относится к нынешнему веку,
а именно к 1868 году**

Некто Порошин, молодой человек лет двадцати пяти, шести, черноволосый, сухощавый, бледный и красивый, незадолго до времени, которого касается этот рассказ, кончил курс в Московском университете, где избег тогдашних волнений молодежи, вследствие особого склада своей природы. Все его по-мысли, стремления и привязанности вращались в особом, заколдованным кругу, который можно бы назвать «идеальным», в обширном значении этого слова. Он читал философов, дейст-тов, но рядом с ними и натуралистов, — последних — для срав-нения с первыми.

Жадно пробегая в газетах известия о сверхъестественных яв-лениях, призраках, сомнамбулистиках и медиумах, он сам, впро-чем, не верил в практический сомнамбулизм и медиумизм, осо-бенно в те его проявления, которые трактуются и публично показываются шарлатанами вроде Юма, Бредифа, Следа, бра-тьев Эдди и других фокусников этого пошиба.

Приехав в 1868 г. в Париж, для поправления своего вообще расстроенного и слабого здоровья, Порошин посещал лекции разных ученых, но не пропускал и других диковинок, в том числе фантастических вечеров, вроде сеансов Робер-Гудена и ему подобных, где показывались опыты так называемой выс-шей физики, явления спектров, ясновидения и прочие транс-

центентальные затеи, где он наблюдал за тем, как ловкие, умные и вообще всегда весьма милые французские фокусники-шарлатаны морочат уличную, пресыщенную другими удовольствиями толпу.

Однажды Порошин сидел в зале такого физика. На сцене была усыпана какая-то белокурая девица, читавшая запечатанные письма и диктовавшая рецепты больным из публики. Все шло хорошо, как по маслу. Щеголеватый профессор сомнамбулизма, во фраке, в белом галстуке и таких же перчатках, щебетал с кафедры перед спящей ясновидящей, сыпля именами новейших светил реальной философии и путая, по обычай французов, Шопенгауэра с Гартманом и Штрауса с Фейербахом. Становилось очень скучно. В зале была давка и духота. Лампы тускло освещали море голов. И в то время, когда Порошин уже хотел уезжать, одна из этих голов, в красной восточной феске, шевельнулась среди публики, и из ее уст послышался резкий голос:

— Это шарлатанство, надувательство грубого вида!

Все вспокоились, оглянулись. Профессор смущился.

— Грубый обман и ложь! — повторил громко человек с красивым смуглым и умным лицом. — Публика должна протестовать...

— Кто вы? — спросил хозяин вечера. — Так не смущают зрителей! Если вы не верите в опыты ясновидения, зачем сюда пришли? зачем платили деньги? Можете их получить обратно..

— Шарлатанство! — твердил тот же восточный человек, очевидно армянин. — Я говорю не против сомнамбулизма, а против таких обманов, какие разыгрываются здесь... Вы усыпили свою соучастницу. Она не спит, а потому такая же обманщица, извините, как вы... Но я верю в ясновидение, я его поклонник и занимаюсь им давно...

В публике, смешанной с подставными, очевидно, наемными зрителями, сопретес, поднялся невообразимый шум. Армянин в феске вскочил на стул, показал руками, что хочет говорить.

— Но я верю в могучую, беспредельно великую силу сомнамбулизма, — смело продолжал армянин ломанным французским языком, когда все затихло. — Я сам владею даром усыпления... И вот доказательство...

— Вон его, за дверь! долой! — кричали подставные клакеры, с красными, вспотевшими лицами.

— Пусть говорит, пусть делает опыт по-своему! — кричали другие из зрителей, толпясь к сцене.

Сконфуженный, с измятым галстуком и распоротой в давке фалдой фрака, взъерошенный маг-профессор, с своим помощником, возвратился на кафедру. Туда же дал пройти и человеку в феске.

— Я хочу, желаю, требую, чтобы вы сами заснули! — сказал последний, обращая черные, повелительные и умные глаза к профессору. — Садитесь, вот так; сложите ваши руки и спите... слышите ли? Спите, я приказываю!..

Профессор улыбнулся, поморшился, сел, окинул общество растерянным, недовольным взглядом; очевидно против воли, закрыл глаза, зевнул... и, к удивлению всех, заснул. Армянин сложил на груди руки, поглядел также повелительно на помощника профессора, шершавого, коротко остриженного и рыжего малого, очевидно из отставных военных, поднял руку, устремил к нему протянутые пальцы — помощник также заснул...

Изумление публики было без границ. Все замерли, глядя на таинственную феску.

— *La seance est levee!* заседание наше кончено! — сказал армянин, медленно и важно сходя со сцены. — Вы видели! Вот сомнамбулизм!

Поднялась давка и суeta. Все хотели его видеть ближе, с ним говорить. Но таинственный незнакомец исчез в толпе, точно провалился сквозь пол.

«Не верится, — подумал Порошин, уходя из залы практической физики. — Старые штуки на новый лад! Простодушные, легковерные французы не догадались, дали промах. Очевидно, и армянин был тем же наемным, подставным лицом... Маг-профессор заметил охлаждение к себе посетителей, ну, и придумал таким образом подогреть их внимание. Та же реклама, то же шарлатанство. Да при том и не особенно оригинально... Известна проделка американского журналиста, который, для поднятия подписки на свой журнал, стал печатать в других изданиях самые резкие, наглые на себя нападки от вымышлен-

ных лиц: одни печатно выставляли его мошенником и клятвопреступником, другие вором и убийцей, трети развратником в колossalных размерах. Он не скучился платить за такие дружеские рекламы, пока все не задумались — да видно же любопытный это и недюжинный человек, когда о нем все так кричат! — и стали раскупать его собственную газету».

Прошло с этого вечера несколько месяцев. Порошин забыл о сомнамбулисте-профессоре и об армянине. Раз он шел с товарищем Чубаровым сквозь Луврский двор. Видит, Чубаров раскланялся с каким-то человеком в феске. Порошин узнал армянина.

— Как, ты его знаешь? — спросил он Чубарова.
— Еще бы не знать такой замечательной особы, — ответил с улыбкой Чубаров. — Мы с ним жили как-то на водах, в Германии.

— Да чем же он знаменит?
— Помилуй, он вызыватель духов, медиум и чуть не заклинатель змей...
— Нет, вздор! ты шутишь, — возразил Порошин. — Ты не такой, чтоб знался с вызывателями духов и заклинателями змей... Слушай, почему я был очевидцем...

Порошин передал рассказ о случае в зале профессора ясновидения. Чубаров задумался.

— Ты ошибаешься, это не шарлатан и не мог быть в стачке с сомнамбулистами! — сказал он. — У этого армянина, черт бы его побрал, есть действительно кое-какие способы... Но я тебе, Порошин, о них не сообщу...

— Почему?
— Ты за последнее время что-то уж очень похудел, еще стал бледнее, и зрачки вон у тебя несколько расширены, и нервный ты такой... Тебе это опасно, я же испытал...

— Полно, глупости! расскажи! — пристал Порошин к приятелю. — Не мучь меня; правда, какая бы она ни была, никогда меня не потревожит... Я добиваюсь истины; одна ложь, одни обманы мучат и раздражают меня... Расскажи, открай, в чем это дело? Ты, верно, знаешь и адрес армянина, у него бывал и здесь... Так после вод не встречаются... Он на тебя посмотрел очень сочувственно...

Делать нечего, Чубаров зашел с Порошиным в кафе, на набережной Сены, и это ему сообщил. Оказалось, что армянин, адрес которого Чубаров здесь же передал приятелю, обладал секретом — переносить человека, во сне, через сто лет вперед.

— И ты этому верил? — спросил с болезненной улыбкой Порошин.

— Еще бы, — нехотя ответил Чубаров, — как не верить, когда я сам, благодаря этому странному человеку, испытал такого рода путешествие.

— И не раскаиваешься?

— Пожалуй, с некоторой стороны, досадно и даже обидно..

— Почему обидно?

— Да потому, что не хотелось, а пришлось проснуться... Во сне было так хорошо...

— Гм! и как он это делает?

— Дает, представь, какие-то пилюли...

— Что в рот, то спасибо? — раздражительно засмеявшись, спросил Порошин — Экие ловкие эти азиаты! Ну, можно ли так морочить людей? Да еще, пожалуй, и деньги берет?

— Берет, друг мой, и большие...

— Гм! — промычал Порошин. — Отсожни моя рука, если я ему дам хоть полушку за такой обидный обман.

Чубаров, однако, был убежден, что Порошин не вытерпит, и боялся особенно за его здоровье, не очень-то подходящее для таких опытов.

Так и случилось.

Порошин в тот же день думал-думал, нанял фиакр и покатил по бульварам на площадь Трона (*place du Throne* или *barrière du Throne*), украшенную двумя колоннами, с бюстами старинных французских королей, где, по адресу Чубарова, жил таинственный армянин.

Армянин жил с женою, хорошенъкою и молодою женщиною. Он принял гостя не совсем дружелюбно.

— Вы можете перенести меня в будущую жизнь? — спросил Порошин армянина после первых с ним объяснений.

— Да... но только в будущую жизнь — на земле.

— Понятное дело... Где же именно и когда вы мне дадите пожить в будущем?

— Здесь же, в Париже... иначе, разумеется, и быть не может! Вы заснете в моей комнате и очнетесь в ней же через сто лет, т.е. проснетесь через секунду, когда задремлете и очтитесь во времени, которое настанет для Парижа, для целого света, по прошествии ста лет...

— Чепуха, — в волнении и сердито произнес Порошин, — извините меня, галлюцинации какие-нибудь от наркотических средств. Еще дурно сделается, будет голова трещать, как раскаленный котел, отупеешь на время, руки будут трястись...

— Видно, что вы уж пытались делать такие эксперименты, — сказал, чуть заметно усмехнувшись, армянин,

— Ну, да... был так слаб, увлек один индеец, здесь же, на всемирной выставке, — ответил Порошин.

— Все увидите сами, сами испытаете, — произнес серьезно и как-то задумчиво-грустно армянин, — мои средства иные, безвредные, достались от отца, от деда на родине, в Армении. Не всегда достиг человек, слабы силы смертных, но кое-что открывается мудрым Востока, достойным умам. Знаете надпись на статуе богини Изиды: никто еще не видел моего лица? Да, это бывает открыто немногим.

— Кому открыто? не верю... — сказал Порошин — А уж в Азии еще более, простите, падких к проделкам, ловких фокусников и шарлатанов. Я долго об этом думал... а впрочем, сколько стоит ваш опыт с усыплением?

— По сто франков за день, а если неделя, — несколько дешевле — пятьсот франков за неделю! — спокойно и так же задумчиво ответил армянин.

— То есть как — пятьсот за неделю? За какую неделю?

— Ну, вы проснетесь и, положим, захотите прожить в том веке, то есть в 1968 году XX столетия, ровно семь дней... вот за каждый день и внесете плату.

— Когда внесу?

— Вперед, разумеется...

— Ха-ха-ха! Что вы! — засмеялся Порошин. — Нашли простака, чтоб я этому поверил. С вас еще надо взять деньги за эту шутку... Слышите ли, наесться ваших восточных специй и, в смешном виде, пластом пролежать перед вами час-другой, потешая вашу наблюдательность...

— Не час и не два, ровно неделю, повторяю, вы будете долго спать, — сказал с достоинством и также спокойно армянин. — И дело вовсе не шуточное, не на смех! Есть немало охотников.. и не одни молодые люди, как вы, а солидные ученые, буржуа, — и даже владетельные особы обращаются ко мне и к моей жене..

— Какие особы? И почему также к вашей жене?

— Тайна досталась нам от ее родных, пешаверских армян; ее и меня звали с этой тайной в Испанию, Италию и даже в Мексику; испанская королева два раза засыпала, при нашем посредстве, а покойный мексиканский император, несчастный Максимилиан, мне даже пожаловал орден незадолго до своей катастрофы...

«Ну, уж я-то не засну, ни в каком случае!» — сказал себе с твердостью Порошин, уходя от армянина.

Ему показалось, что жена последнего, провожая его с лестницы, смотрела на него подозрительно и насмешливо, как бы мысля: «Придешь еще, голубчик, придешь».

Так и случилось.

На другой же день Порошин возвратился на площадь Трона, к армянину.

— Вот пятьсот франков, — сказал он, запыхавшись от высокой лестницы и поспешной, тревожной ходьбы. — Где ваши снадобья? я готов...

— Это для меня, — сказал армянин, считая тонкими, белыми и нежными, как у женщины, пальцами принесенное золото, — но ведь нужны деньги и для вас?

— Какие деньги? это еще для чего?

— Вы же проснетесь в... том веке, проживете в то именно время семь дней сряду, вам нужно есть, пить, захотите, пожалуй, и удовольствий.

— Сколько нужно? — спросил, глядя в пол, Порошин.

— Это зависит от вас самих... смотря по вашим наклонностям. Ваших привычек я не знаю.

— Однако же... и мне притом трудно... я там, понимаете, не жил... экая чепуха! даже смешно...

Порошин, однако, теперь не смеялся. Глаза его были строги и с острым, лихорадочным блеском смотрели куда-то далеко. Побледневшие его губы слегка вздрагивали.

Армянин подумал с минуту.

— Полагаю, — сказал он, — этих денег, то есть пятисот франков, будет достаточно... Я устрою их обмен и вручу вам их перед сном, а проснувшись, вы отадите мой заработка особо мне или жене...

— Вексель надо? — спросил Порошин.

— О! я вам и так поверю, — ответил армянин, — кроме того, вам нужно... платье...

— Какое платье?

— Да через сто лет, надеюсь, не в этой жакетке и не в этих узких панталонах будут ходить.

— Где же я возьму? притом здешние портные вряд ли подозревают будущие моды...

— О! я вам и в этом помогу! У моей жены есть на такой случай запас.

Армянин сходил в комнату жены и вынес оттуда картонную коробку с платьем, замшевый мешочек, какого-то странного вида ящичек и необычную жаровню.

— Вот наряд, в котором парижане будут ходить через сто лет, — сказал он, — а это тогдашние, то есть будущие монеты.

Он вынул из картонки шелковый просторный полукафтан, или скорее полухалат, яркого, невиданного восточного цвета, до колен, такие же широкие панталоны, еще более яркий шейный платок и мягкую соломенную, в виде зонтика, шляпу и открыл замшевый мешочек. Из мешочка он высипал горсть золотых монет, с надписью на одной из стороне, по-французски: «Равенство, свобода, братство» — «Французская республика 1968 г.», а на другой стороне — какие-то восточные письмена, вроде арабской или еврейской азбуки или даже иероглифов.

— Нелепость! — сказал, отвернувшись, Порошин. — У французов никогда не будет республики... Они по природе монархисты, а вкусом — фетиши... Да и вы рискуете: теперь здесь правит Людовик Бонапарт, его агенты увидят у вас эти монеты, вы еще насидитесь в полиции, вас осудят и вышлют.

— Это уж мое дело, — серьезно и сухо ответил армянин. Он раздул принесенную с угольями жаровню и взял в руки серебряный, с финифтью, изящного и странного вида ящичек. Из

ящичка он вынул несколько зерен. Зерна были черные, блестяшие, точно выточенные из агата.

— Эти пилюли, — произнес с важностью и даже благоговением армянин, — вы примете, если на это решились, одну за другую... Вот ровно семь пилюль, — вы проглотите их и, пропав здесь семь дней, ровно столько же дней проживете в следующем веке... Понятно ли вам? Но еще одно условие, — не мое, а тех, кто оставил нам эти зерна.

— Какое? говорите скорее: не мучьте, не томите, у меня точно лихорадка...

— За каждый день жизни в том земном веке, то есть через сто лет, — вы одним годом менее проживете в этом свете, или веке... Условие — извините — не шуточное, и я вас о том предупреждаю... Подумайте прежде, чем решитесь заснуть.

— Давайте ваши пилюли, я решился! — ответил, покраснев, Порошин. — Не хочу откладывать, давайте теперь же. — Порошин взял пилюли.

Армянин помог гостю переодеться в принесенное «будущее платье», причем услуживал ему с отменною любезностью. Незаметно вошедшая в это время жена армянина полуспустила гардины на окна, переставила некоторую мебель и бросила на уголья жаровни какую-то нежно-пахучую, янтарного цвета, смолу. В комнате мгновенно стал распространяться необыснимый, томительно-сладкий, опьяняющий запах.

— А что это за надписи на обороте монет? — спросил он хозяина. — С какой стати во Франции будут чеканить, на национальных деньгах, подобные азиатские письмена?

— Это все вы узнаете сами, проглотив последнюю из пиллюль, — вежливо-сдержанно ответил восточный маг.

Порошин взял на ладонь поданные зерна, поглядел на них с секунду и быстро проглотил их одно за другим. Армянин указал ему на ключ в двери, стакан и воду в графине, также вежливо откланялся и вышел с женой.

«Посмотрим, — подумал Порошин, замыкая за ними дверь, — и уж если надуют, я не пошажу их, обо всем напечатаю в газетах...»

Он подошел к столу, выпил залпом стакан воды и взглянул на площадь Трона в окно. Наступал вечер... Солнце золотило

крыши домов, колонны с бюстами королей, фонтан и ветви старых каштанов.

Непонятная, чарующая нега стала охватывать Порошина «Нет! не поддамся! даже вовсе не засну и посмотрю, что будет!» — сказал он себе, принимаясь ходить по мягкому, пестрому ковру небольшой, уютной горенки.

Долго ли так ходил Порошин, улыбаясь предстоящему испытанию и думая о своей решимости наблюдать, — этого впоследствии не помнил. Подойдя к окну, он опять взглянул на площадь и потер глаза: площадь Трона как бы застлала туманом. Порошин присел на кушетку, склонил голову. «Да что же это со мною? — мыслил он. — Я как будто дремлю!» Он почувствовал, что, одолеваемый неудержимой наклонностью заснуть, он ложится, протягивает ноги и против воли дремлет, даже засыпает.

«Нет, черт возьми, не засну! не засну, ни за какие блага в свете!» — сказал себе Порошин, усиливаясь выбиться из сладких, охвативших его грез, усиливаясь не покориться им и встать.

.Это ему как бы удалось...

Он вскочил и подошел к окну. Что за чудо? Та же самая place или *barrière du Throne*, те же колонны с бюстами, фонтан и каштаны, — но как будто и не те. Солнце было косыми, фантастическими, желтовато-розовыми лучами. Пахло опьяняющим запахом лилий, ландышей или акаций. Голова кружила, как весной в цветущей теплице. Улицы кипели народом. На балконах и в окнах развевались веселые, причудливые флаги, знамена. Очевидно, был какой-то праздник. Осмьми- и десятиэтажные дома были снизу до верху увешаны громадными хромолитографическими картинами, в виде вывесок. Звуков подков и колес не было слышно. Странного вида экипажи, одноярусные, двух- и даже трехярусные омнибусы, кареты, красивые с зонтиками долгушки и какие-то паланкины, вроде подвижных беседок, наполненные проезжавшую публикой, двигались среди залитой асфальтом площади, — как подумал Порошин, — на обитых гуттаперчевыми шинами колесах и по гуттаперчевым рельсам, а главное — без помощи лошадей и пара. «А! с помощью сжатого воздуха! — догадался Порошин. — И какая масса грамотных, охотников до чтения

новостей.. Все на крышах омнибусов, в паланкинах и долгушах с громадными листами газет». Едущая публика снизу казалась, с этими газетными листами, в виде двигавшейся громадной нивы белых грибов... За площадью была видна часть новой городской стены, окружавшей Париж. Простым глазом можно было рассмотреть, что на этой стене ходили, в странных, длинных одеждах, вооруженные воины, а над ближайшей крепостной башней развевалось исполнинское красное знамя, с изображением желтого дракона.

«Что за чепуха! дракон! — подумал Порошин. — И откуда в Париже дракон? точно во сне, а между тем, я вовсе уже не сплю».

Сгорая любопытством, он осмотрелся, увидел, что и на нем одежда, походившая на одеяние уличной публики, поспешил отомкнуть дверь комнаты и спустился на улицу, так как наступал вечер и солнце готовилось зайти за башню с знаменем

Очнувшись на асфальтовой, в виде узорного паркета, мостовой, Порошин прежде всего убедился, что находится действительно среди тех же ему знакомых парижан: бойкая французская речь, веселые возгласы, шутки, азбука надписей на вывесках, — все убеждало, что он в самом деле в Париже. Но как, с кем и о чем ему заговорить? Ведь он из далекого XIX века, ведь люди XX века сразу его распознают, или просто, не поняв, сочтут за сумасшедшего, подозрительного, еще арестуют, запрут на все семь дней в тюрьму. Что у него с ними общего? И как эти новые люди встретят его понятия, самые обороты мыслей, речения, слова? «Надо спросить книжную лавку, — решил на площади Порошин. — Кабинет для чтения, а еще лучше кафе-ресторан!» Там он лично и без постороннего пособия ознакомится с текущими событиями, с новостями того любопытного, неразгаданного дня... Но какого дня? Он заснул, или точнее — его стремились усыпить в среду, 15 августа 1868 года. Посмотрим...

«Нет! — сказал себе Порошин. — Не стану ни о чем спрашивать, ни о книжных лавках, ни о кафе-ресторане; сам все найду».

Отыскав поблизости кофейню, Порошин подошел к столику, взял газету с заголовком: «Гений XX века» и стал ее читать.

Чем далее он читал этот «Гений» и другие газеты, тем более рябили в его глазах разные диковинки и чудеса: расписание подземных поездов железных дорог, между Англией и Францией; экспедиция из всеславянского торгового порта, Константинополя, в срединное море Африки, искусственно устроенное на месте бывшей песчаной Сахары, куда напустили воду из более возвышенного Средиземного моря.

В одной из газет, в передовой статье, Порошин наткнулся на фразу: «В старые, незапамятные годы, после низвержения династии Бонапартов и, как известно, во время правления ныне угасшей династии Гамбеттидов...»

Волосы шевельнулись на голове чтеца, и он боязливо оглянулся, не увидел бы его за чтением таких ужасов полицейский сержант.

«Ужели краснобай Гамбетта мог действительно когда-нибудь сменить во Франции династию Наполеонидов? — подумал Порошин. — Но кто же теперь правит французами?» — Едва он это помыслил, как ему в глаза попалась некая, более загадочная фраза. Он обратил внимание на заголовок последнего законодательного акта...

«Божьему милостью и по воле правительства высокого народа китайского, — мы, европейские министры его светозарного величества, императора Китая и Богданхана Европы, — по зерлом обсуждении в местных и общем европейском парламентах, постановили и постановляем...»

«Как? китайцы? вот небывальщина! и откуда взялся в Европе Богданхан? — спрашивал себя Порошин. — Как бы это в точности узнать? Спросить? Но кого? Меня как раз сочтут за безумного, незнающего таких, по-видимому, общеизвестных вещей, как история дня, обратят на меня внимание... Вот что... — обрадовался Порошин, — надо обратиться к учебнику истории прошедшего века, или еще проще — купить календарь...»

Порошин подошел к буфету, выпил рюмку какой-то спиртной специи, очень отдававшей шафраном и имбирем, и закусил тартинкой; последняя тоже обратила на себя его внимание: оказалось, что это был ломтик хлеба, с приправой «птичьего гнезда». Буфетчик и слуги были с бритыми головами, длинными, заплетенными косами и в черных шелковых, китайских

шапочках. Посетители сидели с опахалами; на головах военных были широкополые шляпы с шариками и павлиньими перьями. Везде отзывалось китайщиной, и это очень шло к французам, как известно, и в былое время, в XIX столетии, бывшим великими охотниками до разных «chinoiseries».

Найдя книжную лавку, Порошин купил и там же стал читать календарь. То, что он узнал из этого чтения, привело его еще в большее изумление.

Оказалось, что китайцы, которых, по исторической статье календаря, в половине XIX века считалось около 300 миллионов, уже в то время начинали слушать политко-экономов страшно быстрым ростом своего народонаселения. К концу же XIX столетия китайцев считалось до 500 миллионов, т.е. половина всего человечества, живущего на земле. Наступил XX век, и в первую четверть этого нового века народонаселение Китая возросло до 700 миллионов. Жители Небесной империи, соперничая с своими соседями, японцами, переняли у Европы все практические познания, в особенности гениальные технические изобретения европейцев в деле войны. Они завели громадную сухопутную армию в 5 миллионов солдат и исполнисий паровой флот в сто мониторов и вдвое быстроходных, гигантских паровых крейсеров. Покрыв свою страну сетью железных дорог, которые у них дошли до Западной Сибири и Афганистана, они сперва покорили и поглотили изнеженную Японию, потом завоевали и обратили в свои колонии республику Соединенных Штатов Америки, в чем им помогла новая, истребительная междуусобная война Северных и Южных Штатов, которую наполнилось начало XX века, при постыдном соперничестве двух тогдашних президентских династий. Переселив в завоеванную Америку избыток своего народа, теснившегося под конец, за недостатком земли, на плавучих и свайных постройках их рек и озер, китайцы обратили внимание на Европу. Они послали свой флот в Атлантический океан, где в 1930 г. произошла колоссальная морская битва китайских мониторов с мониторами еще существовавших тогда, самостоятельных государств европейского материка, — Англии, Франции, Италии и Германии. Дело, по словам календаря, решилось особыми подводными, китайскими «минами-пушками»,

которые подплывали под киевые части европейских мониторов и, стреляя залпами бомб, начиненных динамитом, взрывали и топили эти грозные когда-то суда.

Европа в 1930 году была завоевана Китаем...

Отдельные, во время оно сильные и славные государства, Франция, Англия, Италия и Германия, поглотившие незадолго перед тем ряд второстепенных стран — Испанию, Австрию, Швецию и Данию, были в свой черед поглощены и упразднены китайцами. Победители прекратили их самостоятельное существование и обратили их, как и Америку, в свою колонию. Явилась федеративная Европа, которой Богдыхан, в утешение туземных ученых и публицистов, дал название «Соединенных Штатов Европы», подчиненных китайскому императору. Сам он с тех пор стал именоваться Богдыханом Европы, как некогда английская королева носила титул императрицы Индии.

Порошин с трепетом стал доискиваться в занимательном календаре сведений о судьбах России. Она, к его утешению, уцелела в этой общей ломке, вследствие своего дружеского китайцам нейтралитета, который она объявила во время нашествия жителей Небесной империи на Европу — в отместку Англии за Пальмерстона и его преемников, Франции — за Наполеонидов, Австрии — за ее вечные изменения и предательства, и Германии — за Бисмарка, «прижимавшего славян к стене...» «Досталось всем сестрам по серыгам!» — радостно подумал Порошин, читая эти откровения прошлого...

Богдыхан, за дружбу к России, дав средство славянам окончательно изгнать турок в Азию («вон до какого времени была эта возня!» — подумал Порошин) и образовать на Балканском полуострове отдельную славяно-греческую дунайскую империю, дружественную России, не мешал и русским исполнить их последний долг... Русские, как гласил календарь, благодаря железной дороге, устроенной от Урала до Хивы и нового передового поста китайцев на западе, до Афганистана, разбили англичан в Пешаваре, выгнали их из Восточной Индии и устроили третью российскую столицу в Калькутте. Милости Богдыхана к завоеванной Европе были, впрочем, неизреченные. Обложив европейский, покоренный его войсками, материк тяжкою ежегодною данью — в миллиард франков —

и обязанностью обрабатывать на своих фабриках исключительно китайское сырье, Богдыхан упразднил все непроизводительные европейские армии и флоты («вон когда лига мира дождалась исполнения своей грезы об общем разоружении!» — не утерпел подумать Порошин). Заменив эти постоянные войска сухопутною и морскою гражданскою «китайскою жандармерией», китайцы окружили главные столицы и города упраздненных европейских государств новыми китайскими крепостными стенами, снабдив их своими гарнизонами и своими пушками, но за то они предоставили каждому из «Соединенных Штатов Европы» устраиваться, по былой американской системе, на свой особый лад, — без права носить и иметь какое бы то ни было оружие. Даже ножи и вилки исчезли из употребления; все в Европе с тех пор ели, как в Китае, только ложками и палочками.

Германия при этом с удовольствием сохранила свой «юнкерский ландтаг», Италия — «папство», Англия — «палату лордов» и «майорат», Франция — сперва «коммуну», а потом «умеренную республику», президентами которой, с 1935 по 1968 год, были деятели с разными громкими именами, между которыми Порошин насчитал пять Гамбетт и двенадцать Ротшильдов. По прекращении «династии Гамбеттидов» (так и выразился календарь), Франция большую частью состояла под местным верховным владычеством президентов — евреев из банкирского дома Ротшильдов. Перенесясь в 1968 г., Порошин, следовательно, застал французов под управлением Ротшильда ХХII. Еврей-адмиралы в это время командовали французским флотом в океанах, евреи-фельдмаршалы охраняли, во имя китайского повелителя, французские границы, и евреи-министры, с президентом в пейсах и ермолке, встречали правящего Европой Богдыхана, Ца-о-дзы, при недавнем триумфальном посещении последним Парижа, отчего и до сих пор, вторую неделю, парижские улицы и дома были увешаны флагами.

Французская республика, с поры окончательной победы жителей Небесной империи, мирно и дружно ужилась с китайским богдыханством. Прежде у французов империя чередовалась с республикой. Теперь у них разом и рядом, к общему удовольствию, были и та, и другая.

«Вот почему на монетах, данных мне армянином, — догадался Порошин, — с одной стороны вычеканены «Liberte, egalite, fraternite» — и надпись «Французская Республика», а с другой стороны — внушительная китайская бамбуковая палка».

Вышел Порошин из книжной лавки при вечернем освещении. Улицы и площади Парижа горели яркими, как дневной свет, электрическими солнцами. Проголодавшись, он зашел в громадный ресторан с надписью «Столица мира Пекин», где вся прислуга была одета китайцами. Он потребовал себе модных блюд; ему подали жареного фазана и рисовой каши, которые он торопился есть, чтобы не опоздать в театр. Но он заметил, что другие посетители «Пекина», между едой, брали со стола какие-то трубочки и подносили их к ушам. Он осведомился у гарсона, — что это? Ему ответили: «телефон».

— Да в чем же дело, не понимаю? — (Тогда, в 1868 г., еще не знали этого изобретения.) Ему объяснили, что каждая из трубочек, лежащих на столе, была соединена проволокой с различными театрами, — оперой, водевилем, концертною залой, — и что за небольшую, особую плату посетитель может, кушая, в то же время следить за любой парижской и даже более отдаленной сценой.

Порошин поднес к уху первую попавшуюся трубочку: ему послышались аплодисменты, которыми публика встречала какую-то актрису в «Comedie Française». Он поднес к уху другую трубочку: стали слышны заключительные, нежные рулады концертной арии, исполнявшейся в ту минуту в опере знаменитым кантонаским певцом. Уходя из кафе, Порошин поднес к уху третью из трубочек: ему послышалась речь, в какой-то аудитории, о превосходстве реального элемента в искусстве, а именно — об окончательной замене фотографией всех родов живописи.

Так проспал Порошин в Париже, или, как ему несомненно казалось, прожил семь условленных, веселых и беззаботных дней будущего тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Денег, взятых Порошиным у армянина из XIX века, оказалось вдоволь, потому что все, и в тогдашнем Париже, было сравнительно дешево.

Он посещал всевозможные, особенно модные увеселения. Все стремились в громадный железный и каменный, на манер древ-

неримского, Колизей. В моде были звериные травли, бой быков, борьба низших человеческих рас с тиграми и львами, конские скачки с невероятными препятствиями—через пороховые погреба с зажженными факелами, через динамитные батареи — и единоборство петухов и крыс. Все это производилось в названном Колизее. Роль древних гладиаторов-рабов исполняли в борьбе с дикими, пускаемыми на арену зверями, нарочно для этой цели привозимые из внутренней Африки, жители озера Нианзе и Танганаки. Когда на арене Колизея лилась звериная или людская кровь, парижские дамы пили шампанское и бросали из лож победителям роскошные букеты, которые во время оно бросались Патти и Дженни Линд.

Порошин от Колизея переходил к бесчисленным кафе-шантанам, от последних к пирушкам с молодыми людьми, между которыми приобрел много знакомых. Удивляясь, что он стал способен к этого рода забавам, он нередко входил в споры с простодушными, всем и всегда довольными французами. Узнав, что Порошин русский, парижане были с ним особенно любезны. Он не стеснялся в беседах с ними.

— Да полно, какая же у вас республика, когда вы покорены китайским Богдыханом и, в его декретах, именуетесь его рабами? где же ваша свобода? — спрашивал Порошин парижан.

— Oh, les chinois... ce sont nos meilleurs et bons amis...

— Но какие же вам они друзья, когда вы с прочею Европой им платите такую страшную дань, и их знамя веет над стенами некогда славного Парижа?

— Зато мы избавились от царства адвокатов... Нет более адвокатов, — говорили ликующие парижане, — есть только прокуроры и милующий Богдыхан...

Порошин узнал, что правосудие в XX веке очень упростилось. Давно замечая, что спиртные напитки и отчасти хлороформ развязывают язык, тогдашние ученые стали делать острумные опыты и изобрели особую жидкость, из которой добыли газ, названный спирто-хлороформом или алкого-хлорадом. Напуская этот газ в особую комнату, прокуроры силой вводили туда подозреваемых и подсудимых, и последние, надышавшись предательским испарением, теряли главное из чувств — силу воли, после чего прямо диктовали стенографам все, что

делали и говорили, все, что у них было в сокровенных помышлениях. С тех пор упразднились полицейские дознания, предварительные и судебные следствия, очные ставки, перекрестные допросы, доносы и отделения явных и тайных сыщиков.

— Потом, извините, вы всегда кичились свободой и легкостью ваших нравов, — допытывал французов Порошин. — А у вас вон и теперь существует казнь...

— Нельзя! — отвечали находчивые парижане. — Каждый народ имеет право принимать меры в ограждение своей безопасности от преступников и злодеев!

— Но еще нелепость... Вы кичитесь республикой, равенством, свободой, а у вас, кроме китайского, общего всем вам гнета, есть еще местный, частный гнет... еврейский! Кроме многих прежних династий, вы проходите наконец через династию израильских президентов своей республики, Ротшильдов... Извините, но это — позор! Евреи восседают у вас на троне Генриха IV и Людовика XIV, банкиры, биржевики красуются в креслах Робеспьера и Мирабо... Этого не представляла история даже таких торгаших, как англичане; у них тоже были и есть свои Ротшильды, но те у них не шли и не идут дальше банкирских контор и несгораемых сундуков...

— Это мы сделали поневоле.

— Как поневоле?

— Евреи с началом нынешнего, XX века, через свои банкирские конторы, завладели всею металлическою монетою в мире, всем золотом и серебром. Производя давление на бирже, они получили неотразимое влияние и на выборные классы великой, но завоеванной китайцами Франции. Зато при первом же президенте из дома Ротшильдов у нас оказался финансовый раж: полное равновесие прихода с расходом в бюджете, устройство всех общественных отправлений на акционерный лад и окончательное введение удобных бумажных денег, вместо металлических...

— Но вы говорите, что Ротшильды взяли верх через захват в свои руки всех металлов в мире?

— Да, золото всего мира перешло к ним, они им и доныне владеют, а нам за него предоставили, в виде векселей на себя, очень красиво отпечатанные ассигнации. Это значительно удоб-

нее, их легко носить в кармане. Золото любят у нас носить одни, как вы, иностранцы.

— Вы упомянули также об устройстве всех общественных нужд на акционерный лад.

— Точно так.

— Как это случилось?

— За примером не далеко ходить. Со вступлением в управление Ротшильдов исчезли окончательно в домах лампы, печи и графины.

— Не понимаю, как это? — спросил Порошин. — Разве изменился климат, пропала зима, солнце не заходит с той поры и люди не нуждаются в питье?

— Вы недостаточно поняли меня, — ответил француз, с улыбкой взглядываясь в Порошина, — я говорю только, что печи, графины и лампы окончательно исчезли, с мудрым президентством Ротшильдов, не только у нас, но полагаю и в других цивилизованных городах. А что эти редкости добной старины действительно исчезли, это вам, вероятно, известно... и вы их теперь увидите разве только в музеях диковинок прошлых времен...

Порошин боялся далее об этом расспрашивать, чтоб не возбудить подозрения на свой счет. Он вскоре лично убедился, что каждый дом и каждая комната в новом Париже получали тепло, свет и воду из общего резервуара этих материалов, устроенного в нескольких километрах за городской стеной.

Он взял духовой фиакр, нарочно съездил и осмотрел это замечательное, монументальное здание, доставлявшее особыми проводниками для парижан электрический свет — в их здания и уличные фонари, воду — в кухни, бани, умывальные столы и прямо в прикрепленные к столам на гуттаперчевых трубочках стаканы и другие сосуды, и тепло — в каждый дом, в каждый обитаемый уголок. Все ограничивалось кранами: повернешь один — в комнате засветит яркая электрическая луна, повернешь другой — наливается сквозь мягкую трубочку в сосуды вода, повернешь третий — в холодной комнате становится, по желанию, тепло и даже жарко.

Проводники этих снадобий управлялись особыми регуляторами, экранами, градусниками и другими измерителями для расчета с акционерным обществом их поставщиков.

Это любопытное «центральное водо- тепло- и светоохранение» Порошину показывал бойкий и говорливый привратник-портье, хотя француз, но с итальянским профилем лица, одетый в цветное китайское полукафтанье и с длинною, шегольски заплетеенною, до пят, косой, по фамилии Бонапарт.

— Вы носите громкую фамилию? — спросил, смущившись, Порошин. — Не происходите ли от былых во власти Наполеонидов? Их династия когда-то здесь правила...

— О, мосье! вы правы! — грустно ответил, покуривая особую сигаретку с примесью опиума, портье. — Мало ли что было в старину? Нам, скромным и верным слугам Богдыхана, нет дела до прошлого этой счастливой страны... Вы, как иностранец, встретите и гарсонов в отелях из этой же, ныне обедневшей фамилии, и ветошников, и продавцов каштанов, и газет. Это все мои дяди и кузены... Благодаря многоженству, много у каждого из нас, бедных провинциалов, родных.

— Какому многоженству? Разве во Франции мормонизм?

— Не знаю, мосье, что вы хотите сказать этим мудреным и мне непонятным словом. Только многоженство даровано Франции в правление предпоследнего из мудрых Ротшильдов, ныне правящих нами во имя пресветлого Богдыхана, — даровано в награду за допущение этой гениальной банкирской расы ко всем тайнам нашей государственной казны.

— Но почему же Ротшильды вас наделили именно этой наградой?

— А как же? — ответил с чопорностью ученого знатока, самодовольный портье Бонапарт. — У Авраама и прочих праотцев было по несколько жен. Ну, а введя иудейское исповедание в счастливой, процветающей Франции, наши новые правители рекомендовали и этот обычай.

— Так и еврейская вера введена у вас?

— Если хотите, у нас нет теперь уж никакой веры, — спокойно улыбнулся привратник, — китайцы на этот счет особенно покладливы и дали нам полную свободу. Проповеди у нас заменены поучительными воскресными фельетонами министерских газет, а большинство обрядов нотариальными актами. Прибавилось только нотариусов и их писцов.

— Брак, однако же, очевидно сохранился, если у вас введено многоженство? — спросил Порошин. — Какой, скажите, у вас брак, гражданский или тоже... китайский, то есть никакой?.. и на какие сроки?

— Брак у нас действительно китайский, то есть примененный, в духе века, к формам юридического поддержания имущества, или найма прислуги, квартир, — на год, на месяц и даже, для желающих, на более короткие сроки... О, мосье, китайцы — первые люди в мире.

...Порошин не заметил, как шли его минуты, часы и дни. Парижские новые нравы и особенно дамские наряды его повергали в изумление. Парижанки носили неимоверные костюмы, или скорее ходили почти вовсе без костюмов. На улицах и в гостях Порошин на них видел еще некое подобие легких, широких, в китайском вкусе, бурнусов, сандалий и шляп. Дома же и на театральных сценах они, вместо одежд, как дикари, имели лишь красивые, убранные дорогими, искусственными каменьями пояса, да на ногах, руках и шеях — золотые, серебряные и алюминиевые браслеты, кольца, запястья и ожерелья. Каждая только и делала — купалась, душилась, заплетала волосы, кушала, посещала театры, звериные травли и влюблялась...

Для Порошина, вообще сдержанного и неохотника до пустых развлечений и забав, начался ряд таких эксцентрических похождений, такой душевной и сердечной суэты, что он сам себе не верил, удивляясь, откуда у него берется такая пустота и такой задор.

Кутежи с уличными шалопаями, сидение по целым дням перед бычачими и петушиными боями в Колизее, ужины с убранными в браслеты и кольца красавицами, посещение местных палат и скачек на искусственных, движимых сжатым воздухом, лошадях и прочие развлечения до того замотали и вскружили голову Порошину, что он, и без того слабый здоровьем, окончательно выбился из сил.

Он особенно потом помнил свой последний день, проведенный в 1968 году.

В этот последний, роковой, седьмой день, в последние часы, минуты и секунды, перед условным досадным пробуждением, Порошин, — как он это ясно вспоминал впоследствии, — бе-

шено и злобно хохоча в глаза какому-то французскому академику, раздражительно-едко повторял:

— Вы все изобрели и все выдумали! Надо вам отдать честь! Вы испытали и несете на себе иго евреев и китайцев, а летать по воздуху все-таки не сумели и не изобрели... Достигли этого все-таки русские, русские, русские!..

Озадаченный французский академик только на него поглядывал.

— Притом... что у вас за нравы, извините, и какой цинизм во всем. Хоть бы эти костюмы у ваших женщин... ха-ха! Одни кольца, да запястья, как у дикарей...

— Но, позвольте, — вмешался француз, — вы хоть и русский, но разве и у вас не введены такие же моды? Париж и теперь по этой части законодатель. Откуда же вы, что этого не знали и этому удивляетесь?

— Я с крайнего севера, из Колы, — смешавшись, продолжал Порошин, — да не в том дело, хоть бы и у нас вы ввели такую же распущенность! Далее... Вы вконец убили девственность и невинность невесты, уничтожили святую роль матери. Все женщины у вас кокотки, да, кокотки! Знаете это... древнее слово?

— Не слышал.

— У вас во всем невообразимый, разнужданный и дикий пропизвол страстей.

— Мы зато чужды предрассудков, — возразил с достоинством академик, — у нас везде поклонение природе, реальность.

— Это, пожалуй, забавно, но дико, дико до невозможности! — горячился и кричал на площади Трона Порошин, где происходил этот обмен его мыслей с ученым. — У вас полное падение искусств, поэзии, живописи, музыки! Ваша живопись заменена китайщиной, безжизненной, сухой, ремесленной, всюду лезущей и все поглощающей фотографией.

— Зато дешево, скоже, как дважды два, с природой и избавляется от пестроты красок.

— Нет, нет и нет! — кричал Порошин. — Фотография — сколок одного, мелкого и ничтожного момента природы; художественная живопись — могучее зеркало природы, в ее полном и идеальном объеме!.. Потом музыка, — Бог мой! — что у вас за

музыка! Вагнеровщина, доведенная до абсурда... слышали про Вагнера?

— Это что за имя? в древности были Моцарт, Бетховен, Rossини, — о Вагнере никто не знает...

— Был такой чудак, делавший с музыкой, как с кроликами, опыты сто лет назад. Вы, теперешние французы, развили его идеи и показали в точности, в какие трущобы нас вел этот и ему подобные борцы за музыку будущего... Мелодия у вас исчезла; ее больше нет и следа! Ни песни, ни былого, задушевного, чудного французского романса, ни единой сносной музикальной картины... волны бессмысленных тонов и звуков, без страсти и без выражения, — хаос!.. Наконец, иду далее... куда вы дели драму, высокую комедию?

— Это что такое? — удивился академик-француз.

— Вы заменили комедию и драму, — не стану вам объяснять их значения, если их забыли теперешние парижане! — с грустью сказал Порошин. — Вы заменили все это глупейшим, но реальным водевилем, с провальями и переодеваньями, гнусным сумбуром цинических, будничных, уличных сцен, как заменили былую оперу шансонетными дивертисментами, да при том в такое время, когда и все-то ваши шансонетки сплошь лишены тени мелодии, живого, задушевного мотива, наравне со всею вашею музыкой...

— Мы, реалисты, вас, к сожалению, совершенно не понимаем! — отозвались на площади некоторые слушатели этого спора. — Вы, мосье, точно вышли из какого-то допотопного архива, точно явились с того света, из отдаленной прадедовской старины.

— Да, вы правы! я жил и дышал иным веком, иною эпохой! Я вас не понимаю и от души сожалею! — произнес с новою запальчивостью Порошин. — Вы презираете все, что не ведет к практической, обыденной, низменной пользе! Вы пренебрегаете идеями великого философского цикла и дали развитие одному — практическим, техническим, не идущим далее земли, наукам и ремеслам. Вы отдали луч солнца за кусок удобрения, песню вольного, поэтического соловья за мычание упитанной для убоя телушки, а Вольтера и Руссо, — вероятно, вы не забыли хоть имен этих светил вашей страны? — променяли на

тупицу Либиха и другого тупицу, Вирхова. Надеюсь, этих-то ваших апостолов вы отлично знаете и помните доныне?..

— Зато мы верны природе! — повторил академик-француз, закуривая у столика ресторана кальян с опиумом.

— Зато вас, свободных французов, поколотили и завоевали китайцы, и поработили евреи, — с бешенством ответил Порошин...

Фаддей Булгарин

ПОХОЖДЕНИЯ МИТРОФАНУШКИ В ЛУНЕ

Бред неспящего человека

Не любо — не слушай, а лгать не мешай

Есть люди грамотные на святой Руси, которые не только не читали комедии Фонвизина «Недоросль», но даже не видали ее на сцене, потому что чтение русских книг не входит в число их ежедневных занятий, а в театр они не ездят на воскресные русские спектакли. Теперь же «Недоросль» поступил, вместе с опорою «Мельником», в число воскресных, то есть народных пьес. Туда же метит и «Горе от ума»! Для знаменитых писателей это кажется унижением, а мы почитаем это возвышением, и ничего не желаем столько для себя (*prima charitas ab ego*) и для наших приятелей, как того, чтоб сочинения наши были известны как «Недоросль», «Мельник» и «Горе от ума». Из гостиных книги выметают, как сор, а в домишках (красных не углами, а пирогами) для книг есть уютное местечко. Для знаменных авторов высокая участь: журнальный Парнас, а для воскресных писателей смиренная доля... местечко в народной памяти!..

Итак, большая часть русских грамотных людей знает и помнит, что имение помещика Простакова было взято в опеку и что при этом случае жена его, урожденная Скотинина, упала в обморок. Чиновник Правдин, исполнив указ, сказал недорослю Митрофанушке: «С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ка служить!..» Митрофан бодро отвечал, махнув рукою: «По мне куда велят!..» Когда слух об этом дошел до Петербурга, много-

численная родня Митрофана, особы обоего пола из фамилии Простаковых и Скотининых, вознамерились вывести Митрофана в люди. Он был единственный наследник полуторы тысячи душ отцовских и материнских и имел в виду наследство в пятьсот душ, принадлежавших дяде его, пожилому холостяку Тарасу Скотинину, знаменитому любителю животных, презираемых евреями и мусульманами и доставляющих славу и богатство поченным немецким колбасникам и французским шаркютье (*charcutiers*), то есть свиноварам. Митрофан был завидный жених! Он имел все нужные для этого качества, то есть деньги, высокий рост, крепкие мышцы, румянец в лице, много смелости и громкий голос. Ему недоставало только чина и светского образования, и эти блага взялись доставить ему родственники. Дядя его, действительный статский советник Простаков, занимавший видное место в столице, убедил мать Митрофана прислать к нему недоросля для определения в службу, представив ей, что это единственное средство к освобождению имения из опеки. Г-жа Простакова, *пролив реки слез* (слог XVIII века), наконец согласилась. Митрофана записали сержантом в гвардию и выпросили для него отпуск на неопределенное время, для окончания воспитания. Так водилось в то время.

Дядя поместил Митрофана в своем доме и приставил к нему в гувернеры немца, родом из города Швейнфурта, доктора философии Готлиба Францовича Цитатенфressера, и француза, мусье Генриха Эдуардовича Бонвивана. Им предоставлено было преобразовать Митрофана при помощи танцмейстера, фехтмейстера и берейтора.

В компании или товарищи Митрофану дал дядя русского дворянина, чудака в полном смысле слова. Он остался сиротою в детских летах, учился в Московском университете, потом путешествовал, лет шесть, по Европе и Америке, промотал все свое наследство, во сто тысяч тогдаших рублей, на книги, на переезды из одного места в другое, на знакомство с учеными мужами, на физические и химические опыты; день и ночь читал, учился и тогда только опомнился, когда остался без гроша. Иван Петрович Резкин был человек лет тридцати двух от рождения и некогда был красив лицом истроен; но от занятий своих он похудел, поседел, сгорбился и казался вдвое

старее мусье Бонвивана, которому хотя было уже лет за сорок, а по живости и пё виду он был еще молодцом. Дядя Митрофана находился в дружеских связях с отцом Резкина и даже был крестным отцом сироты. Не видя никаких средств помочь своему крестнику, потому что он не хотел вступить в службу, довольствуясь званием отставного гвардии сержанта (хотя не видал в глаза полка, котором был записан), г. Простаков поместил его с Митрофаном, на всем готовом, возложив на Резкина обязанность толковать по-русски уроки, преподаваемые немцем и французом, и возбуждать в Митрофane охоту к учению. Как мы не пишем истории Митрофана Простакова на Земле, но ограничиваемся кратким изложением происшествий, приведших его к путешествию на Луну, то выбираем из жизни его только те обстоятельства, которые могут служить к объяснению последующего.

Хотя вообще все Простаковы и Скотинины чрезвычайно долговечны, но судьбам Всеышнего угодно было, чтоб в течение четырех лет скончались отец, мать и дядя Тарас Скотинин и действительный статский советник Простаков. Митрофан был уже совершеннолетний и вступил во владение всем имением. У него было 2000 душ и 200 000 наличных денег. С таким богатством человек никогда не услышит от других, что он глуп; а Митрофан был неглуп от природы, следовательно, его величали мудрецом; невежество его распестрили множеством отрывчатых познаний, и он казался в гостиной и за столом (особенно за столом) весьма порядочным молодым человеком, каких мы встречаем в обществе целыми сотнями. Митрофан порядочно шаркал и кланялся, мог объясняться по-французски о погоде и происшествиях на балу, танцевал, хотя тяжеловато, но довольно правильно; знал, что история не птица, химия не насекомое, а физика не четвероногое животное. Из географии и из истории он выучил даже множество собственных имен, знал, что Париж находится при реке Сене, а Рим при реке Тибр и что Любек и Квебек не одно и то же. В многочисленной фамилии Простаковых и Скотининых Митрофан слыл даже из ученых, и многие отцы из этих древних родов поставляли Митрофана в пример своим деткам, внукам и племянникам. Хуже всего знал Митрофан арифметику и имел такое отвращение к

числам, что подписывал счеты своего поверенного, не заглядывая в них. Да притом же он не имел к тому времени.

Митрофан подружился со множеством премилых, прелюбезных и превеселых ребят, с офицерами гвардии, с камер-юнкерами, с чиновниками из хороших фамилий. Они также нашли в Митрофане предоброго малого, у которого всегда были наличные деньги, при необыкновенной услужливости и добродушии, и страстно полюбили его беседу и его стол. Некоторые из приятелей научили его играть в карты, для препровождения времени; другие возбудили в нем охоту к изящным искусствам и познакомили с отличными певицами и танцорками. Время летело быстро и весело.

Наконец, через пять лет, грянула гроза! На все имение Митрофана наложено запрещение и объявлено, что оно за частные и казенные долги продается с публичного торга. Митрофан был уже в отставке, в чине прaporщика. Ему запрещен выезд из города, за мелочные долги каретникам, магазинщикам, погребщикам и проч. и проч. и проч. С первого дня объявления о банкротстве Митрофана приятелям его стало недосуг заезжать к нему, и он никогда не мог застать их дома. Тут он опомнился.

Митрофан был в самом деле добрый малый. Он не согнал со двора своих гувернеров и своего компаньона, оставшись хозяином своей воли, но поместил их в нижнем этаже своего дома, велел выплачивать им жалованье, кормить и поить и позволял им пользоваться книгами, которые он накупил в первый год, по совету Резкина. Несколько раз Резкин хотел открыть ему глаза и объяснить, что он разоряется, но Митрофан запретил ему говорить об этом. Мусье Бонвиван, напротив, видя, что советы друзей его питомца сильнее голоса рассудка, молчал и сам участвовал в забавах Митрофана, приняв на себя заведование кухней и погребом. Наконец, когда все рушилось, Митрофан собрал на совет немца, француза и своего русского компаньона и объявил, что он более не в состоянии содержать их, потому что дом его назначен в продажу и что у него, кроме нескольких дорогих вещиц, нет ничего.

— У меня есть тетка, — примолвил Митрофанушка, — которая не отказалась бы помочь мне, если б мне удалось попасть

к ней, в ее саратовскую деревню. Писать к ней дело лишнее. Она плохо знает грамоту, а при ней живет родственница, полу-грамотная старая дева, которая прочит ее наследство своему воспитаннику, найденышу. Эта старая дева перетолкует письмо мое или вовсе не отдаст его. Тетка давно уже приглашала меня к себе... но тогда я не хотел, а теперь нельзя... Мне не выдадут ни паспорта, ни подорожной... Мне очень прискорбно расставаться с вами, любезные друзья, но делать нечего... Если бы я не был из рода Простаковых и Скотининых, то меня бы посадили в тюрьму. Теперь меня оставляют на свободе; но я не знаю, что начать с собою... Ax, если б мне можно попасть в деревню тетушки!..

— Да за чем же дело стало? — сказал Резкин. — Разве нельзя выбраться отсюда без паспорта и без подорожной?.. Ведь для этого изобретено воздухоплавание. В воздухе нет застав, а капитан-исправниками и заседателями там коршуны, которые для нас не страшны. Если бы вы собрали несколько тысяч рублей, мы бы, с Готлибом Францовичем, устроили для вас шар и отвезли бы вас куда угодно...

— Ja wohl! — сказал Готлиб Францович. — В моих университетских тетрадках есть рецепт, как надувать шар...

— Я знаю, что на немецком языке есть много рецептов, как надувать, только я хочу устроить шар по новой методе, — возразил Резкин.

— Несколько тысяч рублей у меня наберется, если продать все вещи, — сказал Митрофан, — только не опасно ли будет пускаться по воздуху?..

— Пустое, — возразил Резкин, — на земле опасность от воды, от воздуха, от огня, от дерева, железа, человека, зверя и Бог весть от чего; а в воздухе — только от воздуха. Не летают по воздуху оттого только, что не умеют и что это новость. Люди любят нововведения, а боятся их, потому что те, которым прибыльна старина, страшат их. Каретники и конские заводчики интригуют противу воздушных шаров. Но когда люди научатся летать, тогда, верьте, не будет других экипажей. Я два года думал об этом и изобрел новое устройство шара. Мы полетим так покойно, что вы даже не будете этого чувствовать. Только надобно запастись...

- Вином и пастетами, — примолвил француз.
- И это не худо, — сказал Резкин, — но при этом нужно запастись переносным газом, чтоб в случае нужды иметь чем пополнить шар и даже надуть запасный, если б старый прорвался. Положитесь на меня. Опасности нет и быть не может — все предусмотрено и рассчитано!
- А можно ли мне взять с собою мои университетские тетрадки (компендиумы), несколько каталогов и библиографических обозрений?.. — спросил немец.
- До трех пуд на человека, — отвечал Резкин.
- Делать нечего, — сказал Цитатенфрессер, — маловато!
- А нам, с Генрихом Эдуардовичем, можно ли будет играть в пикет? — спросил Митрофан.
- Хоть в банк, — отвечал Резкин.
- Итак, извольте! Пожалуйте со мною, в мой кабинет. Я вам отдам мои перстни, табакерки, матушкины серьги, цепочки и диадемы и весь мой драгоценный хлам; продайте это и начните постройку вашего шара. Мне здесь и тошно, и грустно! Я наследовал фамильные чувства по отцу и матери: во мне гордость Скотининых и раздражительность Простаковых. Не хочу унижаться до того, чтоб трудами снискивать пропитание, и не могу перенести неблагодарности прежних друзей моих! Боюсь, чтоб не взбеситься! Едем или летим — и завоюем тетку и ее наследство!

Резкин взял вещи и пошел в гостиный двор и на толкучий рынок искать иудеев, исповедующих христианскую веру, для превращения вещей в деньги, а Митрофан с горя лег спать. Цитатенфрессер между тем очистил каретный сарай, в котором уже не было экипажей, и подготовил место для постройки воздухоплавательной машины. К вечеру возвратился Резкин. На четырех телегах привезли весь нужный материал. Мастеровые были поряжены и обязаны явиться на работу на другое утро.

Три недели работал Резкин над устройством шара. Лодка имела вид сундука с выпуклым дном, чтоб могла держаться, при случае, на поверхности воды. Верхняя часть, или палуба, окружена была перилами. В палубе была опускная дверь, к которой изнутри каюты устроена была лестница. В каюте были окна, небольшая чугунная печь и кладовая для съестных припасов,

которыми заведовал мусье Бонвиван. На палубе прикреплен был чугунный ящик с запасным газом, лежали якори, парашюты и сундук с математическими инструментами. Резкин взял с собою телескоп, компас, барометр и термометр, которые находились внутри лодки. Цитатенфressсер взял свою кипу университетских тетрадей и библиографических выписок, с которыми он не мог расстаться, как с головою.

Митрофан взял карты, кости, домино и пробочник для откупоривания бутылок. Митрофан отпустил по паспортам всех слуг своих, а как Резкину нужен был для работы смелый человек, то он убедил к путешествию отставного солдата Усачева, которого Митрофан держал для надзора за лошадьми. Солдат взял с собой ружье со штыком и манерку с водкой.

Лодка устроена была в виде птицы. Для рассекания воздуха впереди приделана была длинная шея, с клювом-в тыл прикреплен был хвост, а по бокам крылья, наподобие женских вееров. Хвост и крылья расширялись, сжимались и приводились в движение посредством весьма малосложного механизма. Стоило только вертеть колесо, чтоб дать какое угодно направление шару. Шар был сделан из крепкой парусины, и верх покрыт, для большой прочности, лайкой, которая напитана была резиной. Сеть была из крепких смоленых бичевок.

С вечера стали надувать шар в сарае, и к полуночи все было готово к путешествию. Ночь была темная и пасмурная, и когда в городе стало не слышно стука экипажей, воздухоплаватели уташили шар на двор, уселись на палубу. Русские помолились, француз запел, немец задумался — Резкин отрубил веревку, на которой шар был привязан к столбу, и он поднялся на воздух.

На другое утро будочник, родом из малороссиян, рапортовал квартальному надзирателю, что он видел в воздухе ведьму, которая летела в железной ступе по направлению к Киеву. А как в ту же ночь бежала со съезжего двора старуха, взятая с улицы в пьяном виде, то показание будочника признано несомнительным и записано в протокол, в числе происшествий. Протокол этот погиб в бывшее в Петербурге большое наводнение. А как воды и огня нельзя подвергнуть ни следствию, ни допросу, то все кончилось *благополучно*. Это словечко, то есть *благополучно*, такое полезное и благодетельное

в житейском быту, что мы покорнейше просим всех новых преобразователей русского языка не изгонять его из нашей письменности вместе с *сей*, *оний*, *ибо*, *понеже* и *поелику*. Словца *благополучно* ничем невозможно заменить в разнородных рапортах и донесениях. Возьмите себе, господа, даже здравый смысл, а только оставьте нам *благополучно*.

Итак, представляя читателям нашим донесение о воздухоплавании Митрофана Простакова и компании, мы должны сказать, что оно продолжалось *благополучно*. Только, по несчастию, Резкин в первую ночь удостоверился, что теория и практика не одно и то же. По теории крылья и хвост долженствовали давать шару направление по воле кормчего; а на практике вышло, что они не могли противостоять сильному напору огромной массы воздуха.

В верхних слоях атмосферы поднялся вихрь, который мчал шар с быстротою молнии, унося его все выше и выше. Лодку ужасно качало, и Резкину невозможно было держаться на палубе. Качка произвела морскую болезнь. Воздухоплаватели лежали в каюте почти без чувств, на полу. Только Усачев, бывавший на море, сидел спокойно на палубе, держась за перила, и напевал старинную солдатскую песню:

Вы не бойтесь, не страшитесь, шведского, грецкого короля!

Наконец буря заревела так страшно, и соприкосновение масс воздуха, сталкивавшихся в различных направлениях, произвело такой гром, что Резкий стал опасаться, чтоб шар не лопнул. Шар то опускался, то быстро поднимался, то уносился в сторону, и лежавшие на полу воздухоплаватели перекатывались с пола на стены и обратно. Вдруг ударил гром, так сильно, что казалось, будто лодка распалась на части. Молния разлилась в воздухе огненною рекою. Опускная дверь отворилась, и Резкин, собрав все свои силы, закричал:

— Усачев! Что там?

— Все обстоит *благополучно*, — отвечал Усачев, — нового ничего нет, только ваш ящик с *духом* (то есть газом), да сундук с *штрументом* (то есть инструментами) выбросило за борт; да никак сетка-то рвется!

— Плохое благополучие, — проворчал про себя Резкин и, завернув голову плащом, ожидал спокойно смерти.

Настал день, буря утихла, и шар несся легко. Воздухоплаватели оправились от морской болезни и вышли на палубу. Они ужаснулись, заметив, что земля совершенно скрылась от их взоров. Резкий хотел опустить шар ниже, но не мог отворить душников, или клапанов в шаре, чтоб выпустить часть газа, потому что во время бури сорвало ветром шнурсы, прикрепленные к клапанам. На парашютах нельзя было отважиться спускаться с такой высоты. Итак, надлежало ввериться произволу ветров!

На другую ночь воздухоплаватели почувствовали чрезвычайный холод, который постепенно увеличивался, так что и Усачев не мог более выдержать на палубе. Наконец воздух сделался таким жидким, что воздухоплаватели не могли переводить дыхания. Они заперлись в каюте и затопили печь каменными угольями. Шар беспрестанно мчался в высоту, по косвенному направлению, увлекаемый сильным течением воздуха, которое становилось быстрее по мере возвышения.

Таким образом прошло шестеро суток. Съестных припасов оставалось немного. Митрофану наскучило спать и раскладывать гран-пасьянс; француз насвистывал заунывную песню; Резкий сидел в задумчивости и поглядывал по временам в телескоп, через окно каюты; Цитатенфрессер перебирал свои тетради и искал в них известия о подобном воздухоплавании; Усачев, от скуки, починив свою шинель.

— Чем это кончится? — сказал наконец с досадою Митрофан, бросив карты на стол.

Все молчали.

— Что вы скажете, господин доктор философии? — примолвил он.

Цитатенфрессер заглянул в тетрадь и отвечал:

— Каждое дело должно иметь начало и конец, по словам Аристотеля.

— Да это я слыхал и от няни моей, Еремеевны, — возразил Митрофан.

— Еремеевна ничего не писала и не печатала, следовательно, на ее слова нельзя ссылаться, — отвечал преважно Цитатенфрессер.

— Ну а если б Аристотель сказал, что все дела в мире не имеют ни конца, ни начала, поверили ли бы вы ему? — спросил мусье Бонвиван.

— Смотря по обстоятельствам! — возразил Цитатенфрессер.

— Да полно вам, господа, молоть вздор, — сказал Митрофан. — Время ли теперь до диспутов! Холодно, сырьо, туманно. Не лучше ли выпить по стаканчику?

— Давно бы так следовало, — примолвил Цитатенфрессер. [...]

В четверть часа пунш был готов, и целое общество прихлебывало варварский напиток. Мы называем пунш напитком варварским, потому что он выдуман неграми, невольниками, работающими на сахарных заводах и фабриках рому в Америке. Из всех крепких напитков он, по ядовитости своей, вреднее для здоровья и умственных способностей человека. В XVIII веке и в начале текущего столетия пунш был в моде. Теперь он господствует только в шустер-клубах и на студентских комершах в Германии.

Воздухоплаватели пили столь прилежно с горя и для того, чтобы согреться, что погрузились в глубокий сон, который был столь продолжителен, что Резкин, записывавший дни и часы, проснувшись, потерял счет времени!

Прочие воздухоплаватели еще спали, а Резкин, желая освежиться на чистом воздухе, вышел на палубу. Необыкновенное, удивительное зрелище представилось ему, и он, в страхе, недоумении и в благоговейном восторге, бросился на колени и, простерши руки к небу, начал молиться.

Ночь была тихая, небо безоблачное, солнца было не видно, но на горизонте сиял полукруг, как будто вылитый из чистого серебра. На этом полукруге, которого радиус был верст в десять, видны были горы, ярко освещенные с одной стороны и бросающие длинную тень с другой; углубления или пропасти представлялись взорам в виде огромных черных пятен. В некоторых местах серебряная поверхность полукруга казалась гладкою и полированною, в других местах матовою или шероховатою, и вообще все устройство этой поверхности было таково, как будто бы кто-либо с размаху вылил растопленное серебро из плавильного горшка или тигеля с правой стороны на левую. Полукруг беспрестанно увеличивался со стороны диаметра. Сперва показывались светлые

точки с этой стороны, то есть освещенные верхи гор, а по мере обращения планеты к Солнцу освещались промежутки, и полу-круг становился белее, переходя за диаметр¹.

Резкин имел познания в астрономии и часто наблюдал вид и течение планет. Он знал карту Луны и по пятнам и горам тот-час узнал эту планету. Но беспрерывно увеличивающийся объем ее изумил Резкина. Он догадывался, что шар вышел из земной атмосферы и попал в атмосферу Луны и что они проспали пе-реход через эфирное пространство. Все это было противу зако-нов физики и тяготения, но как Резкин, при всей своей учености, был неглуп, то есть позволял себе рассуждать и не верил всему писаному, то, в подкрепление своих догадок, он вспом-нил стихи Шекспира, в которых великий поэт, одушевясь про-роческим духом, говорит, что в природе есть много таких та-инств, о которых и не мерешилось мудрецам и философам!

Между тем шар все поднимался вверх, и луна округлялась. Воздух сделался приятнее, и холод начал уменьшаться. Солн-це показалось на горизонте, и по мере того, как оно подними-лось, луна принимала голубоватый вид.

Вдруг шар зашатался. Резкин, думая, что парусина прорвала-лась где-нибудь и что шар упадет, бросился на палубу и ухва-тился из всей силы за перила. В одно мгновение шар перевер-нулся, то есть лодка очутилась там, где был шар; а шар занял противоположное место и стал опускаться вниз, но не быстро, а плавно и без качки. Воздухоплаватели, спавшие на полу, в каюте, во время оборота шара брошены были под потолок. По счастию, все стены, пол и потолок были обиты войлоком и kleенкою, и потому странники не крепко ушиблись. Однако ж пробуждение их было весьма неприятное. Во время падения ученый немец столкнулся с французом. Бедный Цитатенфрес-сер потерял два последние передние зуба, лишившись прочих при беспрерывном грызении роговых мундштуков, которых он съедал по четыре аршина в год, выкуривая притом, в тот же срок, по 730 фунтов табаку. У мусье Бонвивана распухла щека, у Митрофана вскочила шишка на голове, а Усачев только встре-пенулся и встал как ни в чем не бывало.

¹ Этот вид Луны советуем поверить в натуре, в хороший телескоп. Разумеется, что здесь величина радиуса вымышленная

Резкин вызвал всех на палубу. Они с восторгом закричали:

- Земля!
- Нет, не Земля, а Луна! — сказал Резкин.
- Вы шутите! — возразил Цитатенфрессер.
- Уверяю вас честью, что я говорю сущую истину. Мы приближаемся к Луне!
- Этого быть не может! — воскликнул Цитатенфрессер. — Я вам докажу цитатами невозможность путешествия в Луну... У меня есть выписки о законах тяготения из Ньютона, из Лапласа.
- Все это и мне известно, но я уступаю очевидности и повторяю, что мы приближаемся к Луне.

Это известие всех испугало. Усачев стал осматривать свое оружие, хотя и не понимал опасности.

Шар быстро опускался, и воздухоплаватели могли явственно видеть города, селения и леса; а наконец заметили что-то движущееся: людей или животных. Резкин пригласил всех к работе. Размотали канат, спустили два якоря, подготовили парашюты. Ветер нес шар косвенно, и он стал спускаться на поле возле леса. В нескольких десятках саженей от поверхности планеты неверующий Цитатенфрессер убедился, что шар спускается не на Землю, потому что листья деревьев и трава были не зеленого, но голубого цвета, как наши земные незабудки и васильки, а кора была зеленая. Наконец якорь зацепился за дерево, и воздухоплаватели беззрено сошли с палубы своей лодки.

Пока другие приготовляли завтрак, Митрофан взялся осмотреть окрестности. Он вооружился двухствольным ружьем, велел Усачеву также взять карабин, и они отправились в лес.

Вскоре нашли они тропинку и следовали по ней быстро, в надежде, что она доведет их до обитаемого места. Через час времени они достигли до окончности леса и очутились на краю горы. Под ногами их простиравшаяся долина, а верстах в двух от подошвы горы лежал город. Усачев, бывший в Грузии, Персии и в турецком походе, сказал:

— Это, сударь, город бусурманский! Вот так точно строят дома турки и татары! Видите ли, что крыши здесь плоские, окон почти нет на улицу, улицы тесны и народу на них мало? А это башенки... Это, наверное, их молельни, словно у турок! С этих башен дьячки, что ли, турецкие кричат во все горло и зовут на

поклон Магомету. Насмотрелись мы довольно на это! Да, не приведи Господь жить с бусурманами!.. Вот бы в Польшу на стоянку, так уж славно! Даром, что живов пропасть, как клюпов, Да нашему брату житье привольное!..

Усачев говорил бы целые сутки, если б Митрофан не прервал его.

— А что, служивый, не пойти ли в город?

— Как прикажете: наше дело идти, куда велят командиры!.. В последнюю турецкую войну капитан у нас был человек молодой, из гвардии, лихой служака, да такой горячка, что беда! Завидел турецкую батарею за кустами, да и бегом на нее! Мы за ним, да и толкуем между собою: дело плохое, тут всех нас перекошат... Да крепко жаль, что достанется за то и нашему капитану от начальников! Ах и вышло, что он сам лег на батарее, да и нас легло вокруг него с полроты! Зато батарею взяли и пушки заколотили!

— Да кто тебя спрашивает теперь о твоих сражениях! — проговорил сердито Митрофан. — Тут своя беда на носу... а он толкует о батареях!

— К делу пришло слово, а к слову дело, ваше благородие. Войти в город не штука... это ведь не крепость; да как выйдем оттуда, не зная, что там за народ! А ведь наши-то господа ждут нас! Уж идти, так идти всем! Перекрестясь — да и бух! Чему быть, того не миновать!

— И то дело! Пойдем-ка к нашему пристанищу и там порассудим, что делать.

Они не дошли и до половины леса, как вдруг небо помрачилось, заревел сильный ветер, посыпал град — и настала такая жестокая буря, какой и не видано на Земле. Деревья валило кругом, и вихрь уносил их как тростник. Выбравшись на малую поляну, странники бросились на землю и держались руками за камень, опасаясь, чтоб их не снесло ветром.

— Ах ты Господи! — сказал Усачев. — Видел я бурю на Черном море, что, кажись, волны хотели затопить небо, да та буря перед этой — что стакан воды перед штофом водки! Ошеломит хоть кого! Ах, батюшки! Это что? Ваше благородие, посмотрите вверх! Да ведь это наш шар! Да как его вертит, сердечного! Ахти, да и господа-то наши там! Смотрите, как они натягивают

веревки... один, два, три... ну, все там! Вот немец-то натрусился! Заговорит своим аптечным языком! Ну, батюшки ваше благородие, остались мы одни!.. Да Господь милостив.. Ведь без Его святой воли и волос не спадет с грешной головы!. Один конец, а дважды не умирать!..

У Митрофана сердце облилось кровью, смотря на шар, который кружился в воздухе, колебался ужасно и наконец исчез из глаз. Чрез полчаса буря утихла, проглянуло солнышко, и странники отправились в путь, на то место, где был шар.

В это время они увидели впервые обитателей Луны. Налетела стая птиц, величиною с воронов, украшенных прелестными разноцветными перьями. Птицы уселись на сучьях и, казалось, с удивлением смотрели на странников, которые еще более были удивлены, увидев, что у этих птиц головы были... человеческие и даже премилые личики. Птицы щебетали между собою, как будто разговаривая, и вовсе не пугались странников.

— А что, ваше благородие, не прикажете ли хватить? — сказал Усачев, сняв с плеча карабин.

— Сохрани Бог! — воскликнул Митрофан. — Ты видишь, что у них человеческие головы... так, верно, убивать их грех!

— И впрямь чудо! — возразил Усачев, посматривая на птиц. — Что это за красотки! И то сказать, что у иного нашего брата, человека, точно скотская голова... ни дать ни взять бык или обезьяна... да все не то! Попадись такая птица немцу, так он с нею объехал бы весь свет да понабрался бы денег под качелями да на ярмарках! Сем-ка поймаю одну для потехи!..

Усачев приблизился к дереву и хотел накрыть шапкою одну птицу, но вся стая закричала пронзительно и улетела.

— Ну, Господь с ними! — сказал Усачев. — Зла мы им не сделали.

Между тем странники вышли из лесу и попали на то место, где был шар. На траве они нашли только каравай хлеба, кусок жареного мяса, несколько бутылок вина и кипу бумаг. Митрофан догадался, что это бумаги Цитатенфressера, которые, вероятно, или упали из лодки... или, быть может, вынесены самим Цитатенфressером и второпях оставлены. С горя они принялись обедать, а потом Усачев развел огонь и стал просушивать мокрое платье.

К удивлению Митрофана, солнце не заходило, хотя, по его расчету и по часам, должноствовало быть поздно. Но как он чувствовал усталость, то вздумал выбрать безопасное место, где провести ночь, предполагая, что в лесу могут водиться дикие звери. Как вдруг из лесу вылетела та же стая птиц, с криком взвилась над головами странников и потом снова улетела в лес. После того послышались звуки, похожие на трубные, и из лесу показалось... что такое?.. толпа или стадо... людей или зверей!.. Этого не могли разгадать наши странники. Животные были похожи на медведя, с головою обезьяны и с длинными волосами на голове, покрытые бурою шерстью и украшенные разноцветными лоскутками в виде передников, шарфов через плечо, коротеньких мантий и т. п. Они шли на задних лапах, а в передних имели копья и щиты. Впереди толпы, или колонны, несколько из этих животных везли две машины с жерлом, нечто вроде пушек. Животных было до пятисот. Они окружили наших странников. Одно из животных выступило вперед и начало говорить что-то, обращаясь к нашим странникам. Видно было, что это ораторствующее животное пробовало говорить на разных языках, потому что, останавливаясь после каждой речи, изъявляло свое нетерпение, что его не понимают. Наконец, оно заговорило на языке, весьма похожем на язык французский, и Митрофан закричал радостно по-французски:

- Понимаю!
- Сдайтесь добровольно — мы вам не сделаем никакого зла! — сказало животное.
- А кто вы? — спросил Митрофан.
- Мы жители здешней страны: лунатики, добрые с безвредными созданиями и злые со злыми! А вы кто?
- Мы люди, жители Земли! — отвечал Митрофан.
- Возможно ли! — воскликнул оратор-лунатик. — Жители Земли! Неслыханное дело! А мы вас приняли за чудовищ, исшедших из утробы Луны на вред лунатикам! Эти птицы сказали нам, что вы хотели ловить их...
- Мы не хотели сделать вреда этим птицам, — возразил Митрофан, — а хотели поймать одну из любопытства... потому что у нас на Земле нет таких птиц. Мы создания смиренные и тихие и никого не обижаем понапрасну..

Оратор-лунатик обратился к своим и рассказал им на своем языке, кто таковы странники. Толпа воскликнула от удивления и приблизилась к ним. Старшины окружили их и протянули лапы, пожимая дружески руку у пришлецов. Все старшины знали этот французский язык, которым говорил оратор. Один из важнейших лунатиков сказал Митрофану:

— Ручаюсь за безопасность вашу! Пойдем с нами в город. Там, после обыкновенных форм, начальство придумает, что можно сделать для вас доброго.

Усачев взвалил на себя кипу бумаг, взял остатки съестных припасов и бутылки, и все пошли в город при радостном пеньи птиц, которых голос походил на женский дискант.

— Ну, вот, сударь, ваше благородие, — сказал Усачев, — надо мной, бывало, посмеиваются ваши гости, когда я им, по вашему приказанию, рассказывал о ведьмах да оборотнях, которые бегают и летают по Малороссии, как зайцы и вороны. А это что! Те же оборотни, а может быть, еще и похуже. Люди — не то медведи, не то обезьяны — сущие черти; птицы — с бабьей рожицей — просто ведьмы! А что еще впереди! Попались мы! Ну, уж этот немец, что посоветовал вам лететь... попадись он мне теперь!

— Не унывай, Усачев! — отвечал Митрофан. — Люди хоть и похожи на медведей, да ласковее, чем мои петербургские кредиторы. А птиц чего бояться! Щебетуны, как наши бабы, — и только!

— Я не унываю, ваше благородие, да уж обманывать ни вас, ни себя не хочу... Вряд ли нам выйти живыми отсюда!

Между тем толпа сошла с горы, с такою же процессиею вошла в город и остановилась на площади. Здесь было множество лошадей, мулов, ослов, быков, коров с птичьими головами и собак с головами лошадиными. Несколько животных приблизились к людям, то есть лунатикам, и стали разговаривать с ними, по-видимому, расспрашивать о пришлецах. Усачев трижды перекрестился, а Митрофан почти остолбенел от удивления.

— Неужели у вас скоты говорят? — спросил он у старшины.

— Разумеется!.. Это слуги наши, и что б было и с ними, и с нами, если б мы не понимали друг друга! — возразил старшина.

на. — А у вас неужели скоты не говорят? — спросил в свою очередь старшина.

— Если слово «скот» взять в обширном значении или в переносном смысле, то у нас скоты не только говорят, но даже пишут. Что же касается до четвероногих, то они, по мнению наших ученых, не имеют разума и лишены дара слова.

— Этим заключением ваши ученые не представляют ясного доказательства своего великого разума, — возразил старшина. — В живой природе нет ни бесчувственности, ни слепоты, ни глухоты, ни немоты, ни бессмыслия. Все, что только живет и движется, — ощущает, мыслит, понимает и объясняется условными знаками... Но теперь не пора говорить о философии. Не угодно ли пожаловать со мною к начальнику города...

Старшина повел Митрофана и Усачева в огромное здание, находившееся тут же на площади. Войдя в дом, Митрофан оглядывался на все стороны. Везде столы, стулья, кресла, диваны, зеркала, обои, ковры — только из неизвестного материала и другой формы. «Видно, здесь, на Луне, та же жизнь, — подумал Митрофан, — только в другом виде...» Их позвали в кабинет.

В огромных креслах, наподобие ящика, сидел старый и седой полумедведь-полуобезьяна, то есть лунатик, как называют себя жители Луны. На старце был особого рода передник из ткани, которая блестела не как золото, но как солнце, так что слепила зрение. На шее у него было ожерелье из бубенчиков и на плечах куски узорчатых тканей. Старшина, который ввел земных пришлецов в кабинет градоначальника, перекувырнулся перед ним, как у нас кувыркаются ученые медведи за кусок хлеба, а Митрофан, видя это, низко поклонился. Градоначальник долго рассматривал пришлецов, велел им повернуться во все стороны, улыбался, качал головою и наконец сказал:

— Странные создания! Не то лунатик, не то птица... Защиты в мешке!.. Откуда вы? Неужели правда, что вы залетели сюда с планеты Земли?

— Точно так! — отвечал Митрофан и рассказал все, как было, скрыв, однако ж, что он улетел с Земли от долгов.

— Какая же была цель вашего воздушного странствия? — спросил градоначальник.

Митрофан не знал, что отвечать, взглянул на Усачева, который не выпускал из рук кипы бумаг, принадлежащих Цитатенфресссеру, — и вдруг благая мысль блеснула в его голове. «Меня здесь не поймут и не разгадают, — подумал Митрофан, — дайка, по примеру захожих к нам, в Россию, иностранцев, скажусь... ученым!..» Между тем как Митрофан раздумывал и не решался на ответ, градоначальник повторил вопрос.

— Я отправился странствовать с ученой целью, — отвечал Митрофан бодро.

— Так вы... из ученых?

— Так точно!..

— А по какой части? — спросил градоначальник.

Митрофан опять стал в тупик. Но русский человек хоть и неучен, да смышен и умеет подать товар лицом! Митрофан смекнул, что на Луне точно так же не знают Землю, как у нас не знают Луну, — и так, приосанясь, отвечал:

— По части землеведения, то есть всего, что принадлежит Земле

— Обширная наука! — примолвил градоначальник, покачав головою. — Это что-то вроде энциклопедии... А много ли наук входят в состав землеведения?

«Попался!» — подумал Митрофан. Но, призвав снова на помощь русскую смышеность, он с большею еще смелостью отвечал:

— Объяснить подробно я не могу, но вот образчики моих знаний! — и при этом он указал на кипу бумаг, принадлежащих Цитатенфресссеру.

— Хорошо, мы это исследуем, — сказал градоначальник, — а между тем, для собственной вашей безопасности и для соблюдения законных форм, вы должны пробыть, не то, чтоб под арестом... а так, под стражею, некоторое время, пока я получу предписание из столицы, от высшего начальства, как я должен поступить с вами. Впрочем, не опасайтесь ничего! Дурного с вами быть не может, потому что вы ничего дурного не сделали! Это только формы... а они всегда стеснительны несколько.. Но кто же таков ваш товарищ, который не понимает общепотребительного языка и двигает ваш багаж и оружие?

— Это старый воин, который хотя и не служит у меня, но услуживает за добро, которое я имел случай ему сделать... Весьма честный и храбрый человек.

— Давай лапу, старик! Я сам старый воин, — сказал градоначальник, обращаясь к Усачеву, который, протянув руку громко сказал:

— Здравия желаем, ваше благородие!
— Это ваш язык! — воскликнул градоначальник. — Звуки довольно приятны! Между тем вам, верно, нужен отдых. Вот этот старшина приставлен мною к вам, чтоб ухаживать за вами и удовлетворять все ваши потребности. Оружие и все ваши вещи оставьте здесь!.. Что это за сосуды? — спросил градоначальник указывая на бутылки с вином.

— Это вино, напиток, извлекаемый из винограда.
— Хмельной?
— Да-с!
— Так и на Земле пьют хмельное!
— Да с большим удовольствием!
— По несчастью — и у нас тоже! — примолвил градоначальник. — А это что? — спросил он, указывая на кусок жареного
— Это жареное мясо...
— Как! Вы питаетесь мясом? — сказал с удивлением градоначальник.
— Мы едим все — и плоды, и растения, и рыбу, и даже черепахожных... но преимущественно любим мясо домашнего скота, зверей и птиц, — отвечал Митрофан.

Градоначальник сильно поморщился.
— Вы едите мясо! Бррр! Да ведь и вы сами созданы из костей и мяса!
— У нас есть дикие люди, которые питаются даже человеческим мясом! — сказал Митрофан.
— Ужасно! Далеко вы поотстали от нас, лунатиков, господа земляне! — примолвил градоначальник. — И я вижу, что за вами должно крепко присматривать! Пожалуй, чего доброго вы готовы скушать любимого сына кормилицы детей моих, коровы!.. До свидания! Извольте идти!

Митрофан поклонился, старшина-лунатик снова перекувырнулся кубарем перед своим начальником, а Усачев, который ничего не понимал, поставил ружье свое в угол, по приказанию Митрофана, сложил все вещи и, обратясь к градоначальнику сказал громко:

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — и последовал за Митрофаном.

Старшина провел наших странников по галерее огромного здания, занимаемого градоначальником, и ввел в отделение, назначенное для их жилища. У дверей стояли два огромные лунатика с бердышами. Это были воины. Комнаты были прекрасно убраны. Кругом стояли покойные креслы в виде ящиков или гнезд, кушетки, столы, на стенах висели зеркала удивительной чистоты. В другой комнате был накрыт стол, и старшина вежливо просил странников подкрепить силы. Усачев никак не хотел сесть за один стол с барином, но Митрофан приказал ему, и он должен был повиноваться. Когда гости уселись, старшина захлопал в ладоши, и из буфета выбежло несколько собак с лошадиною головою (как сказано выше), держа в зубах корзинки с кушаньем. Старшина объяснил, что каждый собеседник обязан взять корзинку и поставить на стол, что и было сделано. Старшина шепнул что-то одной старой собаке, и она отвечала ему странным лаем, на разные тоны, похожим на связную речь. Земные странники удивлялись и боялись даже расспрашивать!

Старшина просил отведать кушанья. Различные блюда приготовлены были из муки, неизвестных плодов и растений. Некоторые кушанья показались Митрофанду чрезвычайно вкусными, но Усачев тяжело вздохнул, не видя ни хлеба, ни мяса.

— Все это походит что-то на аптечное, ваше благородие! — сказал Усачев. — Душисто, сладко, пресно, а все несдобно! То ли дело, когда б миску щей со свининкой, ломть ржанухи да порядочную красоулю мадеры, что пьют grenадеры, сиречь сивушки всероссийской!

Митрофан не мог удержаться от смеха.

— Верно, вашему воину не нравится наше кушанье? — спросил старшина.

— Да, мы привыкли к мясу, к рыбе, а старик любит выпить чарочку...

— Мяса и рыбы здесь вы не достанете, — сказал старшина, — а чарочек сколько угодно. — Он сказал что-то старой собаке, и все собаки понеслись в галоп из комнаты и через несколько минут возвратились, неся в зубах корзинки, в которых были

металлические сосуды. Старшина спросил: — Чего хочет воин, крепкого или приятного?

— Лучше что покрепче!

Старшина налил стакан какой-то жидкости, поднес Усачеву, который, прихлебнув, выпил душком, крякнул и, поставив стакан, весело сказал:

— Покорно благодарим, ваше благородие! Славная водка.. не то немецкий шнапс, не то французская лагуте, которую мы пивали в Париже, — а хороша, больно жжется!

— Так и у вас есть водка? — сказал Митрофан.

— Можно ли чтоб умное животное не извлекло спирта из всего, что только дает спирт! — возразил старшина. — Ведь это первый признак просвещения!

«Почти то же, что и у нас, — подумал Митрофан, — вся наша химия ограничивается... винокурением!»

— Но не угодно ли напитка, извлекаемого нами из плодов? — примолвил лунатик и налил в кубок жидкости превосходного розового цвета. Митрофан, который перепробовал на Земле все лучшие вина, сознался, что ничего лучшего не пивал. Напиток похож был вкусом на лучшее шампанское, но в миллион раз приятнее. Митрофан почувствовал благодетельное действие животворного напитка, сделался смелее и стал расспрашивывать старшину о предметах, которые казались ему непостижимыми.

— Почему у вас за столом нет служителей из одной с вами породы?.. У нас на Земле есть особое сословие лакеев, буфетчиков, тафельдекерей, камердинеров, кучеров, форейторов, берейторов, всего и вспомнить нельзя, так что иногда один человек имеет у себя сто, двести, триста и более служителей.

— Которых он должен кормить, поить и одевать — не правда ли? — спросил старшина.

— И платить еще деньги, — сказал Митрофан. — Правда, и у нас на Земле приучают собак носить корзинку или другую поясную, но это только для забавы, а у вас собаки в самом деле служат...

— Лет тысячи за две пред сим, гласит предание, и у нас было то, что вы рассказываете о Земле, — сказал старшина, — но наконец мы усовершенствовали дело и предоставляем лунати-

кам, или, по-вашему, людям, те только занятия, где без них нельзя обойтись. Лунатики, или, по-вашему, люди, занимаются у нас произращением плодов, фабриками, мануфактурами, искусствами, ремеслами и художествами, употребляя для черной работы домашних животных, которых наши предки сперва сделали ручными, потом развили в них понятия, а наконец научили разуметь наш язык и объясняться с нами по-своему. Конечно, язык животных чрезвычайно ограничен, но он имеет, однако ж, столько звуков, что животные могут объяснить главное, что им и нам необходимо. И то правда, что язык их не очень приятен для непривычного слуха, но разве не тоже бывает почти со всеми чуждыми и невозделанными языками, которых мы не понимаем!

— Совершенная правда! — сказал Митрофан. — Помню, какое на меня произвел впечатление чухонский язык... Однако ж, позвольте вам заметить... все-таки нельзя же обойтись в доме без слуги.

— У нас и есть они для такой работы, которой не могут выполнить животные. Но, по большей части, у нас женщины исправляют домашнюю службу, а мужчинам предоставляется только то, что требует силы или особенной науки. Вот, например, плоды эти, которые вы кушали и из которых пили сок, произрашены мужчинами, а сохраняют эти плоды, продают и изготавливают женщины. Мужчины строят дома, делают мебель, а женщины сохраняют в домах чистоту и порядок. Женщины изготавливают все украшения для себя и для нас; и таким образом у нас нет недостатка в работниках. Мы ни в чем не нуждаемся, и планета наша возделана везде превосходно.

— Прекрасно! А я как вспомню, что у нас иной парень, сильный как бык, целый день таскается по городу с несколькими дюжинами яблок, с несколькими горшками цветов вместо того, чтоб пахать пашню или работать топором, — так, право, вижу, что вы умнее нас!.. У нас люди толпятся в городах, чтоб как-нибудь пожить на чужой счет... кто торговлей, кто переторжкой, кто спекуляциями — а обширные пространства земли лежат невозделанные! На фабрику и калачом не заманишь!..

Ужин кончился, и старшина, пожелав покойного сна странникам, вышел из комнат, назначенных для их помещения

Лишь только вышел старшина, явились два новые существа. Они складом хотя и походили несколько на лунатиков, но сходством более приближались к обезьянам, но самой красивой породы. Вообще они были ниже и нежнее лунатиков. Эти новые существа имели на голове цветочные венки, на плечах легкий плащик из пестрой ткани и красивый передник. Вошед в двери, они сделали несколько ловких балетных прыжков и книксенов и начали убирать со стола, укладывая в корзины посуду и отдавая собакам. Митрофан догадался, что это должны быть самки лунатиков, или, говоря земным языком, женщины.

Одна из них принесла лампу, поставила на стол и привела в движение какой-то механизм, посредством которого все окна закрылись ставнями, скрытыми в стене. Наконец, распрошавшись знаками с нашими странниками, женщины вышли.

— Ну что, Усачев, каковы тебе кажутся здешние красавицы? — спросил Митрофан.

— Такие же лешие, как и их мужчины, только почище рыльцем, а уж какие проворные... под стать любой немецкой кухарке!

— А заметил ли ты, Усачев, часовых у наших дверей? Попадись этакому черту в лапы — изомнет, как лыко.

— Ведь штука-то не в росте да не в силе, ваше благородие! Вот как мы ходили под турку, так уж каких дюжих парней выставил против нас бусурман — а что взяли! Бывало, как закричат: «Алла, алла!» — да бросятся вперед, словно лес двинулся, а мы-только: «Стой, равняйся!» Штык вперед, да и в ус себе не дуем! Бусурман покричит, повернется — а на штык идти нет охоты, так и наутек! Мы тут-то и насядем, да давай погонять.

— Но ведь мы здесь одни! — сказал Митрофан, повеся голову.

— Вот в том-то и беда! Будь здесь наша дивизия... да что.. будь здесь один наш полк с нашим бравым полковником... царство ему небесное... так мы всю эту сторону забрали бы на царя!.. А теперь воля Божья! Отдохните-ка, ваше благородие! Утро вечера мудренее.

На другой день женщины принесли завтрак, состоявший из нескольких молочных блюд, и отперли ставни; назначенный приставом к земным странникам немедленно явился и просил

их одеваться и ехать вправление для публичного допроса. Они поехали в закрытом экипаже в другое здание, провожаемые толпою вооруженных лунатиков, среди бесчисленного народа, толпившегося на улицах.

У входа также стояли толпы, особенно множество женщин, которые с любопытством смотрели на земных жителей, имевших голову лунных птиц. Вообразите себе, как бы мы дивились на Земле, если каким-нибудь физическим переворотом к нам занесены были жители другой планеты с головою земных птиц и телом, обросшим медвежьею шерстью! Везде, где есть мысль и рассудок, там, для противоположности, есть бессмыслие, безрассудность и чада их — предрассудки. Внезапное появление жителей Земли в Луне иные из лунатиков почитали счастливым, другие несчастным предзнаменованием, точно так же, как у нас в Европе в средние века рождение урода почиталось знамением, угрожающим бедствиями, и навлекало на несчастных родителей мщение невежд и суеверов. Большая часть лунатиков не верили даже, что это жители Земли, а почитали наших странников или злыми духами, или чародеями и поговаривали о том, как бы известить их. Эти толки заставили градоправителя принять меры осторожности и после допроса пришлецов обнародовать все, до них касающееся.

За огромным столом сидело около пятидесяти лунатиков, обвешанных пестрыми лоскутками тканей и металлическими игрушками отличной отделки. Эти лоскутки, игрушки и погремушки заменяли место одежды и знаков достоинства, как пуговицы, кисти и перья у китайских мандаринов. Собрание состояло из высших чиновников и первых ученых города. Митрофану и Усачеву подали кресла и велели сесть возле секретаря, перед которым лежали черные листы, нечто вроде бумаги, и стояла стеклянка с белыми чернилами, то есть напротив, как у нас. У нас приказные пишут черно по белому, а в Луне было по черному.

Градоправитель, тот самый почтенный старец, к которому наши странники являлись накануне, успокоил их насчет их безопасности, обнадежил, что правительство будет пещись об них, и примолвил, что они должны отвечать искренно на все

вопросы, для извещения высшего правительства об этом необыкновенном и важном событии, а притом и для уничтожения глупых народных толков.

Вопросы предложили первый астроном и первый философ высшей школы, или, по-нашему, академии.

Астроном. Итак, вы с той планеты, которая ближе других к нам и которую вы называете Землею, а мы — ночным солнцем, и которая в тринацать с половиной раз более нашей планеты?

Митрофан. Точно так! Мы жители Земли.

Философ. Что Земля обитаема — это было только философическое предположение, основанное на теории вероятностей и аналогии. Многие из наших ученых, однако же, не верят тому и доказывают невозможность этого предположения тем, что Земля окружена густою атмосферою, стесняющею испарения планеты и затрудняющею действие электричества.

Митрофан (*вспомнил все, что слышал о Луне от приятелей своих Резкина и Цитатенфressера, и, собравшись с духом, отвечал*). Точно так же и у нас, на Земле, не верят, чтоб Луна была обитаема, утверждая, что как на Луне нет вовсе атмосферы, то воздух так жидок, что в нем дышать нельзя, и что на Луне нет воды. Простой же народ верит, что Луна создана только для того, чтоб освещать наши ночи.

Все присутствовавшие улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Астроном. Итак, вы видите нашу планету по ночам освещенную?

Митрофан. Да, в виде шарообразного фонаря, в виде полушиара и рога...

Астроном. Точно так, как мы видели вашу Землю. А как длинны ваши ночи?

Митрофан. Сутки разделяются у нас, по-книжному, на 24 часа, и одна половина суток называется днем, а другая ночью, хотя в иных странах, например, в той, из которой я залетел в Луну, летом совсем почти не бывает ночи, а зимою едва несколько часов в сутки светло, и хотя день и ночь не бывают никогда равны, как пишут в книгах... Но мы верим писаному, чтоб не спорить понапрасну.

Астроном. А здесь... у нас на Луне, день состоит из четырнадцати, а ночь из тринацати с половиной суток, и вы прибыли к

нам именно в первые сутки после ночи, следовательно, две-надцать дней не увидите с Луны вашей родины.

Митрофан. А что пользы, хотя и увижу, когда нельзя воротиться! И у нас много хорошего на показ, да то беда, что глаз видит, да зуб неймет!

Философ. Все ли жители Земли похожи друг на друга?

Митрофан. Все люди похожи друг на друга складом, но различаются между собою очерком лица и цветом кожи. Мы принадлежим к лучшей породе людей, то есть к белой; но у нас есть люди чернокожие, оливковые, медного цвета...

Философ. И у нас тоже! И у нас разношерстные лунатики! Мы принадлежим к лучшей породе — к бурой; но у нас есть белошерстные, черные, красные и даже пегие... А процветает ли у вас просвещение?

Митрофан. Чрезвычайно! У нас только и толков, что о просвещении. Вот, например, меня — так насилио просветили, хотя мать моя и дядя, из знаменитого рода Скотининых, вовсе того не желали...

Философ. В чем же состоит ваше земное просвещение?

Митрофан стал в тупик и не знал, что отвечать; наконец, собравшись с духом, сказал:

— На это я не могу отвечать одним разом. Каждый понимает просвещение *по-своему...*

Философ. Но кого же у вас общее мнение признает просвещенным?

Митрофан снова смущился. От роду не слыхивал он об общем мнении и не знал, что это такое. Но как надлежало отвечать, то он сказал наотрез:

— Общего мнения я не знаю — у нас его нет вовсе.

Градоначальник. Как нет общего мнения? Это что-то непонятное! Ведь у вас есть мысли, есть дар слова?

Митрофан молчал.

Философ, думая, что он непонятно выразился, сказал:

— Вот, например, если вы почитаете меня умным лунатиком, то это ваше мнение, а если меня почитает таковым целый город, целая страна, то это общее мнение.

Митрофан. А какое дело до вас целому городу и целой стране? Тот пусть беспокоится о вас, кто имеет с вами дело, напри-

мер, наследники вашего имения, кредиторы, игроки, с которыми вы играете в карты, приятели, которые у вас обедают... а чужим людям что за нужда, кто вы и что вы.

Философ. Однако ж, кого же у вас почитают просвещенным в круге людей порядочных, достаточных, словом, людей, которые по своему положению выше других в свете, в обществе?

Митрофан. Кто хорошо и по моде одевается, ловок в обращении, знает чужой язык, то есть язык не отечественный, умеет танцевать, играть в карты... этого и довольно!

Философ. Но какие же науки должен знать этот просвещенный человек?

Митрофан. Науки!.. Да зачем ему науки! Науки для ученых, для учителей...

Философ. Помилуйте. Да ведь ученые и учителя должны же обучать или научать кого-нибудь.

Митрофан. Это другое дело! Они точно и обучают и научают нас в школах... Но ведь науки нужны только для экзамена, а когда вышел из школы, то забываешь все, чему учился, потому что это вовсе не нужно, кроме того, что я прежде сказал и без чего нельзя обойтись в обществе.

Все члены собрания с удивлением посматривали друг на друга.

Философ. А ученых у вас много?

Митрофан. Считать их не считал, а слыхал, что вакансий никогда не бывает на тех местах, на которых ученость доставляет хороший доход.

Кажется, что собрание не весьма довольно было ответами Митрофана. Члены правления начали разговаривать между собою на своем языке и, спорив, как обыкновенно водится, опять обратились к делу.

Градоначальник. А есть ли у вас правосудие?

Митрофан. Вот уж этого так вдоволь! Во всяком городе по несколько судов, в больших городах — по несколько десятков, а в столицах — и счету нет! Уж не знаю, кого они судят, что судят и как судят, а известно мне, что судят и пишут с утра до ночи, а иногда и ночи напролет.

Градоначальник. Но справедливо ли судят?

Митрофан. Право, не могу наверное сказать, потому что сам, слава Богу, не судился, а знаю, что есть у нас пословица: не

боится суда, а бойся сульи, и сам слыхал, как поют на театре, в одной комедии:

Везде законы святы,

Есть исполнители — лихие супостаты!

Философ (*на ухо своему соседу*). Точнехонько, как у нас!

Писатель. А есть ли у вас литераторы?

Митрофан. У нас есть различные звания и ремесла, а для людей благородных — чины и места; но звания литератора у нас нет, и я не слыхивал, чтоб кто-нибудь подписывался на деловой бумаге или на визитной карточке *Литератором*.

Писатель. Но ведь у вас есть книги, есть люди, которые их пишут, и есть люди, которые их любят читать!

Митрофан. Книжных лавок, особенно в последнее время, развелось бездна в столицах; но, сколько я заметил, посетителей в книжных лавках бывает в миллион раз менее, нежели в трактирах, кондитерских и винных погребах, и я никогда не видывал, чтоб в обществах читали книгу, вместо того чтоб, как везде водится, играть в карты. Что есть у нас множество книг, то я наверное знаю, а кто их пишет и кто читает, не знаю!

Писатель. Вы, например, разве не читаете книг?

Тут Митрофан вспомнил, что он назывался ученым перед градоправителем, и, по некоторому молчанию, отвечал:

— Я читаю, потому что я из ученых, а ученые обязаны читать книги по своей части.

Писатель. Я говорю о литературе вообще, о изящной словесности, о поэзии...

Митрофан весьма был рад, что мог вывернуться из этих сетей, в которых он запутался бы, если бы стал отвечать. Он сказал наотрез:

— Это не по моей части; не знаю!

Писатель. Но человек просвещенный, образованный, а тем более человек ученый должен все знать, что делается в области ума, вкуса, изящества...

Митрофан. У нас каждый обязан заниматься своею частью! Клянусь вам честью, что у меня есть родственники, весьма важные люди, которые гордятся тем, что ничего не читают; хвалят этим и утверждают, что ничего не знают и знать не хотят, что делается в литературе и науках, говоря, что это не по их части. Эти всенап-

родные признания доставляют им репутацию деловых и порядочных людей. Скажи у нас, например, судья, что он читает романы, — да его в грош не будут ставить, хотя бы он был лучший судья из всех судей! Извините, уж так у нас ведется!

Писатель. Однако ж, ведь у вас есть и романы и стихи?

Митрофан. Конечно, есть — только, как я слыхал от весьма умных людей, хорошего мало!

Писатель. Хоть мало — да все же ведь есть и хорошее! Так из чего же писать, когда никто не читает!..

Митрофан. Я слыхал, что пишут для того, чтобы кормить книгопродавцев, которые, без сомнения, находят средство сбывать эти книги с рук... Но как я жил в порядочном обществе, между людьми богатыми и просвещенными, то и не видывал, чтоб кто-нибудь читал или покупал книги на отечественном нашем языке. Если у кого есть шкаф с книгами, то не иначе как с книгами на чужих языках... Это мода или, если угодно, обычай...

Писатель. Следовательно, в другой стране существует мода или обычай покупать книги на вашем языке!

Митрофан. В этом прошу извинить! Хотя наш язык признан всеми, даже неприязненными нам чужеземцами, языком звучным, гибким и богатым, но нашему языку нигде не обучают, потому что мы обучаемся всем почти чужеземным, не только живым, но и мертвым языкам, следовательно, гораздо прибыльнее иностранцам продавать нам свои книги, нежели покупать наши.

Писатель. Воля ваша, все это так странно, не смею сказать нелепо, что я ничего не понимаю! И мы учимся чужим языкам, но свой отечественный язык ставим выше всего и с чужеземцами меняемся только мыслями и чувствами, то есть книгами! Они читают наши сочинения, а мы — их книги, — и квит!

Митрофан (*пожимая плечами*). Не моя вина, что у нас не так ведется!

Градоначальник. Вы одеты в какие-то грубые ткани... Следовательно, у вас есть фабрики, мануфактуры, промышленность, торговля!

Митрофан. Извините, ткань на мне не грубая, а лучшее французское сукно, взятое в долг, за тройную цену. Что же касается

до фабрик, то у нас такая их бездна, что фабрикуют все, что ни вздумаете... Торговля — везде... а промышленников столько, что и деваться от них некуда! Меня недавно поймали промышленники и обыграли дочиста в преферанс!.. Позвольте спросить, играют ли у вас в преферанс?

Присутствующие посмотрели друг на друга, пошептались, и градоначальник попросил Митрофана, чтобы он объяснил свой вопрос. Митрофан тут попал, как говорится, в свои сани! Он объяснил им, что такое карты, что такое банк, штос, вист, преферанс, пикет, палки, и привел в изумление лунатиков. Они едва могли постигнуть, хотя Митрофан в этом деле был красноречив, как Цицерон. Наконец, один из ученых лунатиков догадался, что карточная игра есть почти то же, что заклады или пари, и растолковал своим товарищам.

Градоначальник. Теперь понимаю!.. У нас также можно промотать свое имущество на заклады, как у вас на карты; но преимущество останется всегда на нашей стороне, потому что мы, по крайней мере, не теряем драгоценного времени на игру.

Митрофан. А у нас именно для того играют в карты, чтоб сократить время. У нас все искусство жизни состоит в том, чтоб как можно скорее убить время, сделать незаметным его течение. Для этого выдуманы не только все забавы, но даже и важные занятия! Мы в вечной войне со временем. Это первый наш враг!

Градоначальник. Но ведь время составляет жизнь, следовательно, убивая время, вы убиваете свою жизнь, потому что жить и ничего не делать то же, что не жить!

Митрофан. Как ничего не делать! Мы при картах едим, пьем, сплетничаем, обманываем друг друга — а дело делается, деньги переходят из рук в руки, люди знакомятся, один другого выводит в гору.. тот сталкивается с места приятеля — и все идет своим чередом, и за картами даже лучше и успешнее, чем в иной канцелярской службе! Если у вас есть бумажная фабрика, прикажите сделать карты — у меня есть несколько колод — для образца, потому что я, как настоящий помешик, никогда не выезжаю в дорогу без карт! Я научу вас играть, и вы увидите, как вам это понравится! Хмельное у вас есть — как же можно, чтоб

карт не было! Это почти непостижимо! Где же ваше просвещение, господа!

Градоначальник. Много благодарны! Обойдемся без ваших карт — у нас довольно и собственных глупостей!

Митрофан. Воля ваша, а карты не глупость... У нас играют в карты самые умные люди, вельможи и профессоры, и к игрокам ездят в дом такие тузы, которые почли бы унижением своего достоинства ездить к ученому или артисту.

Градоначальник. Довольно об этом! Скажите, в каком отношении у вас мужчины к женщинам?..

Митрофан (*про себя: «Это что-то мудреное»*). Нельзя ли выразиться попроще?

Градоначальник. Как у вас мужчины обходятся с женщинами?

Митрофан. За хорошенъкими волочатся, на богатых женятся, а за знатными ухаживают, чтоб иметь покровительство.

Градоначальник. Следовательно, у вас женщины пользуются большими правами, когда могут покровительствовать?

Митрофан. Насчет прав не могу ничего сказать, а знаю только, что они не имеют чинов, не занимают никаких служебных мест, и когда у нас ведется счет народа на души, то женщины не включают в счет людей или душ. Один из ученых моих приятелей, по имени Резкин, сказывал мне: женские души потому не идут в счет, что женщины владеют душою мужчины, добрая женщина — в виде ангела, а злая баба — в виде черта! Вот почему женщины и могут у нас покровительствовать, когда у какой-нибудь из них во власти душа сильного человека!

Один из присутствующих (вполголоса). Это почти то же, что и у нас!

Градоначальник. Вы сказывали, что у вас есть города... вы живете в городах?

Митрофан. Города у нас, как острова на море, — и мы ищем в море добычи, чтоб пользоваться ею на берегу, то есть получаем доход из деревень, чтоб проживать в городах. Те же, которые не имеют своих деревень, живут на счет тех, которые имеют деревни, вымыслия разные разности, разные нужды, потребности и спекуляции. Словом, это круговая порука!..

Градоначальник (*обратясь к своим*). Господа! Видно, что не все то лучше, что велико. Земля больше нашей Луны, а обитаема мясоедами, в которых, кажется... мало толку! Из ответов этого земного ученого... многое не узнаешь. Надобно будет его сперва переучить по-нашему, а потом уже расспрашивать... Кажется, однако ж, что эти существа не злые. Но как они питаются мясом и, как я мог заметить из ответов... падки на чужую собственность, то им нельзя дать полной воли, а должно крепко присматривать за ними, чтобы они не съели кого-нибудь из нас или из слуг наших, животных. Вы, секретарь, составьте немедленно донесение из ответов землянина и прикажите явиться ко мне двум самым быстрым орлам, чтобы доставить как можно скорее депешу в столицу. Для народа должно тотчас же составить объявление, объяснить дело и успокоить легковерных, доставив таким образом безопасность бедным землянам. Это напишете вы, господин словесник! А вы, господа (*обращаясь к Митрофану и Усачеву*), можете удалиться. При вас всегда будет дежурный чиновник и часовые, до дальнейших приказаний; но, впрочем, вам позволено прогуливаться и видеться с кем угодно: то есть вы не под стражею, а имеете при себе охранительный караул.

— Почтенные господа, — сказал Митрофан, поклонившись собранию, — я очень благодарен за все милости и вежливости, какие вы мне оказываете в моем несчастном положении, а из благодарности к вам советую не забывать, что я говорил вам насчет карт... Угодно, я сей час отдам одну колоду, на образец... (*Митрофан вынул колоду карт из-за пазухи*.) Уверяю вас, что, когда испытаете приятность игры, — не отстанете...

Один из ученых взял из любопытства карты от Митрофана, а другой вышел на башню здания и в рупор объявил народу, что пришельцы не звери, не чудовища, не черти и не колдуны, но жители Земли, занесенные на Луну ветром, существа добрые и смиренные, которым, для чести Луны, должно оказывать ласку и покровительство. Когда же наши странники вышли на крыльце — лунатики прокричали им «ура» и с честью проводили до дому градоначальника.

На другой день, после завтрака, пристав ввел к Митрофану лунатика, сказав, что это журналист, который желает с ним познакомиться.

Митрофан, как большая часть людей, не принадлежащих к ученому званию и литературе, не имел никакого понятия об издании журналов, о книгопечатании и вообще о книжном деле. Слова: сочинитель, философ, ученый — Митрофан почитал почти насмешкою и эпиграммой, как обыкновенно у нас ведется. Он в газетах читал одни объявления и думал, что газету работают какие-то ремесленники. Журналиста он сроду не видывал и потому не знал, как обходиться со своим гостем. По счастью, пристав, представляя журналиста, сказал Митрофану, что гость его известный писатель и издал уже много книг. Тут Митрофан понял дело.

Митрофан, рассматривая своего гостя, заметил, что хотя он был одного склада с прочими лунатиками, но с головы был более похож на льва, нежели на медведя и обезьяну, и что шерсть на нем была гораздо светлее. Когда пристав удалился, журналист сказал Митрофану:

— Я пришел к вам с предложением моих услуг. Хотя начальство и обнародовало, что вы не волшебники, не лютые звери и не злые духи, но все-таки будет лучше, если журналы поговорят в вашу пользу и поставят вас в хорошем виде пред народом. Предрассудки трудно рассеять иначе, как силою убеждения: приказанием нельзя заставить верить или не верить! По вашим рассказам я буду говорить с моими читателями о Земле, о земной жизни, и наш народ наконец, убедится, что вы такие же созданья... как и мы... одаренные разумом!..

Митрофан взглянул невольно в зеркало, потом на лунатика и почти обиделся тем, что он, сравнивая его с мохнатыми жителями Луны, думал оказать ему почесть.

— Да мне какая нужда до того, что обо мне думает народ, — сказал Митрофан, — лишь бы начальство не делало мне зла и покровительствовало меня!

— Но ведь высшее начальство имеет подчиненных, а эти подчиненные — низших исполнителей закона и приказаний; а в низшем разряде могут быть такие же невежды, как и в простом народе — и вы можете подвергнуться обидам и оскорблениям. Между исполнителями есть даже много животных, любимцев своих господ! Высшее же начальство не может беспрестанно охранять вас — итак, пока до него дойдет

весь о неприятном вашем положении, вы можете жестоко пострадать...

— Правда, и у нас есть пословица: *пока солнышко взойдет, роса глаза выест*. Но я не постигаю, — примолвил с досадою Митрофан, — как могут быть такие глупцы, чтоб почитать меня зверем или злым духом, когда я разговариваю с вами и, как вы видите, одарен разумом... хоть и немудреным, но все же разумом человеческим.

— Да ведь у нас и животные пользуются даром слова, следовательно, это не оправдание; а в злых духов у нас так же верят, как и в добрых...

— По словам ваших мудрецов, я думал, что здесь нет вовсе дураков и что все здесь так же превосходно, как тот напиток — вино, которым мой пристав потчевал меня вчера за ужином.

— Если б не было глупости, то не было бы и мудрости; так точно, если б не было мрака, то мы бы не имели надлежащего понятия о свете. Без глупости не могло бы существовать ни одно общество. Глупость в свете так же нужна, как гиря на весах, для определения цены товара, то есть ума.

— А разве ум у вас высоко ценится? — спросил Митрофан.

— Я думаю, как и везде: это драгоценнейшая часть души.

— Впервые слышу! — сказал Митрофан. — Сколько я могу судить, так мне кажется, что гораздо лучше деньги и связи!

— Да ведь деньгам не сотворишь ни хорошей книги, ни хорошего закона для блага ближних, а связями не приобретешь ума для выполнения тех обязанностей, которые на вас возложат старшие.

— Какая нужда! Да связями удержишься на месте, а за деньги найдешь столько ученых помощников, сколько сам захочешь!

— Положим, так, — возразил журналист, — все, однако ж, и с деньгами и со связями ничтожное существо будет ничтожным, и чем вы его поставите выше, тем ничтожество его будет виднее.

— Однако ж никто не посмеет сказать этого в глаза — а там думай себе, что хочешь!

— Вы рассуждаете по-своему, а у нас другое, и я хочу помочь из сострадания, потому что я сам здесь иностранец и много

герпел и терплю от чужой глупости, следовательно, знаю по опыту, как нужна защита бедному иностранцу, особенно из другой породы.

— Я не прочь и даже очень благодарен вам за ласковое предложение, — сказал Митрофан. — И в самом деле, я с первого взгляда заметил в вас что-то отличное от здешних жителей. Откуда же вы родом, если смею спросить?

— Из другой планеты, — отвечал журналист.

— Итак, у вас есть сообщение между планетами? Нельзя ли учредить почту между Землею и Луной?.. Это было бы превосходно! Мы стали бы торговать, играть в карты и после, может быть, завели бы войну... потом мировая... пир на весь мир!.. Как же вы летаете в другие планеты?

— Мы никуда не летаем и не имеем никакого сообщения с другими планетами, а дело вот в чем: наша планета была в соседстве с Луной. Хотя наша планета была весьма мала в сравнении с Луной, но плодородна, а предки наши жили на ней весело и в довольстве. Но, по несчастью, свет так устроен, что существа, которые похваляются тем, что одарены разумом высшим, нежели все прочие твари, никогда не довольны своею участью. Предки наши вообразили, что им нехорошо жить в близком соседстве с Луной и что влияние ее для них не только бесполезно, но даже вредно. Чтоб отдалиться от Луны, мудрецы наши вздумали прокопать нашу планету насеквоздь, крестообразно, и из вынутой массы воздвигнуть на одном месте огромную гору, полагая, что когда уничтожат равновесие планеты, установленное самою природою, и когда ветер проникнет во внутренность планеты, то она сойдет с места и приблизится к Солнцу. Равновесие точно уничтожили наши мудрецы, но это произвело страшный переворот: вихрь проник во внутренность планеты, повернул, ее и бросило на Луну. Планета наша распалась на части и образовала высокие горы на Луне. Часть жителей нашей планеты погибла в этом перевороте, а часть осталась в живых, перелетев воздушное пространство на огромных обломках и упав вместе с ними на поверхность Луны.

Я был тогда младенцем и лишился не только родителей, но и всего нашего богатства. Меня здесь воспитали — я служил в

военной службе, отплатил кровью мою за мое воспитание, потом странствовал по всей Луне, был у различных пород лунатиков, искал везде счастья и познаний и уже попал было на путь к счастью; но обстоятельства переменились — и счастье выскоцинуло из рук. Я возвратился сюда, стал писать — пишу, живу кое-как и доживаю до старости. Высшее начальство ко мне если не крайне милостиво, то по крайней мере терпит меня, потому что оно справедливо и знает, что я никакого зла не делаю и злого не замышляю. Но как я люблю правду, указываю иногда, хоть намеком, на злоупотребления, смеюсь над глупостью, браню порок и притом промышляю себе трудом пишу, ни перед кем не кувыркаюсь, как это здесь в обычае, если вы заметили, — то разумеется, что все глупцы, все злоупотребители и вся сволочь, питающаяся чужим трудом и чужим умом, — заклятые мои враги... Но я их не боюсь и даже вас защищу от них.

— Вы мне рассказываете чудные дела! — сказал Митрофан. — Разбитая планета! Да этак, пожалуй, и Земля может разбиться.

— Но ведь вы не стараетесь нарушить ее равновесия, не прокапываете ее насквозь!

— До сих пор не слышно было об этом. Но я уверен, если сказать людям, что, прокопав землю насквозь, они найдут бездну самородного золота, то они готовы разбросать всю Землю голыми руками! Слава Богу, что глубоко-то копать у нас нельзя! Не менее удивительно мне и то, что вы говорите о здешней глупости, злости и злоупотреблениях... Право, страшно!

— А разве у вас на Земле нет ни злости, ни глупости ни зависти, ни злоупотреблений? — спросил журналист.

Митрофану хотелось похвастать и сказать, что у нас на Земле нет никакого зла, но он боялся попасть в лжецы, если Резкин, Бонвиван и Цитатенфрессер спаслись и причалили к Луне в другом месте; а чтоб не оставить без ответа журналиста и поддержать репутацию родимой Земли, Митрофан отвечал так, как у нас иногда составляются резолюции, то есть неопределенно.

— У нас не то, чтоб много было зла — этого не могу сказать, но чтоб все было в совершенстве — этого также не стану утверждать. У нас так... то есть, кое-как... середина на половине, как говорится попросту. Там зло — тут добро, в ином месте ни

то ни другое... Ох, эти злодейки деньги! Не будь денег... кажется, не было бы и зла. А у вас есть ли деньги?

— Разумеется! — и журналист вынул из мешка, который скрыт был под плащом, горсть золотых и серебряных шариков с клеймом. Деньги эти походили на наши пули.

Митрофан взял в руки эти пули, позвенел и с восторгом воскликнул:

— Прекрасные деньги! Только с ними неловко играть в карты — покатились бы по столу!

Тут он объяснил журналисту, что значат карты, и, вынув из кармана другую колоду, показал, как играют в банк, в вист, в палки и в преферанс. Журналист не хотел верить, когда Митрофан стал рассказывать, что карточная игра составляет на Земле любимое занятие даже весьма умных людей и что все порядочные люди должны уметь играть — из приличия...

Журналист гораздо удачнее расспрашивал Митрофана, нежели старшины и ученые, и выпытал весьма много любопытного насчет наших земных обычаяв и образа жизни. Митрофана понравился этот гость, и он просил журналиста навещать его почше, снабжать советами и познакомить с Луною, что журналист и обещал исполнить.

На третий день появилась в лунном журнале огромная статья о Земле и ее жителях и известие, впрочем, самое выгодное для Митрофана — о двух земных странниках, старице, то есть Усачеве, из простого звания, и молодом земном ученым — то есть Митрофане. Все прочие лунные журналы перепечатали статью, а иные, чтоб придать статье вид подлинности, пересказали дело другими словами и прикрасили, то есть прилгали своего — и через неделю Митрофан вошел в моду. Все хотели видеть его, говорить с ним, и он получил, в несколько дней, до тысячи приглашений к обеду, ужину, на бал и на вечер.

«Что это значит, — думал про себя Митрофан. — Уж не почитают ли меня здесь музыкантом, певцом или фокусником каким, что приглашают во все знатные дома, без всякой нужды, без связей и родства! У нас такую почесть оказывают только артистам. Не сыграл ли со мной шутки этот журналист? Или и здесь так же падки на иностранцев, как у нас, и водятся

с ними, не спрашивая, кто они и откуда — лишь бы имели хорошее произношение и умели льстить! Посмотрим!»

Митрофан попросил своего пристава, чтоб он составил ему список тех лиц, которых он должен посещать по очереди, и решился пуститься в большой свет.

Вечером пристав повез Митрофана в гости к одному из знатнейших лунатиков в городе. Ставни в доме были закрыты, и комнаты иллюминованы разноцветными огнями. Гостей было множество, и все с любопытством смотрели на Митрофана. Хозяин, уже пожилой человек, принял радушно Митрофана и подвел к дивану, на котором сидело шесть самок, или лунных женщин, обвешанных разноцветными и блестящими обрезками тканей, золотыми игрушками, самоцветными камнями, с цветочными венками на голове.

— Это жены мои! — сказал хозяин.

Митрофан поклонился и, обратясь к хозяину, спросил:

— Неужели у вас существует многоженство?

— Как видите, — отвечал хозяин. — А у вас, на Земле?

— У нас... извините... у нас просвещенные народы одноженцы... а прочие многоженцы... — сказал Митрофан.

Хозяин улыбнулся, примолвив:

— А у нас напротив; но ни вы, ни мы не должны обижаться, если то, что у вас называется просвещением, у нас почитается варварством и наоборот. Ведь мы с вами уроженцы не одной планеты...

— Я нисколько не обижаюсь, — сказал Митрофан, — но мне, право, совестно, что я, будучи обязан отвечать на ваши вопросы, иногда невольно должен называть невежеством, что здесь почитается мудростью... Ведь и вам кажется не только отвратительным, но даже преступным мясоедение... а у нас без мяса нельзя сесть за стол.

— Уж это чересчур! — сказал хозяин, сделав гримасу.

— Позвольте, кстати, спросить вас, — сказал Митрофан. — В здешнем народе почитали меня или волшебником, или злым духом, или *лютым* зверем; следовательно, у вас есть же *лютые* звери — а они потому и называются *лютыми* зверями, что душат, рвут на части и едят других животных и даже людей, если поймают в свои лапы. Так ли?

— У нас, правда, есть *лютые* звери и они точно убивают иногда лунатиков и наших слуг, домашних животных, но *не едят их*. Лютые звери наши нападают на нашу собственность, похищают или отнимают что могут из съестных припасов и даже детей наших и слуг, требуя потом выкупа, и находятся в вечной с нами войне, живя стадами в неприступных дебрях и горах. Вот для чего мы содержим войско.

— Итак, ваши лютые звери то же, что у нас разбойники и горские полудики, — сказал Митрофан. — А разве вы не воюете между собой, то есть с другими народами, с жителями других стран?

— А это зачем? А на что же суд и расправа? — отвечал хозяин. — А вы неужели воюете между собою?

— Да еще как! Бывают сражения, в которых убивают по стотысяч людей в несколько часов.

— Зачем? Разве с голоду... для того, чтобы питаться убитыми...

— Нет, мы, просвещенные люди, не едим человеческого мяса, а деремся мы за обиды, за земли, за города, за честь, деремся иногда и для того, чтобы показать храбрость нашу и силу.

— У нас этого нет! Мы друг друга не убиваем, — отвечал хозяин.

Митрофан не заметил, что журналист стоял позади, и только узнал, что он тут, когда журналист шепнул ему на ухо:

— Не убивают физически, как лютых зверей, долбешкой по голове, но душат морально друг друга... когда находят в том свои выгоды.

Митрофан пожал руку журналисту, полагая, что он говорит это в утешение его и в оправдание Земли.

— Полноте рассуждать о важных предметах! — сказала одна из жен хозяина дома. — Лучше спойте нам что-нибудь, господин землянин!

— Я, сударыня... не умею петь, — отвечал Митрофан с поклоном.

— Как не умеете петь, когда у вас птичья голова! — возразила одна из хозяек дома. — К тому же вы похожи на тетерева — а они у нас лучшие певцы!

— Что я похож на тетерева, это я впервые слышу, — отвечал Митрофан с некоторою досадою, — и если я с головы похож на

певчих птиц, то это на *ваших* птиц, а у себя, на Земле, я человек, да еще и не последняя спица в колеснице!

— Не сердитесь, а спойте что-нибудь, — сказали в один голос все хозяйки и бросились к Митрофану.

По этому знаку все самки, бывшие в гостях, окружили его, стали его ласкать, гладить, лизать, кувыркаться перед ним, повторяя:

— Спойте, спойте что-нибудь! Нам хочется послушать земных песен!

«Такие же неотвязчивые, как наши женщины, — подумал Митрофан. — Чего захочется, то сделают во что бы ни стало. Нечего делать!»

— Милостивые государыни! — сказал Митрофан. — Я удовлетворю вашему желанию — запою, как умею, но должен вас предупредить, что я не певец по ремеслу и от рода не певал как только про себя и для себя, музыки не знаю и большой охоты к ней не имею. У нас есть певцы, которые живут тем, что разъезжают из одной страны в другую и поют за деньги. Точно правда, наши женщины покровительствуют певцов и всяких скоморохов более, нежели ученых и поэтов, — но я вовсе не из звания певцов. В угоду вам спою, что затвердил наизусть... не осудите!

Митрофан не любил музыки и во время представления опер ходил смотреть только декорации и наслаждался одними балетами и *оригинальными* водевилями вроде: «Титулярные советники» и «Филатка и Мирошка». Но цыганский хор приводил его в восторг, и он даже ездил нарочно несколько раз в Москву потешить душу цыганскими песенниками. Итак, он запел «Вот едет тройка удалая» цыганским напевом, и, когда кончил песню, во всех комнатах раздался сильный свист, означающий на Луне то же, что у нас рукоплескания, — и все лунатики, особенно самки, стали кувыркаться перед Митрофаном, изъявляя этим свое удовольствие. Ободренный таким успехом, Митрофан пропел еще «Ты не поверишь, как ты мила» — и произвел такой восторг в слушателях, какого никогда не возбуждали на Земле ни Каталани, ни Зонтаг. Все лунные знатоки и любители музыки решили единогласно, что такого певца никогда не существовало на Луне. Митрофан

чрезвычайно удивлялся, что в нем открыли дарование, которого он в себе даже не подозревал, потому что приятели его на Земле всегда упрашивали его замолчать, когда он начинал петь застольные песни, и называли голос его *козлиным*. Митрофан признавал теперь лунатиков гораздо умнее всех своих земных друзей. Блистательный прием и ласки, которые ему оказывали, возбудили в нем смелость и самоуверенность в своем уме и талантах, и он, слыхав на Земле похвалы только своему повару, наконец решил, что он великий муж, *непостигнутый* на Земле, или, что еще хуже, *не признанный велиkim — из зависти!*

— Вот вы, милостивые государи и милостивые государыни, собрались, чтоб провести приятно время, — сказал Митрофан, — чем же вы займетесь?

— Сперва музыкой, потом станем слушать новые произведения наших поэтов, а там попляшем, — сказала хозяйка, — наконец поужинаем — и разойдемся!

— На ужин и на пляски согласен, а читать или слушать музыку — не каждому приятно. Взамен скучного чтения и музыки я вам покажу нашу земную забаву — велите поставить стол на середине комнаты!

Поставили стол, и Митрофан вынул из кармана две колоды карт, растолковал, что такое игра в банк, и предложил заняться этою приятною забавою. Хозяин, по желанию Митрофана, высыпал на стол целый мешок золотой монеты, и Митрофан начал метать. Из любопытства весьма многие из гостей стали понтировать — и вдруг страсть к игре до такой степени овладела всеми, что при столе не было места для понтеров. Счастье чудесно благоприятствовало Митрофану — и он часа в три выиграл около трех пуд золота, в шариках. Карточная игра до такой степени заняла всех гостей, что они забыли и о музыке, и о чтении, и о танцах, и тогда только перестали играть, когда хозяин попросил гостей к ужину.

За столом главный предмет разговора составляли карты, и все, с величайшим вниманием, слушали, когда Митрофан объяснял разные игры. Почтенный градоначальник также находился в числе гостей, и хотя он, при допросе Митрофана, и

не одобрил карточной игры, но, поиграв в банк, полюбил сам эту забаву и согласился на просьбы женщин, которые просили его велеть на другой же день наделать карт на бумажной фабрике и издать описание правил игры на лунном языке, по словам Митрофана.

Это было *первое* благодеяние, которое Митрофан оказал лунным жителям за их гостеприимство. Возвращаясь в свое жилище, Митрофан отдал хозяину его деньги, а выигранные всыпал в мешок и взял с собою.

«Начало хорошо, — думал Митрофан, возвращаясь домой со своим приставом. — У меня теперь около ста двадцати тысяч рублей на ассигнации, но счастье глупо и слепо — и в банк играть опасно, как это уже испытал я на Земле. Надобно научить здешних жителей в *пальки* и в *преферанс*, а пока они постигнут все тонкости игры я воспользуюсь моими познаниями по этой части и приобрету втрое более того, что я промотал на Земле. А если удастся возвратиться — заплачу долги и стану жить припеваючи! Ай да Луна! Жаль одного: что эти добрые созданья не похожи видом на людей, а особенно жаль, что здесь нет наших красавиц и бифштекса! Только это заставляет меня жалеть о Земле, а впрочем, здесь, право, лучше, и ума здесь более, когда и во мне открыли такие качества, о которых я и сам не знал».

— Да здравствует Луна! — сказал он громко.
— Итак, вам нравится наша планета? — спросил пристав.
— Как нельзя больше... Только жаль... Да что тут толковать! Чего нет, о том и тужить нечего!

У дверей квартиры пристав простился с Митрофаном. Усачев с нетерпением ожидал Митрофана и весьма обрадовался, когда увидел мешки с золотом.

— Ну, слава Богу, не станут докучать вашему благородию квартальные, когда воротимся домой, — сказал Усачев. — Есть чем расплатиться с долгами...

— Нет, брат, этого мало! — возразил Митрофан. — Я должен по крайней мере втрое более...

— Ахти! Неужели? Да куда же, ваше благородие, изволили девять такую пропасть денег, уж не утопили ли где на перевозе, или не сгорели ли ваши бумажки?

— Утопил, братец, в шампанском да сжег на картах, — отвечал Митрофан.

— Этакая притча! — возразил Усачев. — А как послушаем стариков про прежних господ, так выходит, что в старину и жирно едали и сладко пивали — а вотчин и отцовских домов не продавали и не закладывали. Сказывают, что в старину было...

— Мало ли что *бывало*, братец, — сказал Митрофан, прервав речь Усачева. — Бывало, и у моего отца на празднике сто человек завтракает, обедает и ужинает трое суток сряду, и все это обходилось менее одного моего обеда человек на шесть, не более! Бывало, на стол подают все свое, домашнее, а пьют пивцо, разные квасы да наливочки, а теперь на свое и смотреть стыдно. Помнишь ли ты черепаху, которую я купил с корабля?

- Помню, сударь, — страшная гадина!
- А я заплатил за нее пятьсот рублей — только на один суп!
- Ах ты, прости Господи!
- Да два паштета по пяти сот каждый...
- А что такое паштет, ваше благородие?
- Пирог с начинкой... с гусиной печенькой.
- Да вы за тысячу рублей купили бы двадцать пять кулей крупнитчатой муки и целое стадо гусей... стало бы пирогов на целый полк!
- А трюфели... полтораста рублей за банку.
- Как, сударь... трюхали?
- Это, брат, французские грибы.
- Ужель лучше наших белых грибов... боровиков или рыжиков...
- Признаться — и мне лучше нравятся наши подовые пироги и белые грибы, чем страсбургские паштеты и трюфели, да и телятина и осетрина лучше черепахи, однако ж, уж как зажил барином, так нельзя жить без заморщенности... Хоть морщься — да ешь, хоть жмись — да плати!
- А по мне, кажись, так лучшее барство, когда долгу ни гроша, а на черный день копейка в кармане!
- Твоя правда, служивый, воротимся домой — исправимся! А теперь — пора спать.

Журналист привел к Митрофану, на другое утро, химику, который посредством операции, похожей на дагеротипный процесс, снял портреты с обоих земных странников. Через день портреты приложены были к газете с известием, что Митрофан поет так чудесно, что до его появления в Луне лунные жители не имели понятия о такой мелодии. Все знатные люди в городе спорили и ссорились между собою за очередь к приглашению к себе Митрофана. Женщины были просто от него без ума, и с утра до вечера к Митрофану бегали служанки знатных барынь, то есть кошки и собачонки с любовными записками.

Через неделю уже во всем городе играли в карты, а франты оделись в платье по образцу Митрофанова фрака и сюртука, старые фанфароны взяли за образец солдатскую шинель и сюртук Усачева. Митрофан и Усачев хохотали во все горло, смотря на лунатиков в шелковых разноцветных фраках и сюртуках, которые стесняли все их движения и мешали им кувыркаться, хотя кувырканье было для них необходимостью, так же как у нас поклоны и снимание шляпы. Перед дверьми Митрофана стояла всегда толпа народа, чтоб взглянуть на чудесного инопланетника.

Каждый день Митрофан обедал в гостях и проводил вечера в больших собраниях, где сперва пел что ему приходило в голову, то русские песни, то отрывки из маршей, вальсов, кадрилей, которые остались у него в памяти, и вечер оканчивал обыкновенно игрою в палки и в *преферанс*, выигрывая множество золота и драгоценных каменьев у своих учеников и учениц, потому что женский пол, особенно старухи, еще более пристрастились к картам, нежели мужчины.

Таким образом протекло *светлое* время, и настала *лунная ночь*. Журналист повел Митрофана в первые сумерки на обсерваторию и показал ему в телескоп нашу Землю. Она в эту пору обращена была к Луне со стороны Европы, и как Митрофан знал употребление глобуса и несколько помнил очерк твердой Земли нашей части света, то он был в восторге от этого зрелища. Земля представлялась в виде огромного светлого шара, которого диаметр был в тридцать с половиною раз более, нежели диаметр Луны, в то время, когда она видна с Земли в самом

большом размере. Моря земные и огромные реки означались темноватою полосою; верхи наших гор сияли солнечным светом, а долины и противоположные к солнцу стороны гор обозначались тенью. На Земле был день. Митрофан тотчас узнал очерк Балтийского моря с Ботническим и Финским заливами и, указывая журналисту на оконечность последнего и на темную жилку, то есть Неву, воскликнул в восторге:

— Вот откуда я залетел к вам... вот отчество мое, любезная моя Россия! — и залился слезами.

Как хороша казалась ему Земля! Невольно Митрофан задумался и наконец, обратясь к журналисту, сказал:

— А вы предполагали, что наша Земля, эта прекрасная планета, необитаема! Подумайте, что в ту минуту, когда мы смотрим на нее и не видим на ней признаков жизни, тысячи людей рождаются и умирают, тысячи страдают и радуются, тысячи обманываются и тысячи обманывают, тысячи стараются вредить друг другу, и едва один из многих миллионов людей помышляет о том, что есть жизнь над Землею, и верно никто не догадывается, что в Луне теперь играют в *банк*, в *палку* и в *предферанс*, поют русские песни и попивают хорошее винцо!..

Митрофан замолчал. Он чувствовал в себе какое-то высшее чувство и какие-то высшие идеи при возврении на Землю и помышляя о величине и мудрости творения, но не умел выразить ни ощущений, ни мыслей иначе, как по своим понятиям о жизни. Напротив того, журналист предался высшим помыслам, и все еще веря, что Митрофан из ученых, обратился к нему, думая, что он может разделить с ним мысли его и чувства.

— Если Земля и Луна обитаемы, — сказал между прочим журналист, — и если моя родимая планета населена была жителями, то, вероятно, и все планеты, все звезды и самое Солнце обитаемы. Нет никакого сомнения, что все планеты имеют аналогическое сходство между собою, точно так же, как животные. Так, например, все четверолапые, хотя различаются видом, имеют почти одинаковое внутреннее устройство. Можно ли думать, чтоб эти огромные планеты были немые пустыни и чтоб они, будучи телами, вмещающими в себе жизнь, и сами будучи только *частицею общей жизни вселенной*, не производили жизни, то есть живых существ! Такое предположение

было бы нелепостью! Нет, вся природа есть не что иное, как жизнь, а смерть есть только перерождение. Какого вида и какого рода жители других планет — этого нельзя постигнуть, но вероятно, что они созданы сообразно устройству планеты, на которой живут. Быть может, что жители Солнца замерзли бы при сорока градусах нашей теплоты, и обитатели Сириуса сто градусов нашего холода почтят теплотою! Но верно кажется то только, что жители всех планет имеют свои страсти, свое добро и зло и что везде есть радость и горе.

Митрофан не понял первой половины речи журналиста, но когда журналист коснулся добра и зла, горя и радости, то Митрофан не мог воздержаться и, не дав ему кончить, сказал:

— Довольно странно, если б в Солнце были и горе и радость, добро и зло, то есть если б в Солнце были, например, подьячие, взяточники, крюкотворцы, фальшивые игроки, лжецы, завистники и весь этот народ, который вечно охотится на беззащитных и беспомощных! Но уж зато если в Солнце есть красавицы, то как они должны горячо любить и какая пламенная дружба должна там соединять друзей! У нас, например, разорись или попади в несчастье, так и любовь и дружба тотчас леденеют; а на Солнце верно ничего нет холодного! Мороженного там верно нет, а мадера должна быть чудесная! Если же на Солнце играют в карты, то, верно, ставят огромные куши сгоряча! Только я бы не хотел попасть туда: там, верно, народ ужасно вспыльчивый.

По счастью Митрофана, какие глупости он ни говорил, жители Луны почитали все его умным и верили, что если речи Митрофана кажутся не слишком мудрыми, то это оттого, что лунатики не посвящены в таинства земной учености и не понимают фигурного языка жителя Земли. В этом мнении убеждало лунатиков объявление Митрофана, что он из ученых, и кипа его бумаг, которые он называл своими сочинениями. Так бывает иногда и на Земле, с чужеземцами! Кто чем скажется, тем и слывет, пока, как говорится, не найдет коса на камень.

Полюбовавшись видом Земли, Митрофан вознамерился идти на вечер к одному богатому лунатику, который чрезвычайно пристрастился к преферансу, но на дороге встретил своего при-

стava, который сказал ему, что он должен немедленно явиться к градоначальнику.

Вошел в комнату градоначальника, Митрофан увидел огромного орла, который сидел на окне и спокойно клевал подсыпанный ему корм.

— Вот курьер, — сказал градоначальник, указывая на орла, — прибывший из столицы с повелением, чтоб вас немедленно отправить к нашему князю, который любопытствует вас видеть и желает с вами беседовать. Будьте совершенно спокойны! Наш князь добрейшее и благороднейшее существо в мире — и каря преступления противу закона, он тогда только почтает себя счастливым, когда может благодетельствовать и награждать. Он любит науки, словесность и искусство — и я уверен, что он составит ваше счастье, если вы будете вести себя так, как вели здесь. Мне приказано доставить вас в самое скорое время, и я подготовил для вас и для вашего старого солдата наших скородов... Вот они!

Митрофан выглянул в окно и увидел несколько огромных птиц, вроде наших земных страусов, но с человеческою головою, как все птицы на Луне. На хребте у каждого из этих лунных страусов, назначенных в путь, было покойное седло, вроде наших так называемых вольтеровских кресел.

— Но у меня есть деньги, — сказал Митрофан. — Можно ли их уложить на этих птиц?

— Ваши мешки с золотом уже навьючены на других животных, и при ваших вещах будет находиться старшина. Не опарайтесь: все ваше получите в целости, только несколькими днями позже. Как я боюсь, чтоб вас не задержали при выезде прощаниями ваши друзья, которых вы здесь приобрели такое множество, — то я скрыл от всех ваш отъезд. Садитесь сей же час и поезжайте! Ваш пристав едет с вами, а вот уже он и вышел с вашим служивым!

Облако закрыло в это время светлую Землю, и на улице было довольно темно. Простясь с градоначальником и поблагодарив его за все милости, Митрофан вышел на улицу, взял у Усачева свой сюртук, надел поверх фрака, сел в кресла, прикрепленные на спине страуса подпругами, и, по слову пристава, страусы побежали по улице за городские ворота.

По городу бежали они не слишком скоро, так что хорошая лошадь могла бы сравняться с ними на бегу, в галоп; но когда страусы выбежали за город, в поле, то пустились во всю свою прыть, расправив крылья. Кресла не мешали птицам действовать крыльями, потому что Митрофан сидел спиной к голове птицы, спустив ноги к хвосту. Страусы бежали без дороги, через поля и леса, перепрыгивая через рвы, переплывая через реки, и только криком давали знать всаднику, что он держался крепче в креслах, когда на дороге случалось какое-нибудь препятствие. Как это было время ночи, продолжающейся на Луне одиннадцать суток, то Митрофан не мог исчислять времени, и закинув полы сюртука на голову, чтобы защищаться от ветра, и привязав себя платками к ручкам кресел, дремал, пока голос пристава не разбудил его. Он открыл глаза и увидел, что страус его остановился перед большим домом при дороге. Митрофан слез со страуса, оглянулся и увидел в нескольких верстах город, над которым сияло чрезвычайно сильное зарево, как будто весь город обоят был пламенем.

— Что это значит? — спросил Митрофан.

— Перед нами город, но еще не столица. Прошла половина суток — жители города встали от сна и занимаются своими делами. Вместо солнечного света город освещен искусственными солнцами. Мы увидим это, проезжая через город; я нарочно остановился здесь для отдыха, чтоб любопытство жителей города не беспокоило вас. Это трактир. Не угодно ли перекусить чего-нибудь — сейчас прибудут свежие скороходы. Градонаачальник знает, в которое время мы должны быть здесь, и все приготовил, а я уже отправил к нему собаку с известием, что мы прибыли несколько прежде определенного времени.

Едва успели странники выпить по кружке теплого молока с какою-то душистою травою, прибыл градонаачальник с несколькими из высших старшин и в то же время привели из города других страусов. Градонаачальник и его чиновники с любопытством и удивлением смотрели на жителей Земли, особенно после того, что напечатано было о Митрофане в газетах. Разговаривать было некогда — итак, после нескольких обоюдных вежливостей, странники отправились в дальнейший путь.

Когда наши странники въехали на страусах в город, на ули-

цах было так светло, как среди дня. Город освещался не фонарями, но огромными огненными шарами на башнях, в виде турецких минаретов. Эти огненные шары издавали свет, похожий на сиянье фосфора. Наверху каждой башни были два горизонтальные колеса, одно над другим, а на колесах укреплены были эти огненные шары, в некотором расстоянии один от другого. Колеса вертелись медленно, каждое в противоположную сторону, и свет разливался ровно на все стороны. Над этим механизмом была крыша на высоких столпах, для защиты освещения от дождя. Митрофан видел эти башни в том городе, в котором жил до сих пор, но как в то время был день, то он не знал, для какого употребления назначены эти башни, и при его отъезде еще не зажигали огней, потому что была земная (то же, что у нас лунная) ночь.

Через город странники промчались быстро, как стрела, и когда выехали в поле, то Митрофан еще более удивился, увидев, что и поля были освещены теми же шарами, укрепленными на жердях, воткнутых в землю, и что при этом свете лунатики и животные работали, как при солнечном свете. Волы сами пахали, без понуждения; лошади бороновали; собаки оказывали лапами какие-то растения, а лунатики только поправляли упряжь и приказывали животным, что надлежало делать, — и вообще работали тогда только, где необходим был *механизм пальцев*, в котором природа отказалась четвероногим.

Новые страусы бежали еще скорее, нежели прежние, потому что ветер был попутный и дул сильно в расправленные крылья и что поля были ровнее. Митрофан, закрыв лицо полами плаща, едва мог переносить сильный напор ветра и несколько раз чуть не задохнулся.

На первом привале пристав купил для земных странников легкие щиты, натянутые кожей, в виде тамбурина, чтобы закрываться от ветра. На другую половину суток, когда жители Луны ложились спать, странники прибыли в столицу и остановились в трактире. Митрофан и Усачев так были измучены этой быстротою езды, что тотчас же легли спать, а старшина пошел с рапортом в палаты князя.

Когда Митрофан проснулся, пристав объявил ему, что он проспал почти половину суток и что хотя князь ждал его к

обеду, но не велел будить, а теперь просит в свои палаты, на вечер. Едва Митрофан успел одеться, вошло нему несколько придворных, которые, перекувырнувшись несколько раз с необыкновенною ловкостью, поздравили его с приездом от имени князя и объявили, что эни назначены провожать его в палаты.

Перед крыльцом стоял раззолоченный экипаж в виде древней римской колесницы, с балдахином, запряженный двадцатью четырьмя леопардами, взятыми в плен во время последней войны лунатиков с лютыми зверями. Леопарды были взнужданы и смиренно повиновались кошке, заступавшей место кучера. Кошка, будучи одной породы с леопардами, понимала их язык и гневно на них мяукала, когда шли неровно.

Митрофан с Усачевым поехали в колеснице, а лунатики верхом на лошадях, которые, однако ж, не были взнужданы, потому что домашние животные, понимая язык своих господ, повиновались охотно их приказаниям.

Улицы в столице освещены были еще ярче, нежели в провинциальном городе. Толпы любопытных стояли на улицах, по которым проезжал Митрофан, и, зная уже из газет о великих его достоинствах, приветствовали его радостными криками. Часовые у ворот княжеских палат отдали ему честь бердышами, и толпа придворных, вышедшая навстречу на крыльце, перекувырнувшись по нескольку раз, по обычанию Луны, в знак приветствия, ввела Митрофана в огромную залу, которой стены и все мебели обиты были обоями, блестящими как солнце. Эта зала так была освещена, что наши странники не могли перенести сильного блеска и должны были зажмурить глаза и закрыться руками. Заметив это, князь приказал переменить освещение, и посредством механизма в одну секунду во всех лампах свет сделался тусклее.

Когда Митрофан мог открыть глаза, его подвели к князю, который лежал на диване. Он был уже в летах и имел самый скромный и приятный вид. Душевная доброта изображалась в его взгляде. Князь привстал и сказал Митрофану:

— Все, что мне известно об вас, возлагает на меня обязанность быть вашим покровителем и защитником и стараться о том, чтобы пребывание ваше здесь было столь же приятным

для вас, сколько полезным для нас. Вы муж высокой земной учености и наделенный от природы редким талантом — вы можете вашими советами споспешествовать благоденствию здешнего края и открыть нам полезные изобретения и уставновления, которые доставляют жителям Земли спокойствие и благо состояние. На первый случай назначаю вас придворным сановником первого разряда, даю вам помещение в моих палацах, стол, экипаж, прислугу и определяю жалованье по сто тысяч золотых монет в год.

Митрофан так обрадовался этому, что, не зная, как отблагодарить князя, хотел, по обычаю страны, почитая себя подданным, перекувырнуться, как кувыркался в детстве, играя с деревенскими мальчишками, но перекувырнулся так неловко, что повалился во всю свою длину и чуть не свалил с ног князя, подбив каблуками глаз стоявшему возле придворному и разбив другому нос до крови. Общество, из уважения к князю, удержалось от смеха, но самки невольно закрылись своими плащами.

— Увольняю вас навсегда, — сказал князь, — от приветствия по нашему обычая. Приветствуйте по-вашему!

Митрофан трижды низко поклонился, а Усачев, видя это, вытянулся в струнку и громко вскрикнул:

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

— Этого старого солдата я поручаю вашему попечению, — сказал князь, обращаясь к Митрофанду. — Что же касается до его потребностей, они будут все удовлетворены... А между тем садитесь и спойте нам что-нибудь!

— Очень охотно! — отвечал Митрофан и, обратясь к Усачеву, примолвил: — А что, служивый, затянуть бы нам с тобой вместе какую-нибудь залихватстую! Ведь ты сказывал мне, что был в полку в песенниках.

— Был запевалой в первой grenадерской роте, ваше благородие, и хоть спал с голоса, а песни помню.

— А что бы нам спеть вместе?

— Да уж на радости плясовую! — сказал Усачев. — Не знаете ли, ваше благородие, «Во лузях»?

— Помню голос, да слова забыл. Впрочем, это не нужно здесь... Ну-тка, затягивай!

Усачев пел молодецки, со всеми русскими ухватками, с присвистом, со вскрикиванием, и запел лихо своим фальцетом или фистулой. Митрофан подтягивал, и, когда они кончили песню, общество было приведено еще в больший восторг, нежели в первом городе. Сам князь первый свистнул, в знак своего удовольствия, и в зале раздался такой свист со всех сторон, что у Митрофана в ушах зазвенело.

— А мне не доносили, — сказал князь, — что и старый служивый такой же виртуоз — определяю его в начальники моего придворного хора с жалованьем по двадцати пяти тысяч золотых монет. Скажите это ему!

Когда Митрофан растолковал Усачеву, что он будет начальником песенников и станет получать столько золота, старый солдат осталенел от радости и удивления и без спросу затянул один: «Как у наших у ворот» — и пустился плясать вприсядку. Князь и все общество были в восхищении, и Усачеву удвоено жалованье и дано новое звание: балетмейстера. Потом Митрофан спел сам свои цыганские песни: «Ты не поверишь» и «Вот едет тройка удалая» — и привел всех в умиление. Самки заливались слезами, а князь, сняв с себя цепь, осыпанную драгоценными каменьями, с алмазным колокольчиком, надел на шею Митрофана. При этом все бывшие в зале лунатики обоего пола перекувырнулись трижды перед Митрофаном, поздравляя с высоким знаком отличия.

Через несколько дней из того города, в котором впервые пристал Митрофан, прибыло в столицу более двухсот семейств, особенно старых мужей с молодыми женами, единственно для того, чтобы наслаждаться пением Митрофана и играть с ним в карты. В течение недели Митрофан получил восемьсот любовных писем самого нежного и пламенного содержания. Приехал также и журналист, который, пользуясь благосклонностью Митрофана и по праву первого знакомства, надеялся писать свой журнал любопытными предметами, почерпая их из рассказов земного ученого.

Не прошло месяца, во всей столице играли в карты — во все игры! Жители провинциального города, научившись играть от Митрофана, распространили повсюду эту забаву. Митрофан играл только в княжеских палатах. Он был теперь важное лицо,

любимец князя и всегдаший его собеседник. Любознательный князь не мог насытиться рассказами Митрофана о Земле, хотя Митрофан, будучи не в состоянии отвечать правильно на вопросы князя насчет законодательства, администрации, военного дела и политики, выдумывал небывальшину и даже иногда весьма удачно. Недаром говорят: было бы место — будет и разум! Митрофан, занимая важное место при князе, в самом деле чувствовал в себе иногда вдохновение и выдумывал вещи, которые в самом деле были бы хороши, если бы были осуществлены. Так, например, разговаривая о взятках и различных пронырствах, которые князь строго наказывал, он спросил однажды у Митрофана, каким образом истребляют это зло на Земле. Митрофан, по вдохновению, отвечал:

— У нас подвергается большому наказанию тот, кто покровительствует плутов и взяточников, нежели самые плуты и взяточники, которые размножаются и усиливаются от оказываемого им покровительства, как черви от гнилости. Наши философы доказали, что честный и благородный человек не может покровительствовать мошенникам, и если бывают случаи, что такой покровитель зла пользуется репутацией доброго и честного человека, то вернее смерти, что он или пошлый дурак, или лицемер. Дурак из тщеславия покровительствует своих подчиненных, хоть бы они были отъявленные плуты, для того только, чтоб покрывать гниль наружным лаком и заставить верить, будто у них все хорошо и исправно. Но с тех пор, как самое зло стало у нас бить *по голове*, а не *по пальцам*, оно начало прятаться, и теперь у нас почти нет взяточников...

С каждым днем князь привязывался к Митрофану, и наконец он стал первым его любимцем. Князь не мог провесть дня без того, чтоб не послушать песней Митрофана и Усачева.

Непостижимое влияние человеческого голоса и взгляда на все низшие в природе живущие твари сказывалось в полной силе на лунатиках. Как ни плохо пел Митрофан, но его пенье так приятно действовало на нервы лунных жителей, что они ощущали какое-то невыразимое наслаждение. Напротив того, голос человеческий в разговоре не производил никакого действия. Так точно и на земных животных. Не слова, но крик человеческий и разные модуляции крика производят действие.

Вот разгадка, почему пенье Митрофана производило такой эффект. Это зависело от природы лунатиков, у которых голос был грубый, похожий несколько на медвежий рев и писк обезьяны.

Князь так доверял Митрофану, что, по беспрестанным его убеждениям, решил попробовать рыбы и мяса. Первый обед был *тайный*, но наконец эта еда так понравилась князю, что он, собрав на совет всех своих философов, законоискусников, жрецов и лекарей, предложил им на решение вопрос о *мясоедении*, накормив их прежде (по совету Митрофана) хорошенъко отличным бифштексом, ростбифом и свежею рыбой и напоив лучшим своим вином. Ученое сословие, покушав мяса и рыбы в угоду князю и запив хорошим вином, решило единогласно, что поелику на Земле едят мясо с пользою для здоровья и выгодаю для народного продовольствия, то и на Луне таковое употребление мяса дозволяется, с тем, что на первый случай воспрещается питаться мясом домашних слуг, то есть животных, а позволяет употреблять в пищу мясо бродяг, то есть животных, не имеющих хозяев, и зверей, вредных лунатикам.

Это было *второе* благодеяние (первое карты), которое Митрофан оказал лунатикам за их гостеприимство.

По смыслу двух последних пунктов о дозволении *мясоедения*, то есть что можно есть только бродяг и зверей, вредных лунатикам, дошло до того, что чужого быка или теленка, переступивших за черту собственности их хозяина, стали почитать бродягами, а рябчиков и диких уток жестокими врагами лунатиков, потому что они могли вредить собственности, питаюсь на полях и озерах, имеющих законных хозяев. Законники обрадовались этому случаю и возбуждали к тяжбам. Карты и тяжбы довели множество семейств до нищеты; но чем более было зла от этого, тем более играли в карты и тем сильнее объедались мясом.

Третье благодеяние, оказанное Митрофаном лунатикам, состояло в том, что он убедил знатнейших из них одеваться в платье по образцу земных жителей. Все стали подражать любимцу князя и оделись во фраки и в сюртуки. Но как природа, наделив лунатиков шерстью, дала им естественную защиту от перемен атмосферы, то, заменив прежние свои легкие передники и плащики земною одеждью, лунатики подверглись многим

болезням, дотоле неизвестным на Луне, и болезни эти приняли самый жестокий характер от изменения пищи, свойственной климату Луны. Смертность чрезвычайно увеличивалась, но чем более заболевало и умирало лунатиков от нововведений, тем более они кутались и тем более ели мяса.

Так бывает иногда и на Земле, что моды южных стран на севере и сильно возбуждающая пища, свойственная жарким климатам, сокращая жизнь, вовсе не уменьшают страсти к перениманию вредного. То же можно сказать и об идеях! Примените хорошее турецкое к Англии, а хорошее английское к Турции, хорошее обратится в чепуху! Но кто изъяснит заблуждения разума? Разумным тварям именно хочется все-гда вредного, то есть запрещенного, и мода везде сильнее рассудка.

Расточительность и долги породили в лунатиках страсть к стяжанию богатств, и вообще нововведения Митрофана возбудили хищность. Дошло до войны с соседями. Митрофан при помощи Усачева завел земное устройство в войске. Пушки лунатиков заряжались электричеством, и стреляли из них камнями. Митрофан учредил конную артиллерию, научил войско строиться в каре и колонны, и оно одержало победу над неприятелем и забрало множество домашнего скота и золота, которое обогатило старшин и войско. Слава Митрофана распространилась по всей Луне.

Однако ж Митрофан имел множество неприятелей. Невзирая на похвальные стихи поэтов и панегирики приятеля-журналиста, лунатики, приверженные к старым обычаям, не одобряли мясоедения, земной одежды и войну приписали наущениям Митрофана. Вельможи завидовали милости, оказываемой ему князем, и противу Митрофана составился заговор. Журналист уведомил его об этом, и Митрофан струсил. Обладая огромным количеством золота и драгоценных камней, он охотно возвратился бы на Землю, если б имел к тому средства, и, не зная, на что решиться, уже близок был к отчаянию, как вдруг, посредством сокола, получил письмо от Резкина следующего содержания:

«Из газет узнали мы о вашей славе, вашем могуществе и богатстве на Луне, и прибегаем к вам с просьбою о избавлении

нас из тяжкого плена. Когда вы с Усачевым пошли в лес, а мы остались при шаре, поднялась буря. Мы пошли в лодку, чтоб тяжестью нашею удержать шар, и вдруг порывом ветра сорвало нас с якоря, и мы помчались вверх. Двое суток ветер носил нас в разные стороны, а на трети сутки нас бросило на другое полушарие Луны. Мы попали к каким-то белым медведям, пользующимся, однако ж, даром слова, и они, поймав нас, стали допрашивать: кто мы и откуда. Уверения наши, что мы жители Земли, до тех пор не подействовали на белошерстных лунатиков, пока они не узнали из газет о вашем пребывании у бурых лунатиков. Описания о ваших отличных качествах возбудили в белошерстных лунатах желание воспользоваться нашими познаниями. Нам назначен был публичный экзамен при стечении более ста тысяч народа. Каждого из нас спросили, что мы знаем. Я начал толковать о философии, Цитатенфresser привел ссылки на множество древних и новых авторов в пользу сострадания к бедным странникам и о гостеприимстве; Бонвиван объяснял таинства французской кухни, но большинством голосов решено, что мы принадлежим к низшей породе животных. Меня и Цитатенфressera поставили на конюшню и запрягают каждый день в плуг и борону, а Бонвивана, этого любезного француза, посадили в клетку, как попугая, и взят напоказ по ярмаркам, заставляя его болтать всякий вздор на потеху черни. Вот уже два года, как мы находимся в этом несчастном положении, между тем как вы блаженствуете и наслаждаетесь жизнью. Ради Бога, выкупите нас! Если у вас есть средства, то я сделаю другой шар, и мы попробуем, нельзя ли возвратиться на Землю!»

— Вот те и ученость! — сказал Митрофан Усачеву, прочитав письмо. — Смотри-ка, мои учителя премудрости на конюшне и в клетке, а мы с тобой в палатах! Бедняги — надообно их выручить!

— Видно, перемудрили, ваше благородие, а немцу поделом! — отвечал Усачев.

Митрофан пошел немедленно к князю, рассказав обо всем, и через час отправлено было посольство, на страусах, с выкупом и с угрозами начать войну, если белошерстные лунатики не выдадут земных жителей.

Через месяц Резкин, Цитатенфрессер и Бонвиван бросились в объятия Митрофана, когда он вставал с постели.

Резкин и Цитатенфрессер были худы, как скелеты, а Бонвиван толст и жирен, как кабан. Первых кормили, как домашних животных, одними овощами, а Бонвивана откармливали слас-тями ярмарочные зрители диковинок.

— Ну что, брат, Готлиб Францович, — сказал Митрофан Цитатенфрессеру, — на что пригодилась тебе чужая премудрость! Вот и ты, и Иван Петрович (Резкин), со своею заморскою учено-стью причислены к животным, когда мы с Усачевым, с на-шим простым и незатейливым умишком, попали в знать и силу. А что тебя, любезный Бонвиван, произвели в попугаи, извини, это, право, не глупо! И мой покойный дядя называл тебя попу-гаем!

Цитатенфрессер до такой степени упал духом от тяжкой не-воли, что даже не мог вспомнить в ответ ни одной цитаты. Он только примолвил:

— Не мечите бисера... — и замолчал.

Резкин тяжело вздохнул и сказал:

— Ученость, мудрость... плохой товар! Они только тогда хо-роши, когда их спрашивают, а где они не нужны, то хуже лихо-радки!

— Проклятые лунатики! — сказал Бонвиван. — Пусть бы я был у них попугаем, когда б только давали волю и платили, а то держать в клетке... варвары!

— Утешьтесь, друзья, здесь вы отдохнете и поправитесь! Я ввел здесь даже мясоедение!

Несчастные были вне себя от радости.

На другой день Митрофан, одев в новое платье своих товари-щих, представил их князю. Но они ему не понравились. Отве-тев Цитатенфрессера, который, желая блеснуть учено-стью, го-ворил все ссылками на авторов, князь не понимал, не зная этих авторов. Резкин показался ему скучным педантом, а Бон-вивана князь назначил главным своим поваром, по совету Мит-рофана. Всем им отведена квартира в палатах князя и опреде-лено умеренное содержание, из уважения к Митрофану.

Когда Резкин отдохнул и поправился в силах, он начал не-медленно делать шар, с позволения князя и на его счет. Мит-

рофан, пользуясь неограниченной доверенностью князя, уважил его, что посредством воздухоплавания он может покорить всю Луну и наложить дань на всех ее жителей.

Для постройки лодки и шара употреблено в дело более тысячи лунатиков и огромное количество материалов. Лодка была величиною с небольшую яхту и шар необыкновенной величины, более двух стопушечных кораблей. Резкин придумал механизм к управлению шаром, посредством парусов по бортам лодки.

Назначен день испытания. В то время, когда лунатики ложились спать, наши странники переносили тайно сокровища Митрофана в лодку, съестные припасы и оружие и наконец, когда все было готово, Митрофан и товарищи его сели в лодку при стечении всех жителей столицы. Поклоняясь князю, Митрофан велел отрубить канаты. Шар быстро поднялся, при радостных восклицаниях народа и к величайшему удовольствию князя, и, взмываясь ввышину, вскоре исчез из вида. Хотя это было во время лунного дня и на небе не было облаков, но князь напрасно старался в телескоп отыскать шар в поднебесье. Необыкновенная сила шара ввлекла шар вверх, и Резкин, зная уже по опыту, что шар должен перевернуться, вышел из лунной атмосферы и коснувшись земной, приготовил к этому товарищам и ждал нетерпеливо этого переворота. Наконец он наступил, и Резкин, бросаясь на колени, воскликнул:

— Благодарение Богу: теперь мы спасены!

Через четверо суток показалась Земля, сперва как светлая точка, потом как черное пятно, а наконец... как голубое яичко.

— Ура! — закричали воздухоплаватели.

— Усачев, подавай вина! — воскликнул Митрофан.

Автор сидел вечером в своем кабинете и хотел было пересмотреть некоторые русские журналы... Тоска пала на сердце. Он закурил трубку и прислонился к спинке кресел... Кто это?.. Входит слуга.

— Вот уже третий раз приходит к вам какой-то господин и желает вас видеть, — говорит он.

— Да что ж ты не впустишь?

— Я входил два раза, да не посмел будить вас; вы, кажется, дремали.

— Пустое, я не спал и не дремал, а сидел с полузакрытыми глазами.

— Не знаю-с, а кажется, изволили дремать!

— Думал, братец, или, правильнее сказать, не спал и не думал, а бредил наяву... Мне мерещилось, будто я был в Луне и видел там много всякой всячины, а между прочим и приятеля моего Митрофана Простакова с его свитой.

— Так вы верно изволили вздремнуть!

— Право, нет, смотри: и трубка не погасла!

— Да как же наяву бредить такие небылицы?

— Это, братец, то же, что:

Не любо — не слушай, а лгать не мешай!

Валерий Брюсов

ГОРА ЗВЕЗДЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вступая десять лет назад в пустыню, я верил, что навсегда расстался с образованным миром. Взяться за перо и писать воспоминания заставили меня события совершенно необыкновенные. То, что я видел, быть может, не видел никто из людей. Но еще больше пережил я в глубине души. Мои убеждения, казавшиеся мне неколебимыми, разрушены или потрясены. С ужасом вижу, как много властной истины в том, что я всегда презирал. У этих записок могла бы быть цель: предостеречь других, подобных мне. Но, вероятно, они никогда не найдут читателя. Пишу их соком на листьях, пишу в дебрях Африки, далеко от последних следов просвещения, под шалашом бечуана, слушая немолчный грохот Мози-оа-Тунья¹. О великий водопад! Красивейшее, что есть на свете! В этой пустыне один ты, быть может, постигаешь мои волнения. И тебе посвящаю я эти страницы.

Селение. 9 августа 1895 г.

I

Небосвод был темно-синим, звезды крупными и яркими, когда я открыл глаза. Я не шевельнулся, только рука, и во сне сжимавшая рукоятку кинжала, налегла на нее сильней... Стон повторился. Тогда я приподнялся и сел. Большой костер, с вечера разложенный против диких зверей, потухал, а мой негр Мстега спал, уткнувшись в землю...

— Вставай, — крикнул я, — бери копье, иди за мной!

¹ Мози-оа-Тунья — водопад в Эфиопии

Мы пошли по тому направлению, откуда слышны были стоны. Минут десять мы блуждали наудачу. Наконец я заметил что-то светлое впереди.

— Кто лежит здесь без костра? — окликнул я. — Отвечай, или буду стрелять. — Эти слова я сказал по-английски, а потом повторил на местном кафрском наречии¹, потом еще раз по-голландски, по-португальски, по-французски. Ответа не было. Я приблизился, держа револьвер наготове.

На песке в луже крови лежал человек, одетый по-европейски. То был старик лет шестидесяти. Все тело его было изранено ударами копий. Кровавый след вел далеко в пустыню; раненый долго полз, прежде чем упал окончательно.

Я приказал Мстете развести костер и попытался привести старика в чувство. Через полчаса он начал шевелиться, ресницы его приподнялись, и на мне остановился взор, сначала тусклый, потом прояснившийся.

— Понимаете ли вы меня? — спросил я по-английски. Не получив ответа, я повторил вопрос на всех знакомых мне языках, даже по-латыни. Старик долго молчал, потом заговорил по-французски:

— Благодарю вас, друг мой. Все эти языки я знаю, и если я молчал, то по своим причинам. Скажите, где вы меня нашли?

— Я объяснил.

— Почему я так слаб? Разве мои раны опасны?

— Вам не пережить дня.

Едва я произнес эти слова, умирающий весь затрепетал, губы его искривились, костлявые пальцы впились в мою руку. Его мерная речь сменилась хриплыми криками.

— Не может быть!.. Не теперь, нет!.. у пристани!, вы ошиблись.

— Возможно, — холодно сказал я.

— Пусть господин погодит, — глухо простонал он, — колдун скажет все, он слышал об этом от отцов еще мальчиком. Там, посреди Проклятой пустыни, стоит Гора Звезды, высокая, до неба. В ней живут демоны. Иногда они выходят из своей стра

¹ Язык одной из многочисленных народностей — кафов, живущих в юго-западной Эфиопии

ны и пожирают младенцев в краалах. Кто идет в пустыню, тот погибнет. И говорить о ней нельзя...

С меня было довольно. Я опустил винчестер и медленно прошел среди оторопелой толпы в отведенную мне хижину. Оставаться в деревне на ночь казалось мне небезопасным. Кроме того, я понимал, что по Проклятой пустыне можно было идти только ночью. Я приказал Мстеге готовиться в дорогу. Мы взяли с собой запас воды дней на пять, немного провизии и все необходимое для шалаша, чтобы было куда укрываться от зноя. Всю ношу я разделил на два равных выюка, себе и Мстеге. Затем послал сказать начальнику племени, что мы уходим. Привозить нас вышла вся деревня, но все держались в значительном отдалении. До границы пустыни я шел, весело насыпывая. Взошел месяц. Границы пластов причудливо засветились под лунными лучами. В это время я услыхал чей-то голос. Обернувшись, я увидел, что колдун выступил из толпы вперед и тоже стоял на границе пустыни. Протянув руки в нашу сторону, он отчетливо произносил установленные слова. То было заклятие, обрекавшее нас духам-мстителям за то, что мы тревожим спокойствие пустыни.

Луна стояла еще невысоко, и длинные тени от рук колдуна тянулись за нами в пустыню и долго с упорством цеплялись за наши ноги.

II

В тот же день к вечеру я начал путешествие, обещанное старiku. Карта той части Африки, еще почти не исследованной, была мне известна много лучше, чем любому европейскому географу... Подвигаясь вперед, я все настойчивей собирал сведения о той местности, куда направлялся. Сначала только самые сведущие могли отвечать мне, что там лежит особая Проклятая пустыня. Потом стали встречаться лица, знавшие об этой пустыне разные сказания. Все говорили о ней неохотно. Через [несколько] дней пути мы пришли в страны, соседние с Проклятой пустыней. Здесь ее знали все, все ее видели, но никто не бывал в ней. Прежде выискивались смельчаки, вступавшие в пустыню, но, кажется, из них не возвратился никто.

Мальчик, взятый мною как проводник, довел нас до самой пустыни ближайшими тропинками. За лесом путь шел через роскошную степь. К вечеру мы дошли до временной деревушки бечуанов, раскинутой уже у самого рубежа пустыни. Меня встретили почтительно, отдали мне особую хижину и прислали в подарок телку.

Перед закатом солнца, оставив Мстегу сторожить имущество, я пошел один посмотреть на пустыню. Ничего более странного, чем граница этой пустыни, не видел я за свою скитальческую жизнь. Растительность исчезла не постепенно: не было обычной переходной полосы от зелени лугов к бесплодной степи. Сразу на протяжении двух-трех саженей пастище обращалось в безжизненную каменистую равнину. На тучную почву, покрытую тропической травой, вдруг налегали углами серые не то сланцевые, не то солончаковые пласти; громоздясь друг на друга, они образовывали дикую зубчатую плоскость, уходившую вдаль. На этой поверхности змеились и тянулись трещины и расселины, часто очень глубокие и до двух аршин шириной, но сама она была тверда как гранит. Лучи заходящего солнца отражались там и сям от ребер и зазубрин, слепя глаза переливами света. Но все же, внимательно взглядаваясь, можно было различить на горизонте бледно-серый конус, вершина которого сверкала, как звезда. Я вернулся в крааль задумчивый. Скоро меня окружила толпа: собирались посмотреть на белого человека, идущего в Проклятую пустыню. В толпе заметил я и местного колдуна. Вдруг, подступив к нему, я направил дуло винчестера в уровень с его грудью. Колдун окаменел от страха; видно, ружье ему было знакомо. А толпа отхлынула в сторону.

— А что, — спросил я медленно, — знает ли отец мой какие-либо молитвы перед смертью?

— Знаю, — нетвердо отвечал колдун.

— Так пусть он их читает, потому что сейчас умрет
Я щелкнул курком. Негры вдалеке испустили вопль.

— Ты умрешь, — повторил я, — потому что скрываешь от меня, что знаешь о Проклятой пустыне.

Я наблюдал на лице колдуна смену настроений. Его губы кривились, на лбу то сдвигались, то раскрывались морщины. Я

положил палец на «собачку». Могло случиться, что колдун действительно не знает ничего, но через мгновение я спустил бы курок. Вдруг колдун повалился наземь.

— Просто я потерял много крови.

Я улыбнулся:

— Вы продолжаете ее терять; мне не удалось остановить кровотечение.

Старик стал плакать, молил спасти его. На конец у него горлом пошла кровь, и он опять потерял сознание. Очнувшись во второй раз, он был снова спокоен.

— Да, я умираю, — сказал он, — вы правы. Тяжело это теперь. Но слушайте. Судьба сделала вас моим наследником.

— Я ни в чем не нуждаюсь, — возразил я

— О, не думайте, — перебил старик, — дело идет не о кладе, не о деньгах. Здесь другое. Я владею тайной.

Он говорил торопливо, сбивчиво; то начинал рассказывать свою жизнь, то перескакивал к последним событиям. Многое я не понял. Вероятно, большинство на моем месте сочло бы старика помешанным. С детства его увлекала мысль о межпланетных сношениях. Он посвятил ей всю жизнь. В разных научных обществах делал он доклады об изобретенных им снарядах для полета с Земли на другую планету. Его везде осмеяли. Но небо, по его выражению, хранило награду его старости. На основании каких-то замечательных документов он убедился, что вопрос о межпланетных сношениях уже был решен именно жителями Марса. В конце XIII столетия нашего летосчисления они послали на Землю корабль. Корабль этот опустился в Центральной Африке. По предположению старика, на этом корабле были не путешественники, а изгнанники, дерзкие беглецы на другую планету. Они не занялись исследованием Земли, а постарались только устроиться поудобнее. Оградив себя от дикарей искусственной пустыней, они жили в ее середине отдельным самостоятельным обществом. Старик был убежден, что потомки этих переселенцев с Марса до сих пор живут в той стране.

— Есть у вас точные указания места? — спросил я.

— Я вычислил приблизительно долготу и широту... ошибка не больше десяти минут... может быть, четверть градуса.

Все случившееся со стариком после и нужно было ожидать. Не желая делиться успехом, он сам отправился на исследования...

— Вам, вам поручаю я мою тайну, — говорил мне умирающий, — возьмитесь за мое дело, окончите его во имя науки и человечества.

Я засмеялся:

- Науку я презираю, человечества не люблю.
- Ну ради славы, — сказал старик с горечью.
- Полноте, — возразил я. — На что мне нужна слава? Но я все равно блуждаю по пустыне и могу из любопытства заглянуть в ту страну.

Старик зашептал обиженно:

— Мне нет выбора... Пусть будет так... Но поклянитесь, что вы сделаете все возможное, чтобы пройти туда... что только смерть вас остановит.

Я опять засмеялся и произнес клятву. Тогда умирающий со слезами на глазах произнес дрожащим голосом несколько цифр — широту и долготу. Я отметил их на прикладе ружья. Вскоре после полудня старик умер. Последней его просьбой было, чтобы я упомянул его имя, когда буду писать о своем путешествии. Исполняю эту просьбу. Его звали Maurice Cardeaux.

III

Далеко не все трудности пути предвидел [я], вступая в Проклятую пустыню. С первых же шагов почувствовали мы, как тяжело идти по этой каменистой, растрескавшейся почве. Но гам было больно ступать по зазубринам пластов; игра лунного света обманывала глаз, и ежеминутно мы могли оступиться в расщелину. В воздухе стояла тонкая пыль, резавшая глаза. Однообразие местности было таково, что мы постоянно сбивались с прямого направления и кружили: идти приходилось по звездам, потому что абрис Горы не был виден во мраке. Ночью можно было идти еще бодро, но, как только всходило солнце, нас охватывал нестерпимый зной. Почва быстро раскалялась и жгла ноги сквозь обувь. Воздух становился огненным паром,

как над растопленной плитой, — мучительно было дышать. Приходилось наскоро разбивать палатку и под ней лежать до вечера, почти не двигаясь.

Этой Проклятой пустыней мы шли шесть суток. Вода, бывшая у нас в мехах, очень быстро испортилась, пропахла кожей, сделалась отвратительной на вкус. Такая вода почти не удовлетворяла жажды. К третьему утру у нас оставался очень маленький остаток ее, мутные последки на дне меха. Я решил поделить этот остаток между нами до конца, так как днем он испортился бы окончательно. В тот же день начались обычные мучения жажды: заболело горло, язык стал жестким, больши́м, являлись быстро исчезающие миражи. Но четвертую ночь мы еще шли без остановки. Мне казалось, что Гора Звезды близко, что к ней ближе, чем назад, к границе пустыни. Утром, однако, я увидел, что силуэт Горы почти не вырос, все так же недоступен. В этот четвертый день мной окончательно овладел бред. Мне стали грезиться озера в пальмовых оазисах, стада антилоп на берегу и наши русские речки с заводями, где ивы купают плакучие ветви, мне грезился месяц, отраженный в море, раздробленный в волнах, и отдых в лодке за прибрежной скалой, где вечно волнуется прибой, вал набегает за валом, пенится и высоко встает брызгами. Во сне оставалось смутное сознание, оно говорило, что все эти картины — призрак, что они мне недоступны. Я жаждал не грезить, победить свой бред, но на это сил не хватало. И это было мучительно... Но едва солнце закатилось и наступила мгла, я вдруг очнулся, вдруг встал, как лунатик, словно на тайный зов. Мы уже не собирали палатку, так как не могли нести ее. Но мы шли опять вперед, упорно тянулись к Горе Звезды. Она влекла меня как магнит. Мне начинало казаться, что жизнь моя тесно связана с этой Горой, что я должен, должен и против воли идти к ней. И я шел, временами бежал, сбиваясь с пути, опять находил его, падал, вставал и шел снова. Если Мстега отставал, я кричал на него, грозил ему ружьем. Взошел убывающий месяц и осветил конус Горы. Я приветствовал Гору восторженной речью, протягивал к ней руки, умолял помочь мне, и опять шел, и опять шел, уже без отчета, слепо

Ночь миновала, справа от нас выкатилось красное солнце Звезда на вершине Горы загорелась ярко. У нас уже не было палатки, я крикнул Мстеге, чтобы он не останавливался.

Мы продолжали идти. Вероятно, около полудня я упал, побежденный зноем, но продолжал подвигаться ползком. Я бросил револьвер, охотничий ножи, заряды, куртку. Долго я тащил за собой мой верный винчестер, но потом бросил и его. Я полз опухшими ногами по раскаленной почве, цепляясь окровавленными руками за острые камни. Перед каждым новым движением мне казалось, что оно будет последним, что еще одного я не буду в состоянии сделать. Но в моем сознании была только одна мысль: надо идти вперед. И я полз даже среди бреда, полз, выкрикивая невнятные слова, разговаривая с кем-то. Однажды я занялся ловлей каких-то жуков и бабочек, которые, как мне казалось, сновали вокруг меня. Приходя в себя, я отыскивал взором силуэт Горы и снова начинал ползти к ней. Настала ночь, но ненадолго принесла успокоение своей свежестью. Силы меня покидали, я изнемогал до конца. Слух был наполнен страшным звоном и ревом, глаза все более густой пеленой застилал кровавый туман. Сознание покидало меня окончательно. Последнее, что я помню, когда я очнулся: солнце стояло невысоко, но уже мучительно палило меня. Мстеги со мной не было. Первое мгновение хотелось мне сделать усилие, чтобы посмотреть, где Гора. Затем в следующее мгновение мне ясно блеснула мысль, заставившая меня вдруг расхохотаться. Я смеялся, хотя из моих растрескавшихся губ текла при этом кровь, сочась по подбородку и каплями падая на грудь. Я смеялся потому, что вдруг понял свое безумие. Зачем я шел вперед? Что могло быть около Горы? Жизнь, вода? А что, если и там все та же мертвая, та же Проклятая пустыня! Да, конечно, оно так и есть. Мстега умнее меня и, конечно, пошел назад. Что ж! Быть может... ноги и донесут его до рубежа! А я заслужил свою часть. И, насмеявшись, я закрыл глаза и остался неподвижным. Но внимание мое было пробуждено чем-то темным, что я почувствовал сквозь опущенные веки. Я взглянул снова. Между мною и небом парил коршун, африканский коршун-стервятник. Он почувствовал добычу. И, смотря прямо на него, стал я думать, как он спустится ко мне на грудь, выклюет

те самые глаза, которыми я смотрю, будет вырывать из меня куски мяса. И я думал, что мне все равно. Но вдруг новая мысль, ослепительно яркая, залила все мое сознание. Откуда здесь коршун? Зачем ему залетать в пустыню? Или Гора Звезды близко, а около нее и жизнь, и леса, и вода!

Сразу же по моим жилам пробежала струя силы. Я вскочил на ноги. Близко-близко чернела высокая Гора, а со стороны ее ко мне бежал верный Мстега. Он искал меня и, увидав, закричал радостно:

— Господин! Пусть господин идет! Вода близко, я видел ее.

IV

Я вскочил на ноги. Я бросился вперед дикими скачками. Мстега бежал за мной, что-то громко крича. Скоро мне стало ясно, что посреди Проклятой пустыни была громадная котловина, в которой и стояла Гора. Я остановился только у края обрыва над этой котловиной.

Удивительная картина открылась перед нами. Пустыня обрывалась отвесом больше чем в сто саженей глубины. Внизу, на этой глубине, расстилалась равнина правильной эллиптической формы. Меньший поперечник долины был верст десять; противоположный край обрыва, столь же высокий, столь же отвесный, был отчетливо виден за Горой.

Гора стояла в самой середине долины. Высота Горы была втрое больше, чем высота обрыва, может быть, доходила до полуверсты. Форма ее была правильная, конусообразная. В нескольких местах форму эту нарушили небольшие уступы, обходившие вокруг всей Горы и образовавшие террасы. Цвет Горы был темно-серый, несколько с коричневым оттенком. На вершине можно было рассмотреть плоскую площадку, на которой возвышалось что-то ярко сверкавшее, как золотое острие.

Долина вокруг Горы была видна, как на плане. Она вся была покрыта роскошной растительностью. Сначала около самой Горы шли рощи, прорезанные узкими аллеями. Затем шел широкий пояс полей, занимавший большую часть всей долины; поля эти чернели только что вспаханной землей, так как был август месяц; там и сям бороздили их ручейки и канальчи-

ки, сходившиеся в нескольких озерках. У самого края обрыва опять начинался пояс пальмового леса, расширявшийся в узких заливах эллипса; лес был разделен на участки широкими просеками и кое-где состоял уже из старых деревьев, а кое-где еще из молодой поросли.

Нам были видны и люди. На полях всюду виднелись кучки негров, работавших мёрно, словно по команде.

Вода! Зелень! Люди! Что еще было нам нужно! Конечно, мы не очень долго любовались видом страны, я едва окинул ее взором, даже не понял ясно всех чудес этой картины. Я знал только одно: что мучения кончены и цель достигнута.

Впрочем, предстояло еще одно испытание. Надо было спуститься по отвесному обрыву в сто саженей глубины. Обрыв в верхней своей части состоял из тех же безжизненных сланцевых пластов, как и пустыня. Ниже начиналась более жирная почва, росли кустарники, трава. Мы спускались, цепляясь за выступы пластов, за камни, за колючие ветви. Над нами с криком кружили коршуны и орлы, гнездившиеся поблизости на уступах. Раз у меня из-под ног выскоцил камень, и я повис на одной руке. Помню, меня поразила моя рука, исхудавшая, на которой выступали все мускулы и вены. Саженях в трех от земли я оборвался снова и на этот раз упал. По счастью, трава была высокая, шелковистая. Я не разбрился, но все же потерял сознание от удара.

Мстега привел меня в чувство. Поблизости оказался источник, обложенный тесанными камнями, который живым ручейком убегал вдаль, к середине долины. Несколько капель воды возвратили меня к жизни. Вода! Какое блаженство! Я пил воду, я дышал свежим воздухом, валялся по сочной траве и смотрел на небо сквозь веерную зелень пальмы. Я без раздумий, без мысли отдавался радости бытия.

V

Шум шагов вернул меня к действительности. Я вскочил на ноги, проклиная себя за то, что мог так забыться. В одно мгновение вихрем пронеслось в моем уме сознание нашего положения. Мы были в стране, населенной неизвестным племе-

нем, ни языка, ни обычая которого мы не знали. Мы были обессилены страданиями тяжкого пути и долгим голоданием. Мы были без оружия, потому что в пустыне я побросал все, все — даже ружье, даже свой неразлучный стилет... Но я еще не успел принять никакого решения, как на полянке показалась кучка людей. Один из них был до пят закутан в сероватый плащ, остальные были голые негры бечуанского типа. Видимо, они нас искали. Я двинулся им навстречу.

— Привет владыкам этой страны! — громко и отчетливо произнес я на наречии бечуанов. — Странники просят у вас приюта.

Слова свои, сколько возможно, я пояснял знаками. При моих первых словах негры остановились. Но тотчас же человек в плаще закричал им тоже по-бечуански, хотя и с особым выговором:

— Рабы, повинуйтесь и исполняйте.

Тогда пятеро человек с исступленным ревом кинулись на меня. Я думал, что меня хотят убить, и встретил первого таким ударом кулака, что тот покатился по земле. Но мне было не под силу бороться с несколькими врагами. Меня повалили и крепко связали особыми ремнями. Я видел, что то же сделали и с Мстегой, который не оборонялся. Затем нас подняли и понесли. Я понимал, что кричать и говорить бесполезно, и только замечал дорогу.

Нас долго несли полями, быть может, и час. Везде видны были кучки работающих негров, удивленно останавливавшихся при нашем приближении. Потом пронесли нас через лесок около Горы. В самой Горе стала видна темная арка, ведущая в ее недра. Нас внесли под ее желтые своды, и начался путь по каменным проходам, скудно освещенным редкими факелами.

По узким спиралям спустились мы куда-то вниз, и на меня повеяло сыростью погреба или могилы. Наконец меня бросили на каменный пол во мраке подземной темницы, и я остался один. Мстегу унесли куда-то в другое место.

Сначала я был ошеломлен, но понемногу оправился и стал осматривать свое помещение. То была темница, высеченная в самом сердце Горы; в длину и ширину она была сажени полторы, в высоту немногим выше человеческого роста. Темница

была пуста — не было ни ложа, ни соломы, ни кружки с водой. Уходя, бросившие меня негры задвинули вход тяжелым тесанным камнем, который я не мог пошевельнуть. Попытался я было ослабить свои путы, но и это оказалось мне не под силу. Тогда я решил ждать.

Через несколько часов послышался мне гулкий стук шагов по каменному сходу. На серые своды упали красноватые отблески факелов. Отвалили камень у входа. В мою тюрьму вошли двое человек, закутанных в серые плащи, за ними виднелось пятеро голых негров. Один из бывших в плаще направил свет факела мне в лицо и сурово спросил:

— Чужеземец, понимаешь ли ты меня?

Вопрос был предложен по-бечуански, но произношение отличалось особым изящным выговором.

— У всех народов, — отвечал я, — почитают гостя. Я пришел к вам как гость, как друг. За что вы связали и бросили меня, как злодея?

Человек в плаще спросил меня:

— Откуда ты прибыл?

— Я житель Звезды! — бросил я ему.

Двое, бывшие в плащах, переглянулись. Я в это мгновение разглядел их лица: по цвету кожи они приближались к арабам. Говоривший со мной спросил опять:

— С какой Звезды прибыл ты?

Я побоялся назвать Марс.

— С утренней и вечерней, потому что это одна и та же Звезда, только видимая в разное время. Я сын царя этой Звезды. И мой отец сумеет отомстить за меня, если вы сделаете со мной что-нибудь дурное; он сожжет ваши поля, раздавит самую Гору...

— Мы не боимся ничьих угроз, — прервал меня человек в плаще.

— По нашим законам чужеземцы, зашедшие к нам из других стран, становятся рабами, но ты прибыл со Звезды и потому умрешь.

— Вы не посмеете! — вскричал я.

— Я, член верховного совета, Болло, зять царя, ныне собственной властью приговариваю этого человека к смерти. Рабы, повинуйтесь и исполняйте.

Сразу на меня бросились пятеро. Меня быстро развязали. Четверо негров навалились мне на руки и на ноги, пятый сел мне на грудь и приготовил нож. Я видел над собой его отвратительное лицо. Палач ждал знака, я же, задыхаясь, выкрикивал:

— Это стыд, это убийство... Вы нарушаете свои законы, вы нарушаете законы всех людей. Гость священен...

Болло холодно сказал мне:

— Мы законы исполняем. Твой раб будет нашим рабом, а ты умрешь.

И он уже повернулся, видимо, чтобы уйти. В отчаянной тоске я рванулся за ним, я звал его:

— Остановись! Пусть и я буду рабом! Буду служить вам верно, покорно... Какая выгода меня убивать... сжалитесь.

Болло опять обернулся.

— У тебя кожа белая, — проронил он.

— Так что ж, что белая! Разве я не могу работать! Я могу быть рабом. Я силен!

— Но ведь ты житель Звезды?

— Да, я житель Звезды, — с непонятным упорством прохрипел я, уже задыхаясь, — но это ничего! Я солгал, что за меня отомстят. Я не могу подать знака своим. Я бессилен. Я не опасен вам. Сжалитесь, сделайте меня рабом.

Не знаю как, я несколько высвободился, я тащился по каменному полу за своим судьей, ловил край его одежды.

Второй человек в плаще, до сих пор молчавший, что-то сказал Болло на языке, мне непонятном. Болло опять обернулся. Я видел, что он улыбался.

— Хорошо, — медленно сказал он мне, — ты будешь рабом, ты способен быть рабом.

VI

Меня повели вверх по прежним переходам, ежеминутно толкая вперед, потому что я был очень слаб. После довольно долгого пути открылась громадная [полутемная] зала, под сводами которой лежала вечная мгла. Красное зарево костров смутно озаряло толпу рабов в несколько тысяч человек, дли-

кую, шумную. При нашем появлении все, бывшие поближе, сразу стихли.

— Завтра тебе укажут работу, — сказали мне.

Я остался один в толпе дикарей и от усталости; тут же упал на пол. Вокруг меня тотчас столпились любопытные. Меня рассматривали, трогали мою кожу, надо мной хохотали. Я не сопротивлялся. Наконец протиснулась ко мне древняя старуха, которая пожалела меня.

— Видите, он устал, пусть отдохнет, — сказала она другим.

Я попросил есть. Старуха принесла мне маису. Я накинулся на него с жадностью.

— Ты откуда? — спросила у меня старуха, сидя около меня на корточках.

— Из другой земли, из другого народа.

Старуха меня не поняла, а только покачала головой. Тогда я спросил ее в свой черед:

— А кто люди в плащах?

Старуха удивилась:

— Да лэтеи.

— Что значит лэтеи?

— А господа наши. Мы рабы, а они лэтеи.

— Видишь ли, бабка, — сказал я. — Я пришел очень издалека За соляной пустыней живут другие люди. О вас мы ничего не знаем. Расскажи мне, как вы здесь живете.

— Как живем? Как все живут. Работаем.

— А что же делают лэтеи?

— Как что? Они наши господа.

— Где же лэтеи?

— А наверху.

Я смутно начинал угадывать истину. Но утомление мешало мне расспрашивать дальше. Я опустился на грязную циновку и под рев многотысячной толпы заснул железным сном

Утром меня разбудил оглушительный бой барабана. Рабы покорно поднимались и шли к выходу. Я побрел за другими. У дверей особые распорядители [разбивали] нас в отряды и уводили на отдельные участки поля работать. Солнце только что показывалось из-за края обрыва. Мне дали лопату, и вместе с другими я стал вскапывать поле. Надсмотрщики все время бро-

дили около и нещадно били палками по плечам всякого заленившегося. Побои принимались рабами молча и покорно. В полдень был отдох час на два, нам опять дали маису. Я пытался заговорить со своими сотоварищами, но они не отвечали. После обеда работа возобновилась и продолжалась до захода солнца.

Вечером нас опять загнали в залу нижнего этажа. Женщины, проводившие день за тканьем и другими ручными работами, уже ждали нас. Начался ужин и оргии животного отдыха. Каменное эхо стен гремело от рева и хохота...

Я блуждал по зале среди веселящихся рабов. Любопытные ходили за мной. Я видел стариков, уныло и молчаливо сидящих вокруг костра, видел молодежь, спешившую грубо наслаждаться часами свободы, видел матерей, как тигрицы ласкающих и кормивших своих детей, с которыми весь день они были разлучены. Я видел везде отупелые лица, слышал бессмысленные восклицания. Даже мне, привыкшему к жизни дикарей, сделалось страшно [от] этого животного состояния цеплого племени.

В одном из углов я увидел Мстегу. Вокруг него собралось несколько юношей, с любопытством слушавших его рассказы. Увидев меня, Мстега дико обрадовался, бросился ко мне, упал в ноги.

— Господин! — твердил он. — Господин!

— Молчи, — сказал я ему. — Здесь не хотят знать, что я господин. Они жестоко поплатятся. Кто знает, может быть, вся Гора будет стерта с земли.

Я заметил, что слова мои произвели впечатление. Когда немного погодя я подошел к кружку стариков, гревшихся у костра, один из них сказал мне:

— Нехорошо, друг, говорить такие слова, как ты сказал.

Я возражал ему почтительно:

— Отец мой! Посуди сам. На родине я царский сын. Сюда пришел по своей воле, а не взят в плен во время войны. Почему же они не приняли меня как гостя, а обходятся со мной жестоко?

— Сын мой, — важно отвечал мне старик, тряся седой головой над пламенем, — не знаю, что говоришь ты о другой стра-

не, я слышал о ней и в юности, но не знаю. Здесь же надлежит повиноваться лэтеям! Много тысяч зим прошло, как стоит эта Гора, и доныне ничем не потревожена власть их. Все другие были рабами, господа только лэтеи. Так идет от начала, сын мой! Поверь старику, который много слышал.

Другие старики, все сморщеные, безобразные, одобрительно закивали головой. Но когда я вернулся в свой угол и наконец остался один, ко мне подошел юноша лет восемнадцати. Он стал передо мной на колени, как перед лэтеем, и сказал мне:

- Меня зовут Итчуу, я тоже верю, что ты господин...
- Я видел, что он хочет еще что-то добавить, и спросил его:
- А ненавидишь ли ты лэтеев?
- Очи юноши ясно засверкали во мраке, и он прошептал, глядя прямо на меня:
- Клянусь предками и солнцем ненавидеть их всегда и сделять им столько зла, сколько могу.

Это восклицание заронило в мою душу смутную надежду. Но, засыпая на грязной циновке, как раб среди рабов, готовясь завтра снова начать день мучительного труда, я с отчаянием думал, что Гора так же далека от меня, как и в Проклятой пустыне. Я здесь, в ее стране, но свою жизнь она таит от меня ревниво. Кто эти лэтеи, истинные властители страны? Какая жизнь, какие чудеса свершаются там, в таинственных переходах верхних этажей? И еще сильней, чем в Пустыне, Гора Звезды влекла к себе мои помыслы. Засыпая, я давал себе клятву остаться в этой стране, пока не озарю эту тайну до дна.

VII

В несколько дней я совершенно вошел в новую жизнь. Я покорно работал в поле, исполнял повеления надсмотрщиков, но пользовался всяkim случаем, чтобы увеличить свое значение среди рабов. Я рассказывал им любопытные истории, рисовал углем их портреты, лечил как умел, во время работы придумывал разные приспособления, чтобы облегчить труд. Так, когда мы поднимали бревна, я устроил блок, вешь, здесь невиданную, смотреть которую приходили и лэтеи.

Среди рабов я пользовался большим почетом. Итчуу и еще двое юношей поклонялись мне. Даже старики стали смотреть на меня менее враждебно. Но все мои попытки ближе взглянуть на жизнь таинственных владык Горы оставались тщетными. Я видел лэтеев лишь как надсмотрщиков, да изредка на террасах, опоясавших Гору, мелькали сероватые силуэты. Но я уже знал, что по ночам, когда рабы заперты в своей зале, лэтеи спускаются в долину и гуляют по аллеям между лугов под деревьями. Я уже знал, угадывал, что там, наверху, есть роскошь, есть наука искусства. Однажды всю ночь простоял я у входа в нашу залу, слушая звуки нежной музыки, долетавшие откуда-то сверху.

На седьмой или восьмой день моей жизни рабом пришел праздник Посева. В этот день сам царь со свитой объезжает поля. С утра нас вывели в поле и построили, как солдат, в ряды у дороги. Насколько хватал глаз, везде на полях видны были такие же правильные группы рабов. Надсмотрщики хлопотали, устанавливая их красивее и втолковывая, как надо приветствовать царя, вельмож и царскую дочь. Лэтеи имели свой особый выход из Горы, с противоположной стороны, чем рабы; поэтому мы не видели, как царский поезд вышел в долину. Только громогласные крики, долетавшие до нас, показали, что объезд начался Нам, однако, пришлось ждать своей очереди до полудня.

Крики понемногу приближались к нам. Наконец стали видны царские носилки. Их несли шестеро дюжих рабов. Около каждого поля царь останавливался и милостиво беседовал с надсмотрщиками. Когда царские носилки поравнялись с нами, я успел рассмотреть царя. То был уже совершенно седой старик, но с осанкой истинного владыки. Черты лица его были правильны и напоминали тип древних египтян. Одет он был, как все лэтеи, в сероватый плащ, но на голове его было особое украшение, служившее короной, все усыпанное самоцветными камнями.

Мы, как было приказано, упали на колени и прокричали «Лэ!», царь проговорил несколько слов на особом лэтейском языке, обращаясь к нашему надсмотрщику, потом махнул рукой, и носилки направились дальше. За царем шла длинная процессия лэтеев, женщин справа, мужчин слева. Все были в серых плащах, все с украшениями из драгоценных камней и золота. Ноги были в сандалиях. Волосы у мужчин обрезаны, у

женщин собраны в красивые прически. Некоторые держали в руке какой-то музикальный инструмент в виде лиры и пели. Другие разговаривали между собой и смеялись. Лица их почти все были очень красивы, только бледны слишком.

Мы кричали [«Лэтэтэ!»], пока процессия проходила. За лэтями, шедшими пешком, рабы опять несли носилки. То была дочь царя, царевна Сеата. Ее носилки были маленькие, изогнутые, тоже убранные блестящими камушками. Царевну не было видно за розовыми полами из какой-то тонкой материи. По сторонам носилок шло несколько юных лэтеев, очень хорошеньких.

Когда носилки поравнялись с нами, царевна вдруг открыла розовые полы и сделала знак остановиться. Я увидел бледное красивое лицо, большие черные глаза и прелестную руку. Царевна подозвала знаком надсмотрщика и что-то говорила ему. Но мне показалось, что она смотрела все время на меня. Конечно, она слышала о странном [иностранице], а из числа рабов я выделялся цветом кожи. Вот скрылись и носилки царевны. Весь поезд прошел дальше и скрылся за поворотом. Скоро и нам объявили, что мы свободны, загнали нас в нашу залу и дали бочку хмельного маисового напитка, встреченного рабами с ревом восторга...

Но в моей памяти запечатлелось глубоко лицо царевны Сеаты. Безумная мечта овладела моей душой, и я не мог с ней бороться. Я почему-то был уверен, что именно она связана с моей жизнью. Так, задумавшись, сидел я в стороне от гогочущей толпы, когда ко мне подошел Итчуу.

— Учитель, — сказал он, — я хочу тебя спросить.
— В чем дело, друг?
— Скажи мне, что лэтеи — люди?
— Как? Люди ли?
— Разве они такие люди, как мы? И они умирают?
Я уже понял.
— Конечно, они люди, такие же, как ты, как все здесь. Конечно, они умирают. Неужели ты никогда не узнавал, что умер царь, или надсмотрщик, или еще кто...
— Нет, не слыхал, — пробормотал юноша.
Он отошел от меня еще в некоторой неуверенности...

VIII

На ночь все рабы должны были собираться в большой зале нижнего этажа Горы. Зала эта имела в поперечнике не меньше ста саженей и занимала, вероятно, больше трех десятин пространства. В нее вел широкий проход длиною саженей в пятьдесят. Ночью проход этот задвигался особыми камнями, и на стражу становился очередной лэтей, который должен был убивать каждого раба, который попытался бы выйти в долину.

Несмотря на то, рабы умели обманывать бдительность сторожа, и нередко смельчаки уходили ночью в Гору искать добычу; особенно ценились оружие и водка. Порция хмельного напитка, розданная на празднике Посева, разлакомила рабов. На другой день вечером пошли толки, что хорошо бы было раздобыть еще водки. Идти на добычу вызвались двое: Ксuti, человек бывалый, уже немолодой, и мой знакомец, Итчуу. Я попросил, чтобы взяли и меня. Старики после некоторого колебания согласились.

Первая трудность состояла в том, чтобы проскользнуть мимо сторожа-лэтая у выхода из Горы в долину. Нам это не оказалось трудным. Лэтей дремал, положив около себя свой короткий меч. Мы проползли осторожно через поляну перед самой Горой, так как нас могли заметить с террас. В первом леске мы встали на ноги.

Тишина царила над долиной. Лэтей утомились вчера в день праздника. Никто не вышел гулять в лунном свете. Пустынны были красивые аллеи среди вечерних пальм. Никого не было видно и на отдаленных террасах. Однако, соблюдая осторожность, мы пробирались от дерева к дереву и так обошли весь полукруг Горы. Там был второй вход в нее, ведший сначала в кладовую, а потом крутой лестницей уходивший в верхние этажи. И у этого входа всю ночь стоял на страже кто-нибудь из лэтеев.

Выйдя опять на поляну, мы поползли снова. Скоро я разлил сторожа. Он сидел под сводом входа, голова его свешивалась на грудь, он тоже спал. Сторожить, видимо, стало для лэтеев простой условностью, проформой.

— Мы можем проскользнуть мимо него, он не услышит, — сказал я своим спутникам

Действительно, я прополз в двух шагах от спящего лэтея, я отчетливо видел его бритое лицо и золотые кольца на его пальцах, но он даже не пошевелился. Ксuti последовал за мной.

— Здесь, — сказал мне Ксuti, когда на конце короткого прохода открылась зала, похожая на нашу залу Рабов, но меньшая по размерам. — Здесь и акэ [водка], и хлеб, и топоры.

Я взглядался во мрак, к которому начинали привыкать мои глаза, как вдруг меня поразил тихий смех сзади. Ксuti, весь затрепетав, посмотрел на меня. Смех шел от входа. Мы пошли назад. Под сводом лежал неподвижно лэтей-сторож, а над его телом сидел на корточках наш Итчуу и, покачиваясь из стороны в сторону, неудержимо смеялся.

— Что с тобой, Итчуу? — спросил я.

— Смотри, учитель, смотри... он мертв! Лэтей — люди!.. Они умирают.

Итчуу, ползший сзади нас, задушил сторожа.

Ксuti был [смертельно] испуган.

— Быть беде, — твердил он, — ты слишком молод, ты не знаешь, что теперь грозит нам! Горе! Горе!

— Да, ты это сделал напрасно, — сказал я. — Завтра его найдут и догадаются, что мы сюда приходили.

— Нет, учитель, я его унесу в лес и закопаю. А он мертв! Мертв!

Юноша готов был плясать. Но нам нельзя было терять много времени. Мы опять пошли в кладовую. Ксuti, бывавший уже здесь, провел нас прямо к бочкам с водкой. Оба негра стали жадно наполнять принесенные с собою сосуды и тут же пробовать дорогой напиток.

— Не пейте много, — строго заметил я, — иначе, опьянев, вы заснете и завтра лэтей убьют вас.

Но мне не хотелось оставаться с ними. Я различал во тьме лестницу, которая вела в верхние этажи, в это таинственное царство таинственных лэтеев. Я не мог преодолеть искушение, я решился проникнуть туда. Я уже сделал несколько шагов вверх, когда у меня мелькнула новая мысль. Я вернулся назад ко входу, где лежал мертвый лэтей, снял с него плащ и завернулся в него. Это могло спасти меня при какой-нибудь неожиданной встрече.

Так в плаще лэтея поднялся я по лестнице. Она вывела во второй этаж в центральную залу. В этой зале горели два факела. Она была пуста. Никакого убранства в ней не было. От нее радиусами исходило пять коридоров, ведших, вероятно, в жилища лэтеев. Я не решился идти туда, а пошел выше. После трех поворотов я оказался в третьем этаже. На этот раз это была роскошно убранная зала, ярко озаренная факелами и блестящими украшениями из самоцветных камней и блестящих металлов. Потолок ее изображал звездное небо. Созвездия были сделаны из крупных алмазов, а семь планет из рубинов, особенно ослепительным сделан был Марс; вокруг рубина, изображавшего его, шла кайма из мелких бриллиантов. На одной стене было изображено Солнце из золота, а на противоположной — изображение Луны из серебра. Я долго [блуждал] в этой зале, а после хотел идти через широкую арку в соседнюю, но там я увидел, что перед желтым балдахином, закрывавшим вход в следующую комнату, спали на коврах лэтеи, положив около себя мечи. Я догадался, что это была дверь в комнату царя. При звуках моих шагов один из стражей проснулся, поднял голову и открыл сонные глаза, но тотчас же опять опустился на ковер, и опять послышалось его ровное дыхание. Однако я пошел назад и попал в узкий проход. Он вывел меня на террасу. Полная луна светила ярко. Широкая терраса была пустынна. Только на противоположном от меня краю стояла одиночная фигура женщины, облокотившейся на парапет. Я приблизился. То была царевна Сеата.

IX

Несколько мгновений я колебался, потом выступил вперед, стал прямо перед царевной. Она вздрогнула, вскрикнула, что-то спросила на языке лэтеев. Я опустился на колени и сказал:

— Царевна, я царский сын, у вас я раб, я несчастный, который пришел сюда, чтобы посмотреть на тебя.

Лунный свет падал прямо мне в лицо. Сеата не могла меня не узнать.

— Зачем ты пришел? — медленно проговорила она, как бы колеблясь, не зная, как ей поступить.

— Я видел тебя однажды, царевна! Ты показалась мне прекраснее всего, что я видел и на своей Звезде, и на этой. Я пришел еще раз взглянуть на тебя и умереть.

Царевна молчала, глядя мне прямо в глаза. Я трепетал.

В ответ на мои пышные речи она сейчас могла позвать стражу, и я бы погиб... Но опять медленно и раздельно царевна спросила меня:

— Ты прибыл к нам со Звезды?

— Да, с утренней Звезды, с того мира, который бывает виден здесь, как яркая звездочка перед восходом.

— Зачем покинул ты родину?

— Я предугадывал, что увижу тебя, царевна!

Но так как мои листивые слова прозвучали слишком грубо, я поспешил добавить еще:

— Тягостно жить, царевна, в одних изведенных пределах. Душа жаждет иного, нового, хочет проникнуть в области Тайны. Все неведомое влечет к себе.

Лицо царевны странно ожилось, я видел, как тени забились на ее чертах.

— Ты хорошо говоришь, чужестранец, — промолвила она. — Скажи мне, у вас, на вашей Звезде, все то же, что здесь, или иное? Иное небо? Иные люди? И жизнь?

— Там много, царевна, такого, о чем ты не можешь помыслить, о нашей жизни, не знаю, сумела бы ты мечтать. Ты не должна обижаться, царевна. Я жалкий раб в вашей стране, но я говорю правду. Насколько здесь, в стране Звезды, вы стоите выше рабов, настолько мы в нашей стране выше вас. Наши знания для вас тайна, наше могущество — чудо. Подумай, что я мог прибыть к вам через звездные пространства.

Высказывая эти гордые слова, я встал с колен, я говорил властно, и царевна впивалась в каждое мое слово, упиваясь ими.

Вдруг она отшатнулась.

— Скажи мне, кто там? — воскликнула она.

Я обернулся. Через поляну, ярко озаренную луной, явственно переходили две тени. Это возвращались Ксuti и Итчуу. Оба они были пьяны, забыли о необходимых предосторожностях и прямо через поле тянули куда-то труп убитого лэтея.

С горечью отвечал я царевне:

— Это два моих сотоварища. Они показали мне путь сюда. Сами же они ходили воровать водку. Вот я раб, царевна! Вы сделали меня рабом! Прощайте же, я должен вернуться во мрак... Впрочем, вероятно, вы прикажете завтра умертвить.. Видишь, они несут тело... Это они убили лэтея... [...] Прощай же навсегда, царевна.

Последние слова я договаривал, сбиваясь. Царевна молчала, и это лишало меня уверенности. Я резко повернулся, чтобы уйти

Вдруг царевна окликнула меня:

— Чужеземец, постой! Я хочу еще говорить с тобой. Ты не должен умереть. Мне еще надо говорить с тобой.

— Может быть, это в твоей власти, — холодно сказал я

Царевна задумалась.

— Слушай меня, — сказала она после долгого [нового] молчания, — я не могу нарушить законов страны. Вернись осторожно туда... к рабам... где ты всегда... Завтра я позову тебя.

И вдруг, отшатнувшись, она закрыла лицо руками. Я медленно пошел прочь, прошел через Звездную залу во второй этаж, потом в нижний. Никто меня не видел. Я перешел твердым шагом, не наклоняясь, через поляну и вернулся ко входу в залу Рабов. Сторож-лэтий спал по-прежнему.

Скоро я был снова среди рабов. Толпа дико ликовала вокруг принесенной водки. Увидя на мне плащ лэтея, все пришли в бешеный восторг. Пьяный Итчуу, шатаясь, подошел ко мне.

— Учитель, — сказал он умиленно, — ты прав... ты совсем прав... Лэтии — люди... Но ведь и ты человек, учитель..

И он начал хохотать бессмысленным смехом

X

На другой день утром, когда я уже работал в кокосовом лесу к нашему надсмотрщику подошел посланный раб. Он стал на колени и показал ему красиво сработанный браслет

— Господин, я от царевны, — сказал он, — она хочет, чтобы ты прислал к ней того раба, который у нас недавно, с белой кожей

Наш надсмотрщик почтительно поцеловал браслет, поманил меня пальцем и грубо приказал мне идти за посланником Я

повиновался молча. Так странно было мне идти свободно по широкой дороге, среди работающих рабов. По той же лестнице, где я прошел вчера, мы поднялись во второй этаж. Если нам встречались лэтеи, проводник мой падал на колени я делал то же. Из Круглой залы в третий этаж оказалась еще вторая лестница, узкая и темная, совершенная нора, нарочно сделанная для рабов. Она вывела нас в небольшую комнату, служившую царевне как бы прихожей.

— Подождем, — угрюмо сказал мой вожак.

Я спросил его, кто он, раб ли самой царевны, но он не ответил. Скоро из комнаты царевны выбежали две молоденькие рабыни, увидали меня, закачали головами и снова убежали. Вернулись они с тазом из цельной яшмы с теплой водой и, хохоча, начали меня отмывать. Я втайне был очень рад этому. Потом на меня накинули особый короткий «полурабский» плащ, так как я был совершенно без одежды. Эти две девушки тоже не отвечали на мои вопросы, но были очень смешливы и хохотали без умолку.

Наконец, в последний раз осмотрев меня, они порешили, что я достоин предстать перед светлые очи царевны. Меня провели через второй покой в опочивальню.

То была небольшая комната, красиво убранная изумрудом и бирюзинками. Факел, [стоявший] в изящной подставке посередине, освещал ее довольно полно. Царевна полулежала на каменном ложе, покрытом подушками из орлиного пуха. Две другие рабыни держали около нее два маленьких благоуханных факела, не для света, а для аромата. Ручной орленок стоял у ног царевны.

Я вошел и поклонился по-европейски. Царевна наклонила в знак приветствия голову.

— Мы слышали, — сказала она мне, — что ты прибыл к нам с другой Звезды. Я тебя позвала, чтобы ты рассказал мне о своей родине.

Я знал, что от моего рассказа зависит мое будущее, что я должен увлечь царевну, пленить ее, что только это даст мне надежду проникнуть в ревниво хранимую Тайну Горы.

Я начал говорить. В ясных, простых, но яких словах описывал я чудеса европейской цивилизации, многомиллионные го-

рода, железные дороги, переносящие через тысячи верст со скоростью ветра, океан и покорившие его пароходы, телеграф и телефон, переводчики мысли и голоса. Со своей родной Звезды перешел я ко вселенной, стал рассказывать о Солнце, о безмерных пучинах пространства, о звездах, свет которых до бегает до нас через тысячи лет, о планетах и законах, которые неуклонно стремят их вдоль по их орбитам. Я прибавлял вымыслы к истине, говорил о двойных солнцах, о зеленой заре, созданной лиловым светом второго светила, о живых растениях, ласкающих друг к другу, о мире ароматов, о мире вечно блаженных бабочек андрогин. Я по пути сообщал неожиданные тайны науки о воздухе и электричестве, намекал на истинны математики, сколько мог приводил в переводах наших поэтов... Я замолчал только после того, как мой голос окончательно перестал служить мне, в полном изнеможении...

Я говорил часа три, может быть, больше. Все это время царевна слушала меня с неослабевающим вниманием. Я видел, что она была захвачена рассказом, я победил. Но лучшим торжеством моего рассказа было то, что то у одной, то у другой рабыни вырывались восклицания:

— Как хорошо! Ах, что за чудеса!

Когда я замолчал окончательно, Сеата встала со своего ложа.

— Да, ты умней всех наших мудрецов, — сказала она восторженно, — не работом тебе здесь быть, а учителем. А как жаль, что ты не говоришь на нашем языке!

Царевна заметила, что я затрудняюсь в выборе выражений; меня стеснял бедный, неразработанный язык бечуанов.

— Дело нетрудно поправить, — заметил я, — поучи меня, царевна.

— Как? Изучить наш язык? — невольно воскликнула царевна. — Да разве ты сможешь?

Я улыбнулся.

— Царевна! Я знаю языки всех народов, живущих и живших на нашей Звезде, языки, звучные, как хрусталь, и гибкие, как стальные полосы. Посмотрим, однако, каков ваш язык.

И я стал задавать грамматические вопросы, приведшие царевну в совершенное изумление своей точностью и методичностью.

— Нет! Я больше не расстанусь с тобой, — решительно сказала царевна. — Скажи мне, как звали тебя в твоей стране?

— Зачем заходить так далеко, царевна, — возразил я. — Здесь на первых порах меня прозвали Толе, то есть камень. Оставь за мной это имя.

— Хорошо, пусть будет так. Я жалую тебя, Толе, своим учителем и прошу тебя принять эту должность.

Я отвечал, что буду счастлив быть близ царевны.

Сеата ударила в маленький ручной барабан. Вошел тот же раб, который привел меня сюда.

— Ступай отыщи начальника работы, — сказала царевна, — и скажи, что я беру этого чужестранца к себе. После ступай к начальнику зал и прикажи найти свободный покой в третьем этаже. Чужестранец будет жить здесь. Так хочет царевна.

XI

С того же дня я поселился в маленькой комнатке третьего этажа. В этом третьем этаже жили лишь знатнейшие лэти, потомки трех семейств, которым в разное время принадлежала в стране царская власть. Как слугу я взял к себе Мстегу.

В законах страны было определенно сказано, что все чужестранцы должны становиться рабами; поэтому я считался личным рабом царевны. Такого послабления она добилась не без труда, сама ходила просить отца, и тот наконец уступил. Впрочем, мне приказано было явиться к Болло, чтобы выслушать его предупреждения. Не без неприятного чувства представал я перед этим вельможей, который видел мои унижения, которого я молил о жизни, хватаясь за край одежды. Болло заставил меня долго прождать себя, наконец появился в сопровождении двух рабов, несших факелы. Я приветствовал его поклоном, и мы несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Он заговорил первый:

— Итак, ты уже не считаешь себя рабом? Не считаешь нужным стать на колени? С каких это пор?

Я отвечал твердо:

— Приходя к вам, я не знал ваших жестоких законов. Гость везде священен, вы же обошли со мной как со злодеем Я

подчинился силе, мог работать как раб, но сделать рабом меня не может никто. Я по рождению свободный, я царский сын, я оставался им и в рабстве.

Болло смотрел на меня почти с насмешкой.

— Наша царевна, — сказал он с ударением, — хочет, чтобы ты забавлял ее. Мы согласились. Ты можешь жить там, где она тебе укажет. Помни, однако, что такова воля царевны. Если она изменит решение, ты вернешься на свое место к рабам. Ступай.

Я молча повернулся. Но Болло, видимо, не кончил, он опять позвал меня.

— Слушай еще. — Тут лицо его стало мрачным. — Недавно один из наших, стоявших на страже, исчез неизвестно куда. Прежде этого не бывало. Молчи! Не возражай мне! Если еще раз я узнаю, что ты склонял рабов к чему-либо подобному... знай, сумеем найти пытки, о которых ты не слыхивал на своей Звезде. Ступай! Нет, стой еще. Помни, что мы за тобой следим. Царевна может забавляться, мы же обязаны блюсти безопасность страны. Ну, теперь ступай совсем.

Я вышел в бешенстве.

Меня успокаивал, впрочем, истинный восторг царевны. Она упивалась моими уроками. Она готова была учиться с утра до вечера. Я знакомил ее с европейскими методами математики, с физикой, с философией и с историей наших классических народов. Со своей стороны, я жадно учился языку лэтеев и пользовался всяким случаем, чтобы ближе ознакомиться со страной. Мне помогало то, что царевна несколько стыдилась передо мной за свою страну; желая показать мне, что и они стоят не на низкой ступени развития, она показала мне много чудес, скрытых в Горе. Я видел роскошно убранные залы третьего этажа, среди которых, однако, Звездная зала была самой любопытной. Я видел музеи и библиотеки четвертого этажа. У лэтеев была самостоятельная литература; книги писались на тонких листах золота заостренным алмазом.

В музеях были собраны редкие камни, замечательные изделия из металлов и целый ряд прекрасно выполненных статуй. Некоторые были из бронзы, другие из камня, но самые заме-

чательные были те, которые были высечены из самой толщи скалы, образовывали одно целое с полом, на котором стояли

Но все мои попытки проникнуть выше, в пятый этаж, в Царство Тайны, как его называли, царевна отклоняла. Там жили жрецы, туда собирались на молебствия, и для меня вход туда был решительно закрыт.

Вместе с тем, ближе знакомясь с жизнью лэтеев, я яснее чувствовал, что в ней была какая-то тайна. Лэтеи употребляли некоторые слова в каком-то особом смысле: «звезда», «наши» «глубина» — они разумели под ними что-то особое.

Однажды я решился прямо спросить Сеату:

— Скажи мне, царевна, ваш народ не пришел сюда тоже с другой Звезды?

Сеата явно вздрогнула и после молчания сказала решительно.

— Об этом нельзя говорить. Ты не знаешь, но здесь есть то, о чем нельзя говорить. Не спрашивай меня никогда о наших тайнах.

Я должен был повиноваться.

Через неделю я уже мог объясняться на языке лэтеев. Скоро я начал свои уроки читать на том же языке. Слушать меня, кроме царевны, собирались другие молодые люди и подростки. Я знакомил их с европейскими методами математики, с зачатками физики, излагал им учения наших величайших философов и пересказывал истории классических народов; именно история больше всего увлекала моих слушателей.

XII

Я не сразу понял, чего искала во мне Сеата, каковы были ее истинные чувства ко мне. Это непонимание привело меня к очень тяжелой сцене еще в первые дни моей жизни среди лэтеев.

Только научился я немного говорить на языке лэтеев, как царевна пригласила меня на большую охоту за орлами; то была самая любимая забава лэтеев. Я согласился, хотя и знал, что присутствие мое будет ненавистно многим из обычных спутников царевны, которые тяготились обществом бывшего раба. Действительно, мне пришлось вынести немало презрительных взглядов и колких замечаний. Особенно враждебно относился

ко мне Латомати, изящный юноша из третьего этажа, значит, из знатнейших лэтеев; так, он, обращаясь ко мне, упорно пользовался наречием бечуанов, [которым] говорят с рабами, и я не мог ничего возразить, потому что действительно побечуански объяснялся лучше, чем по-лэтейски.

Охота была устроена ночью, так как днем сходить в долину считалось неприличным. Месяц был на ущербе, но все же светил довольно ясно. Охотников, кроме меня и царевны, было восемь человек, среди них две девушки. Все шли, оживленно болтая, до края котлована, что составляло верст пять. В нескольких местах снизу были устроены всходы к Проклятой пустыне. По одной из этих тропинок мы начали подыматься.

Надо было при лунном свете разыскивать орлиные гнезда, подкрадываться к ним и бить орлов стрелами. Это было довольно занимательно и не совсем безопасно. Охотники рассеялись. За каждой дамой следовали ее кавалеры. За царевной шел Латомати, потом некто Болалэ и я, как ее раб.

Мы увлеклись охотой. Латомати выследил гнездо, но не сумел подкрасться. Орлица, заслыша шаги, взлетела, но, оберегая неоперившихся птенцов, начала носиться над нашими головами; со страшным шумом рассекала она воздух в полете. Латомати выстрелил из лука, но промахнулся. В бешенстве он напал на птицу со своим коротким мечом. Болалэ пытался взять из гнезда орленка. Орлица налетела на него.

Царевна же заметила другое гнездо, повыше, и, сделав мне знак следовать за ней, стала подниматься. Мы подкрались довольно удачно, царевна спустила лук, но тоже промахнулась. Орел взлетел ракетой, покружился минуту в воздухе, упал и заковылял по камням дорожки. Мы бросились его преследовать.

Так все охотники потеряли один другого из виду. Я случайно поднял в это время голову и был поражен. Громадная черная туча закрывала небо. Надвигалась страшная тропическая гроза, ураган, который бывает однажды в несколько лет, но остается памятным на целые десятилетия.

— Царевна, — окликнул я, — надо бежать!

Но было уже поздно. В две-три минуты туча закрыла все небо, луну и свет звезд. Наступил непроглядный мрак. Затем

зывал ветер, внизу под нашими ногами застонали пальмовые деревья.

Уцепившись за кусты, мы едва могли держаться на узкой тропинке, извивавшейся по отвесу. Хлынул африканский ливень, сразу пронзивший нас, ударявший по телу, как тяжелый град. Земля стала скользкой. Беспрестанные молнии разверзали небо, и грохот грома не прекращался вовсе.

Каждое мгновение мы могли скатиться в пропасть. Я уперся твердо в какой-то камень и поддерживал царевну, которая жалко перепугалась. При блеске молний я видел ее совсем побледневшее лицо и пальцы, конвульсивно сжимавшие ветку кустарника. Вдруг при новом потоке дождя камень под моей ногой дрогнул: вода его подмачивала.

«Все равно, — подумал я, — если я разобью сегодня голову, ничего не будет потеряно; если же мы останемся в живых — это послужит мне на пользу...»

И, наклоняясь к Сеате, чтобы она могла расслышать мои слова сквозь грохотание грома, рев ветра и шум дождя, я крикнул ей, стараясь придать своему голосу оттенок отчаяния:

— Царевна! Кажется, наша смерть близка! Но я не хочу умереть, не сказав тебе, что люблю тебя. Полюбил тебя с первого взгляда. Мое единственныйной мечтой было однажды в жизни поцеловать твою руку. Моя царевна! Прошай навсегда!

Камень под моей ногой действительно быстро пополз вниз. Я покачнулся, выпустил царевну, но удержался еще, поймав какую-то новую ветку. Опять вспыхнула молния, и на одно мгновение я опять увидел лицо Сеаты. Но в нем не было страха, в нем не было и того волнения, какого я ждал; ее лицо выражало одну тоску, мучительную тоску.

— Ах, Толе! Толе! — ответила она мне, и голос ее все-таки достиг до меня, несмотря на гул стихий. — Зачем ты мне сказал это? А я верила в лучшее! Ах, Толе! Неужели и на твоей Звезде, как и здесь, женятся, выходят замуж и мужчины любят девушек? Неужели это везде так?

Не знаю, каким чудом эти томительные слова проникли в мое сердце. Я потерял власть над собой. Я припал поцелуем к краю ее одежды. Я чувствовал, как слезы давят мне горло.

— Прости меня, царевна, — воскликнул я, — прости! Это было безумие. То была подлость. Клянусь, я никогда не повторю этого. Никогда! — Несколько мгновений тому назад я никогда не поверил бы, что скажу такие слова.

Так стояли мы один против другого, опираясь на случайно выступавшие камни, держась за измокшие ветки. Но буря уже проходила. Блеснула полоса ясного неба, быстро становилось светло.

Через полчаса при помощи Латомати, первым заметившего нас, и подоспевшего на помощь Болалэ мы свели [царевну] по размытой тропинке в долину. Там уже ждали носилки, посланные перепуганными вельможами.

XIII

Царя видел я еще раз на похоронах одного лэтея. Хоронили лэтеев в подземном этаже горы, в том же, где устроена и темница. Там была особая Зала Смерти, с низкими сводами, узкая, но длинная, саженей сорок в длину. Вдоль стен ее были расположены человеческие черепа, в самом конце стояло высокое изваяние, вероятно, изображавшее смерть. То была фигура человека, плотно завернутого в плащ или в саван, у которого вместо головы был череп; этот череп был сделан пустым внутри, и туда при совершении похорон вставлялся маленький факел, так что из орбит глаз, из отверстия носа и сквозь зубы вырывался свет.

Похороны происходили ночью. На них собирались все взрослые лэтеи, за исключением только тех, которые были назначены на стражу. Вся зала была полна народом. Царь и вельможи третьего этажа стояли отдельно. Из рабов было только четверо, несших носилки царя, да я, на этот раз державший факел сзади царевны. Увидал я и жрецов. Их пятеро. С каждым пришел мальчик, в котором подготовлялся будущий преемник жреческого сана. Жрецы были одеты в плащи красного цвета; на головах у них были короны такой же формы, как царская, лишь поменьше. Весь обряд состоял в том, что жрецы однообразно пели какие-то гимны. Я еще недостаточно знал язык лэтеев, чтобы понять их. Слышно было только часто повторяемое обращение к Звезде, которая была Божеством в стране Горы

После пения гимнов по знаку жрецов все присутствовавшие, не исключая царя, стали на колени. Один из жрецов отчетливо и многозначительно произнес следующие слова:

— Не будем ни завидовать отошедшему, ни страшиться его примера. Смерть есть тайна, поэтому почтим ее безмолвием.

Молчание продолжалось минуты две. Потом жрец опять возгласил:

— Слава Звезде!

Все встали с колен, повторяя это восклицание. Около ног статуи смерти было широкое отверстие в виде глубокого колодца. В этот колодец опять с пением начали опускать тело на веревках. Потом веревки [приподняли], и тело должно было упасть на дно. Мне послышался словно всплеск воды, но тогда я не был в этом уверен. Все начали расходиться. Лэти расступились, чтобы дать дорогу царским носилкам. Но вдруг царь остановил рабов и сделал мне знак подойти. Я повиновался с невольным трепетом.

— Это ты человек, прибывший к нам со Звезды? — спросил он меня на наречии бечуанов.

— Да, государь, это так, — отвечал я почтительно.

— Каким же путем прибыл ты к нам?

Я начал свою заученную басню.

— С нашей Звезды эта земля представляется маленькой голубоватой звездочкой. Наши мудрецы давно разведали, что это особый мир, где живут разумные существа. И вот у нас создали особую ладью, годную для летания между светилами. Нашлось пятеро смельчаков, которые из жажды знания рискнули жизнью и поместились в этой ладье; среди них был и я. Особые приспособления бросили нас вверх со скоростью молнии. Я говорю вверх, государь, потому что для нас эта земля была среди звезд. Мы летели осьмнадцать дней и наконец упали на землю. Здесь мы разделились. Все мы пошли в разных направлениях. Что до меня, я долго блуждал среди дикарей, живущих около соляной пустыни, там я достал себе раба. Потом, про слышав о Горе, я пустился ее отыскивать.

Царь слушал внимательно, потом сказал мне:

— Однако, как мне сообщили, твой раб ничего не знает об этом, не знает даже, что ты житель Звезды.

— Государь, — возразил я, — неужели же я стал бы откровенничать с рабом!

Царь посмотрел на меня проницательным взором и спросил еще:

— А что, на твоей Звезде все жители такие же, как и ты, значит, такие же существа, как мы и рабы наши?

— Да, государь, — отвечал я, — там тоже живут люди. — Царь еще раз посмотрел на меня, потом сделал мне знак подойти совсем близко и, нарушая весь этикет, нагнулся к моему лицу и сказал мне тихо, так, чтобы никто не мог его слышать, и притом по-лэтийски, чтобы не поняли рабы, державшие носилки:

— Слушай меня, чужеземец! Ты очень заблуждаешься. На звездах живут не такие существа, как здесь. Мне это известно, тебе же нет. Помни ж! Я знаю, что ты не со Звезды к нам прибыл.

И прежде чем я успел опомниться, царь уже отдал приказание рабам. Носилки его закачались, двинулись, и я не мог ответить ему ничего.

XIV

Жизнь наша текла однообразно. Вставали мы около полуночи; утром я читал свои лекции, потом у царевны бывал обед, на который собиралось большое общество. Вечером устраивали обыкновенно прогулку по долине.

Приближался большой праздник Звезды, у рабов называвшийся праздником Очей, потому что он устраивался раз в два года. Накануне этого праздника на обычном обеде у царевны собралось особенно много посетителей. Кроме ее обычных приближенных, было еще два старика мудреца, официально назначенных к тому, чтобы продолжать государственную летопись, а также школьный учитель.

Как и бывало большей частью прежде, завязавшийся спор был направлен против меня. Я должен был защищать европейскую науку. Особенно замечательным казалось мне то, что именно ученые не хотели признавать никакого значения за новыми истинами, которые я им сообщал. Так, однажды один математик Горы смеялся, когда я ему разъяснял начатки аналитической геометрии. На этот раз шла речь о свойствах звука. Перемены блюд следовали одно за

другим, подавали то кукурузу, то фасоль, то сладкий батат, то земляные фисташки (так как лэтеи, безусловно, вегетарианцы и скотоводство у них совершенно неизвестно). Присутствующие деятельно запивали земные плоды обычным акэ (водкой), но с живым любопытством принимали участие в ученом споре.

Науке лэтеев были знакомы свойства эха и законы колебания струны, но никто не хотел принять моих объяснений о колебании воздуха. Я приводил в доказательство различные опыты, которые часто тут же и проделывал, но лэтеи не любили опытного метода, не признавали его. Скоро от отвлеченного вопроса перешли на спор о преимуществах европейской науки и науки лэтеев. Еще более обострился этот спор, когда заговорили уже не вообще о звуке, а о музыке, что было понятнее для большинства.

— В сущности, как я вижу, — говорил мне со сверкающими глазами Латомати, — все ваши музыкальные машины та же наша колта (барабан), лэтера (дудка) и лоэми (род гитары). Кроме того, что знаем и мы, вы не придумали ничего!

Я указывал на разнообразие наших инструментов, описывал рояли и органы, рассказывал о концертах и операх.

— Каждый умствует по-своему, — упрямо твердил Латомати. — Ты, Толе, говоришь, что у вас там много наролов, которые сносятся друг с другом, заимствуют новое один у другого, мы же одни, нам не у кого учиться, и все же мы нашли все три основных способа создавать музыку.

— Латомати, — холодно возразил я, — блуждая по земным степям, я встречал совершенно дикие племена, но и они знали эти три способа — дудку, струну и удар по натянутой коже.

Латомати весь задрожал.

— А кто докажет нам, — начал он прерывающимся от негодования голосом, — кто поручится нам за точность всего, что ты говоришь? Можно многое порассказать о жизни на чужой Звезде, куда мы никогда не попадем.

— Я прощаю тебе твои слова, — спокойно отвечал я. — Жизнь в моей стране настолько выше вашей, что, конечно, тебе трудно поверить моим рассказам.

Глаза Латомати загорелись очень мрачно, но тут на помощь поспешила царевна, стараясь успокоить моего противника. Ее серебряный голос еще звучал, когда вдруг послышались тяже-

.ные шаги. Портъера у входа откинулась. В арке между двумя рабами, державшими факелы, стоял Болло.

— Лэти! — сказал он властным голосом. — Ваш возлюбленный государь внезапно почувствовал себя очень больным. Разойдитесь, лэти: всякие сборища теперь неуместны; пусть каждый у себя молит Звезду о выздоровлении царя.

— Ты говоришь, отец очень болен! — воскликнула царевна, порывисто бросаясь к выходу.

— Остановись, царевна! — холодно удержал ее Болло. — У меня есть приказ государя не впускать к нему никого, даже Тебя. Повинуйтесь, лэти, потому что вот царский меч.

Болло высоко над головой поднял сверкающий клинок, рукоятка которого горела от самоцветных каменьев. Все, почтительно склоняясь, стали расходиться. Проходя мимо Болло, лэти закрывали глаза рукой — честь, которую оказывали только царю во время приемов. Я не смел ослушаться и последовал за другими. Болло остался с царевной.

С горьким предчувствием вошел я в свою комнату, где ждал меня Мстега.

— Господин, — сказал он мне, торопясь и оглядываясь, — я был у рабов, там говорят, что царь уже умер, там хотят, чтобы им дали акэ и чтобы был отдых день, два дня, три дня. Они шумят, господин.

Это было что-то новое. Это было исцеление от моего беспокойства. С волнением начал я расспрашивать Мстегу о подробностях.

XV

На другой день был праздник Звезды, но на этот раз никаких торжеств не было. Рабов, правда, освободили от работы, но оставили запертыми в их зале; там они волновались и на все лады перетолковывали события.

Мне принесли обычный завтрак. После него я, как и всегда, пошел к царевне. Но у входа в ее покой стояли на страже два лэтия. Я знал их в лицо, мне случалось даже разговаривать с ними, но они сделали вид, что не узнали меня.

— Царевна не приказала впускать, — сказал мне один.

- Но пошлите сказать, что это я.
- Царевна не приказала.

Я ушел, но все же не поверил. Я бродил по залам, по переходам, по террасам Горы. Они были пустынны. Встречавшиеся изредка лэтеи поспешно и молча проходили мимо. Меня как-то особенно чуждались, хотя еще отвечали на приветствия.

Я вернулся к себе. Обыкновенно, если мне не случалось обедать у царевны, мне приносили обед в мою комнату. В этот день я не дождался обеда. Все отправления Горы нарушились. Вечером я опять вышел с решительным настроением выяснить положение. Первым я встретил старика учителя Сеге. Я загородил ему дорогу.

— Привет, — сказал я. — Занятий сегодня нет, вы свободны. Скажите, как здоровье государя?

Старик страшно смешался.

— Простите, не [обижайтесь], я должен спешить...

Повернувшись, он почти побежал прочь от меня.

Я пошел к Латомати. Рабы сказали мне, что он никого не велел пускать к себе.

Я снова вернулся к себе. Что-то совершалось кругом, а я не знал что. Я послал Мстегу к рабам разузнать, что делается там. Сам я уныло лег на ложе. В моей комнате было узкое окно наружу, и я мог следить, как быстро темнело. Наступала ночь.

Вдруг в проходе, ведшем в мою комнату, показалась черная фигура негритянки, то была рабыня Сеата.

— К тебе идет царевна, — шепнула она мне и исчезла.

Я вскочил с ложа. Через минуту вошла Сеата, одна, без провожатых.

Я бормотал в смущении какие-то извинения, но царевна прервала меня:

— Нет времени, друг мой, слушай.

Она села на мое ложе и взяла меня за руку.

— Слушай. Отец умер. Это скрывают, но это верно. Последнее время он уклонялся от меня. Теперь я могу сказать, что виною этому ты. Я два раза хотела прийти к нему, он не позво-лял. С ним все время был Болло. У Болло теперь царский меч. Он будет царем. Его признают.

По законам страны прямой наследницей царского венца была сама Сеата. Я подумал, что именно эта потеря так огорчает ее.

— Полнο, царевна, — сказал я. — Еще не все потеряно. Да и стоит ли грустить о царском сане. Я убежден, что с ним соединено больше заботы и горестей, чем радостей.

— Ах, ты ничего не понял, — грустно произнесла царевна. — Слушай, я объясню подробнее. Ты знаешь, что у нас давно борются за власть две стороны: знатнейших вельмож и простых лэтеев. Ведь ты же читал наши летописи. Мой отец был царь из партии вельмож. Одно время думали примирить обе партии и для того выдали мою старшую сестру замуж за Болло Он из простых лэтеев. Но сестра умерла, а Болло остался верен своей партии. Теперь торжествует не он один, а весь второй этаж. А нам всем суждено падение.

Для меня еще многое было неясно.

— Я все еще не вижу ничего особенно ужасного, царевна.

— Ужасно то, — вскричала царевна, вдруг заломив свои мраморные руки, — то ужасно, что как царица я могла остаться свободной... Но я более не царица! Я простая женщина! Я должна повиноваться законам страны. Я уже прожила мою пятнадцатую весну, уже два года как прожила... Мне прикажут... прикажут иметь мужа...

Она произнесла последние слова глухо, глядя в землю. Но вдруг опять ожила, глаза ее вспыхнули, она сжала мою руку.

— Слушай, Толе! Я этого не хочу! Не хочу! Я считаю это позорным. Спасти меня должен ты. Как? Неужели эта серая земля не истомила тебя в те недолгие дни, какие ты томился здесь... А ведь я! И родилась здесь и прожила долгие годы! Ты мудр, мой добрый Толе! Ты найдешь возможность. Уйдем отсюда, умчимся, улетим, улетим хотя бы на твою Звезду! Я тебя умоляю!

Царевна опустилась передо мной на колени, порывисто обняла меня руками, смотрела мне в глаза.

— Царевна Сеата... — говорил я в безумном замешательстве, — ты знаешь, что жизнь моя принадлежит тебе, но я бессилен. Что могу я сделать один и так скоро... я бессилен, царевна.

Она медленно и молча встала, хотела идти, но потом упала на ложе и зарыдала.

- Значит, все кончено! Все! И я как простая женщина..
- Будь благоразумна, — успокаивал я, — не все потеряно.
- Преодолев на миг рыдания, она крикнула мне:
- Тогда оставь меня, Толе, и беги сам... Беги, беги!.. Тебя не пошадят. Болло уже решил о твоей смерти... Прощай навсегда.
- Мы не можем унестись на другую Звезду, но мы можем бороться с врагами.

Сеата подняла голову.

- Но за Болло весь второй этаж, все лэтеи — их тысяча человек! А моих сторонников, быть может, двадцать человек, да и из них большинство старики или трусы.
- На стороне Болло все лэтеи, — сказал я, — а что, если на нашей стороне будут рабы?
- Рабы? — переспросила царевна и долго смотрела на меня, недоумевая.

XVI

Было уже совершенно темно, ярко сверкали звезды, когда я подошел к выходу. Стоявший на страже загородил мне дорогу.

- Выходить воспрещено.
- Кем?
- По приказанию Болло, в чьих руках царский меч.
- Я высвободил под плащом лэтийский короткий меч, но решил употребить силу лишь в крайности.
- Друг мой, — сказал я мягко, — ты исполняешь повеление Болло, но он пока только временный представитель власти. А вот у меня золотое запястье царевны, признаешь ты власть царской дочери?

Лэтий заколебался.

- Мне приказано не пропускать никого, — повторил он неуверенно.
- Послушай, друг, — сказал я шепотом, — убежден ли ты, что Болло будет царем? А что, если власть законно перейдет к царевне? Как отнесется она к тому, кто не исполнил ее повеления? Ведь я знаю тебя: ты Тобой, сын Боколта.

Зная, что сторож смущен окончательно, я отстранил его от входа и быстро вышел в долину. Не прошел я и двадцати ша-

гов, как Тобой опомнился и стал кричать, чтобы я остановился. Я прибавил шаг, готовясь, если надо, побежать. Но страж, видя, что я не отвечаю, покинул свой пост и исчез во мраке прохода: пошел доносить о случившемся.

Я, задыхаясь, добежал до Большого входа. Здесь по обычаю тоже ходил страж.

— По воле царевны!.. — сказал я, показывая запястье.

Сторож не возразил ни слова. Я вошел в залу Рабов. Громадная зала озарена была десятками костров. Пламя взвивалось в черный мрак высоты, дым [валил] густыми облаками. Тысячи оголенных тел, освещенных красным пламенем, плясали и дико вертелись вокруг костров. Неумолчный рев голосов сливался в непрерывный гул.

Меня не сразу заметили; потом не сразу узнали. Но я прошел в знакомый мне угол, где обычно собирались старики. Со всех сторон бежали любопытные, изумленные видом лэйтского плаща среди рабов.

Я стал в кругу старииков, испуганно вставших передо мной.

Я подождал, пока наступила некоторая тишина, и потом начал свою речь, говоря громко, явственно, просто:

— Рабы! Вы меня узнаете! Я тоже раб и жил с вами, и работал с вами. После я попал к лэтеям. Но, живя у лэтеев, я все время думал о вас, хотел, чтобы вам жилось лучше. Я склонил к тем же думам возлюбленную нашу царевну. Она хотела, как только получит власть, изменить вашу участь. Если она будет царицей, вы будете работать лишь утром да немного вечером. Вы каждый день будете получать акэ (водку). Надсмотрщикам будет запрещено вас бить. Вы знаете, как милостища царевна. Слушайте, рабы: наш царь умер.

Дикий рев пронесся среди моих слушателей. Меня теснили, я почти задыхался.

— Стойте! Слушайте еще! Другие лэти не хотят, чтобы вашу участь облегчили. Другие лэти хотят по-прежнему заставить вас работать с утра до ночи, бить вас и морить голodom. Лэти не хотят передать власть царевне Сеате, хотя ей эта власть принадлежит по крови. Вместо царевны они выбрали царем Болло. Вы его знаете. Это самый свирепый из всех лэтиев. Бить рабов ему доставляет наслаждение. Рабы!

Не допустим, чтобы царевна была убита или заключена в тюрьму. Не допустим! Мы низвергнем Болло, мы убьем его! Мы сами сделаем царицей Сеату. Идите за мной, рабы! Я покажу вам дорогу к оружию и к запасам — там хватит акэ и маису на всех!

Некоторое время рабы стояли в оцепенении после моей речи. Но вдруг раздались отдельные восклицания. Я различил голос Итчуу. Старики хотели было что-то говорить, но голос их потонул в поднявшемся реве. Женщины вопили, юноши с гиканьем бегали по залу, кто хватал камни как оружие, кто уже устремился в проход к выходу. Я сам не ожидал такого успеха своего призыва. Видимо, волнение подготовлялось давно, и моя речь была только последней искрой.

Толпа ринулась к выходу. В один миг разметали камни, которыми он был закрыт. Лэтей-сторож был убит тут же. Как голодный змей, длинной полосой с воем и гиканьем побежала толпа к лэтейскому входу в Гору. Бежали все — женщины и дети вместе с мужьями и отцами. Очень небольшая кучка, человек сто, осталась в зале, упрямо осуждая все предприятие. Я не поспел за первыми бегущими. Когда я добежал до лэтейского входа, там уже кипел бой. Ряд лэтеев, человек в двадцать, защищал узкую лестницу, отбивая приступы всей тысячной толпы рабов. Другие рабы тем временем грабили запасы, вытаскивали из кладовых оружие, маис, кокосы и бочки с акэ. Около входа на поляне уже начиналась оргия.

Долго я не мог ничего поделать. Я сам был испуган дикой силой толпы, порвавшей цепи. Только после того, как все приступы были отбиты лэтеями, когда трупы рабов заполнили все первые ступени, они отступили.

— Завтра! Завтра мы пройдем к ним, — уговаривал я. — Будет светло, и мы пройдем. Теперь же, пока ночь, отдыхайте, пейте, веселитесь или спите.

Наконец раскинулся под стенами Горы лагерь рабов. Нарубили кокосовых деревьев и сложили костры. Зарево озарило беснующуюся толпу. Я в смущении слушал их исступленный вой.

XVII

Итчуу разложил для меня маленький отдельный костер. Скоро ко мне собирались наиболее влиятельные лица из рабов. Пришло двое стариков, хотя старики вообще не одобряли восстания. Пришел Мстега, который среди рабов пользовался известным почетом. Пришел еще Гуаро, силач, легко ломавший кокосовую пальму в руку толщиной.

Я постарался заранее им объяснить план завтрашней борьбы. Рабов, способных сражаться, было больше полутора тысяч, лэтеи же не могли выставить против нас больше 500—400 человек. Но лэтеи были страшны своей выдержанкой и тем нравственным влиянием, которое они приобрели над рабами многовековым господством.

Мы еще беседовали, сидя у костра, когда к моим ногам с тихим свистом упала стрела, пущенная с одного из балконов. К стреле был привязан кусочек кокосовой ткани, заменившей у лэтеев бумагу. То было письмо ко мне на языке лэтеев. «Друзья царевны извещают Толе, что царевна заточена в своих покоях, как в темнице. Пусть Толе спешит спасти ее». Письмо служило для меня доказательством, что царевна Сеата покинута не всеми. Но немедленно я не мог сделать ничего. Было опасно нападать на лэтеев ночью, в их норах, все переходы которых они знали так хорошо. Надо было ждать утра. Я поставил стражу и прилег вздремнуть.

Лэтеи не отважились на внезапное нападение. Может быть, и они собирались с силами. При первом проблеске солнца я приказал будить свое войско. По счастью, в нижней кладовой было сравнительно немного водки, и рабам не было чем напиться до беспчувствия. Они поднимались бодрые, по-прежнему решившиеся на все. Сон нисколько не ослабил их озлобления: они шли мстить за долгие годы, за целые века.

А лэтеи еще занимали лестницу, которая вела во второй этаж. Нападать на них было безумно. В узком проходе несколько человек могли отражать натиск целой рати. Я распорядился нарубить деревьев и сложить у подножия лестницы костер. Кокосовые стволы вспыхнули с треском, зеленые ветви зады-

мились, и клубы дыма потянулись по крутой лестнице, как в трубу. Конечно, лэтеи отступили.

— О-го-го! — весело завыли рабы.

Когда костер стал прогорать, я повел свое войско на приступ. Завернув головы, чтобы защититься от редеющего, но еще едкого дыма, мы кинулись на лестницу. Она раздвоилась: одно колено вело в Общую залу второго этажа, другое на террасу. Я направился на террасу. Сопротивления мы не встретили. Один за другим, черные, закоптившиеся, выбирались рабы из черного закопченного отверстия на террасу. Я выпрыгнул одним из первых. Я видел, что неподалеку от выхода стоял строй лэтеев. Они, видимо, думали, что и мы не пойдем в дыму, и ждали, когда он разойдется совершенно. Увидя, что уже поздно, что враги на террасе, они смутились и быстро отступили. Терраса опустела, мы овладели ею.

Здесь я опять созвал военный совет. В центре второго этажа была круглая Общая зала, от нее радиусами шли пять проходов, по сторонам которых были двухэтажные помещения для простых лэтеев. В каждом проходе было сто таких помещений. Но, кроме того, со стороны террасы между этими проходами было пять других, не доходивших до общей комнаты и кончавшихся тупиком; в этих меньших проходах было по пятьдесят двухэтажных помещений в каждом. Замечу, кстати, что далеко не все эти помещения были заняты, очень многие пустовали.

Лэтеи загородили вход во все пять сквозных проходов. Я решил начать атаку сразу против всех пяти строев, ибо большой численный перевес опять-таки не имел значения в узком проходе. Я образовал пять колонн, над одной принял начальство сам, а четыре другие поручил Итчуу, Гуаро, Ксuti и Мстеге, все пятеро двинулись одновременно.

Мне пришлось напасть на так называемый Северный проход. Его занимало не больше двадцати человек лэтеев, со мной же было человек сто пятьдесят. Но лэтеи встретили нас искусственным строем и уверенно поражали мечами слишком отважных. Рабы далеко не все достали себе мечи, большинство было вооружено дубинами и камнями. Минут пять продолжались наши стремительные натиски, но все они были отбиты. У лэтеев ни один

не был даже ранен, а у нас пало человек десятеро. Рабы стали колебаться.

— Мятежники, — закричал тогда один из лэтеев, — неужели вы думаете одолеть лэтеев! Нам помогает Звезда! Ступайте вниз, разойдитесь. Может быть, мы еще помилуем вас.

Слова эти произвели сильнейшее впечатление на рабов. Они совершенно остановились.

— Вперед, друзья! Ударим еще раз! — уговаривал я.

— Назад! — громовым голосом крикнул вдруг Болло, выступая вперед. — Назад, рабы! Вниз! В свою залу! Повинуйтесь и исполняйте.

И вдруг привыкшие повиноваться и с детства подневольные эти жалкие существа, на миг было возгоревшиеся животной жаждой мести, дрогнули, отступили, сначала одни из них повернулись, потом другие, и весь отряд мой обратился в бегство перед грозными очами правителя.

— А этого берите — приказал Болло, указывая на меня.

Со мной оставалось не то двое, не то трое человек, решивших обороняться. Нас притиснули к парапету. Лэтеи окружили нас со всех сторон, их короткие мечи заблестели кругом меня. Рука моя немела, отбивая удары. Я чувствовал, что через мгновение все будет кончено. Но вдруг сзади лэтеев раздался дикий рев. В проходе, из которого они вышли, показались фигуры рабов. Отряд Гуаро прорвал ряды лэтеев, и теперь рабы зашли в тыл к лэтеям. Нападавшие на нас мгновенно были окружены. Болло что-то кричал, но его голос терялся в реве битвы. Вдруг Гуаро громадным прыжком подскочил к правителю, потрясая над головой стволом кокосового дерева.

— Прочь, раб! — прогремел Болло.

Но Гуаро завертел своей булавой так, что она засвистела, и обрушил ее на Болло. Правитель повалился без стона на землю. Рабы завопили с новым исступлением.

XVIII

На террасе еще оставалось человек пятнадцать лэтеев. Они еще не теряли присутствия духа и, сомкнувшись, еще продолжали отбиваться от двух стен врагов. Снизу продолжали при-

бывать рабы, среди них были и воины моего отряда, опомнившись и снова готовые на борьбу. Я оставил схватку и бросился в Общую залу. Там кипело настоящее сражение. Здесь были сосредоточены главные силы лэтеев — человек двести. Итчуу и Мстега вели на них рабов, которых собралось человек пятьсот. Факелы не горели. Сквозь длинный проход проникали самые скучные обрывки света. Бой шел почти в полном мраке. В каменной зале слышался топот тысячи ног, бешеный рев бойцов, хрип и стоны умиравших, которых топтали живые; эхо десять раз повторяло эти звуки. В этом грохоте сражались почти без сознания, в животном исступлении, никакое руководство ходом битвы не было возможно.

Я стоял около входа в Северный проход и обдумывал позицию врагов. Лэти тылом были обращены к двум проходам, которые вели в третий этаж. Следовательно, мне не было пути дальше. Я был по-прежнему отрезан от Сеаты. Я должен был ждать решения судьбы. Я проклинал себя, что ушел от нее, что оставил ее одну. Кто знает, что посмели сделать с ней враги.

Новые волны рабов прибывали в Залу. Я приказал принести факелы. Их мерцающий свет сделал картину боя еще более ужасной. Враг увидел врага в лицо. Друзья поняли, что они топчут друзей и братьев.

— Отбивайте их от проходов! — кричал я своим, хотя и знал, что мой голос расслышать невозможно.

Вдруг произошло неожиданное. Сзади лэтеев заблестели еще чьи-то факелы. Явно было, что лэти дрогнули. С тыла на них напал новый враг. Это друзья царевны ударили на них из проходов третьего этажа. После этого маневра участь их была решена. Лэти могли сопротивляться, но не победить. Их рубили с обеих сторон. То была отвратительная бойня. Лэти отступили на середину Залы и отбивались от рабов, наступавших со всех сторон. Один за другим падали ряды лэтеев. Но следующий ряд с прежним мужеством продолжал оборону. Исступленные рабы тоже забыли всякую осторожность, шли прямо на мечи, падали, а сзади набегали новые волны. Я не стал смотреть на довершение этого боя, я торопился к Сеате.

не был даже ранен, а у нас пало человек десятеро. Рабы стали колебаться.

— Мятежники, — закричал тогда один из лэтеев, — неужели вы думаете одолеть лэтеев! Нам помогает Звезда! Ступайте вниз, разойдитесь. Может быть, мы еще помилуем вас.

Слова эти произвели сильнейшее впечатление на рабов. Они совершенно остановились.

— Вперед, друзья! Ударим еще раз! — уговаривал я.

— Назад! — громовым голосом крикнул вдруг Болло, выступая вперед. — Назад, рабы! Вниз! В свою залу! Повинуйтесь и исполняйте.

И вдруг привыкшие повиноваться и с детства подневольные эти жалкие существа, на миг было возгоревшиеся животной жаждой мести, дрогнули, отступили, сначала одни из них повернулись, потом другие, и весь отряд мой обратился в бегство перед грозными очами правителя.

— А этого берите — приказал Болло, указывая на меня.

Со мной оставалось не то двое, не то трое человек, решивших обороняться. Нас притиснули к парапету. Лэтеи окружили нас со всех сторон, их короткие мечи заблестели кругом меня. Рука моя немела, отбивая удары. Я чувствовал, что через мгновение все будет кончено. Но вдруг сзади лэтеев раздался дикий рев. В проходе, из которого они вышли, показались фигуры рабов. Отряд Гуаро прорвал ряды лэтеев, и теперь рабы зашли в тыл к лэтеям. Нападавшие на нас мгновенно были окружены. Болло что-то кричал, но его голос терялся в реве битвы. Вдруг Гуаро громадным прыжком подскочил к правителью, потрясая над головой стволом кокосового дерева.

— Прочь, раб! — прогремел Болло.

Но Гуаро завертел своей булавой так, что она засвистела, и обрушил ее на Болло. Правитель повалился без стона на землю. Рабы завопили с новым исступлением.

XVIII

На террасе еще оставалось человек пятнадцать лэтеев. Они еще не теряли присутствия духа и, сомкнувшись, еще продолжали отбиваться от двух стен врагов. Снизу продолжали при-

бывать рабы, среди них были и воины моего отряда, опомнившись и снова готовые на борьбу. Я оставил схватку и бросился в Общую залу. Там кипело настоящее сражение. Здесь были сосредоточены главные силы лэтеев — человек двести. Итчуу и Мстега вели на них рабов, которых собралось человек пятьсот. Факелы не горели. Сквозь длинный проход проникали самые скучные обрывки света. Бой шел почти в полном мраке. В каменной зале слышался топот тысячи ног, бешеный рев бойцов, хрип и стоны умиравших, которых топтали живые; эхо десять раз повторяло эти звуки. В этом грохоте сражались почти без сознания, в животном исступлении, никакое руководство ходом битвы не было возможно.

Я стоял около входа в Северный проход и обдумывал позицию врагов. Лэти тылом были обращены к двум проходам, которые вели в третий этаж. Следовательно, мне не было пути дальше. Я был по-прежнему отрезан от Сеаты. Я должен был ждать решения судьбы. Я проклинал себя, что ушел от нее, что оставил ее одну. Кто знает, что посмели сделать с ней враги.

Новые волны рабов прибывали в Залу. Я приказал принести факелы. Их мерцающий свет сделал картину боя еще более ужасной. Враг увидел врага в лицо. Друзья поняли, что они топчут друзей и братьев.

— Отбивайте их от проходов! — кричал я своим, хотя и знал, что мой голос расслышать невозможно.

Вдруг произошло неожиданное. Сзади лэтеев заблестели еще чьи-то факелы. Явно было, что лэти дрогнули. С тыла на них напал новый враг. Это друзья царевны ударили на них из проходов третьего этажа. После этого маневра участь их была решена. Лэти могли сопротивляться, но не победить. Их рубили с обеих сторон. То была отвратительная бойня. Лэти отступили на середину Залы и отбивались от рабов, наступавших со всех сторон. Один за другим падали ряды лэтеев. Но следующий ряд с прежним мужеством продолжал оборону. Исступленные рабы тоже забыли всякую осторожность, шли прямо на мечи, падали, а сзади набегали новые волны. Я не стал смотреть на довершение этого боя, я торопился к Сеате.

У входа в третий этаж стояла кучка приверженцев царевны Сеаты, человек тридцать, не больше. Среди них был и Латомати.

— Где царевна? — спросил я.

Некоторое время мне не отвечали. Наконец Латомати сказал:

— Идемте все! Нам надо переговорить.

Мы все поднялись на третий этаж.

Ужасную картину представляла собой Звездная зала. В ней были собраны старики, женщины и дети. Старики лэти, их дочери, жены, их маленькие дети сидели на полу, жались к стенам, ломали руки, рыдали. При нашем появлении послышались негодующие, подавленные крики:

— Изменники! Вы погубили страну.

— Молчите, лэти, — повелительно крикнул Латомати, — изменники вы! Вы посягнули на свою царицу! Ваши предводители хотели убить ее. Мы же повиновались законам. Убиты те, которые стали недостойны имени лэтеев. Нас осталось немногого, но мы воссоздадим новое племя.

Кто-то крикнул:

— В союзе с рабами!

Латомати повысил голос:

— Рабов призвали не мы! Будьте спокойны, лэти. Когда пройдет первый взрыв, рабы опять покорятся. Знайте, кроме того, что в этой борьбе их убито больше, чем нас. Нам рабы не опасны. Только повинуйтесь, лэти!

Латомати держал себя как государь. Около входа в третий этаж он поставил стражу в восемь человек. Вход был очень узкий, и взять его было нелегко. Мы все остальные прошли в царскую комнату. Латомати не смотрел на меня и не говорил со мной. Царская комната была невелика. Стены ее были обложены малахитовыми плитами, изукрашенными алмазами. В углублении стоял трон из кованого золота. Два факела освещали [покой]. Кроме того, сквозь узкое окно в потолке врывались лучи дневного света. На золотом троне сидела царица Сеата в царском венце и с царским мечом в руках. Все мы пали на колени, закрывая лицо руками, и под сводами восторженно прогремело приветственно: «Лэ!»

XIX

Царица приветствовала нас наклонением головы. Когда мы встали с колен, Латомати обратился к ней с речью:

— Приказание твое исполнено. Я напал с тылу на лэтеев, не признававших твоей власти. Мятежники получили наказание. Теперь предстоит нам озабочиться, чтобы жизнь приняла обычное течение, чтобы рабы вернулись к работе, а верные получили награду.

— Благодарю тебя, Латомати, — просто сказала царица и, переведя взор на меня, продолжала: — Благодарю и тебя, Толе! Без твоей помощи, без твоей находчивости я была бы теперь среди мертвых и похититель гордился бы моим венцом.

Сеата старалась говорить важно, сообразуясь со своим саном, но после первых же слов не выдержала тона и закончила гневно:

— Я знаю, знаю, что многие из моих приверженцев теперь остались бы в рядах моих врагов, если бы они не догадались, что победа будет за нами!.. Но довольно. Благодарю тебя, Толе!

Латомати, весь дрожа, сделал шаг к трону.

— Не следовало бы тебе, царица, говорить так, не подобает тебе оскорблять немногих своих приверженцев. Я осмелюсь сказать тебе истину. Царица! Не на благо нам привел рабов в глубь Горы этот неведомый чужеземец. Мы знаем из наших летописей, что в прошлом у нас бывали споры за трон, но все они решались борьбой лэтеев между собой. Никогда, о, никогда подлые рабы, жители нижнего этажа не смели вмешиваться в дела лэтеев. Ты скажешь, что у тебя было мало приверженцев и что чужеземец спас тебя. Это заблуждение, царица. Мало было у тебя приверженцев именно потому, что близ тебя видели этого чужестранца, человека без рода и племени, обманщика и мятежника, белого раба нашего...

— Остановись! — властно прервала его Сеата, вся бледная, привстав на троне. — Научись уважать того, кого ценит государь. Твоя сегодняшняя заслуга спасает тебя от моего гнева, но берегись!

Латомати не хотел молчать: весь дрожа, он готовился возразить царице. Еще мгновение, и в спор вступил бы я, но в дверях показался вестник. Он пал на колени и возвестил:

- Царица! Предводители рабов хотят говорить с тобою.
Латомати пожал плечами.
- Гляди сама, до чего дошло. Рабы будут ставить тебе условия.
- Позволь мне, царица, — попросил я, — пойти и объясняться с ними. Я убежден, что здесь недоразумение и все уладится.
- Нет, — дерзко вскричал Латомати, — не тому вести переговоры, кто, быть может, сам изменник. Я пойду, царица.
- Я пойду сама, — сказала Сеата.

Она медленно спустилась с трона. Мы последовали за ней. В Звездной зале по-прежнему томились сотни стариков, женщин и детей. Все заволновались, увидя царицу. Одни слабо прокричали «Лэ», другие резко отвернулись, слышны были и угрожающие крики: «Убийца! Ты погубила Гору!»

Сеата ни одним движением не показала, что слышит эти крики. Она прошла к входу в третий этаж, по-прежнему охранявшемуся стражей. Стража по просьбе рабов впустила несколько человек из них, чтобы вести переговоры. Эти парламентеры держались гордо и самоуверенно. Их было четверо. Я узнал среди них Итчуу, другие три мне были мало знакомы.

— Я пришла благодарить вас, — начала Сеата на наречии бечуанов, — благодарить вас, верные слуги. Вы исполнили ваш долг. Теперь возвращайтесь к себе в Залу и ждите моих наград. Повинуйтесь.

Самый вид царицы в пышной одежде, с короной произвел на рабов сильнейшее впечатление. Трое из них во время речи Сеаты медленно опустились на колени и коснулись лбом пола. Но Итчуу остался стоять.

— Мы посланы от имени всего народа, — твердо сказал Итчуу, словно царица не говорила ничего, — сказать вам, что мы победили и что теперь Гора принадлежит нам. Но мы не хотим избивать вас до конца. Поэтому откройте нам проход. Наш царь Гуаро возьмет себе в жены царицу, мы все выберем себе жен среди всех этих женщин, и затем начнется на Горе новая жизнь. Так решил народ.

— Итчуу, — воскликнул я, не удержавшись, — ты забыл, на

что мы шли? Наша цель была — добыть престол законной царице! Откуда явились у тебя такие замыслы?

— Ты сам высказал их мне, учитель.

Слова Итчуу звучали насмешкой. Другие трое, пришедшие с ним, приподнялись с колен.

— Слушай, Итчуу, — сказал я тихо и убедительно, — ты звал меня учителем, поучись же у меня теперь. Вы, рабы, неспособны управлять страной. Для этого мало победы. Вы погубите Гору, погубите не только науки и искусства, но и самую жизнь ее. И сами погибнете. Я это предвижу. Послушайтесь меня, вернитесь к себе, в свою Залу. Теперь начнется для вас новая жизнь. Верьте в милости царицы.

Итчуу язвительно улыбнулся.

— Я сказал тебе однажды, учитель, что ты тоже смертен. Теперь я скажу тебе, что ты тоже ошибаешься, да и лжешь иногда.

— Это позорная игра! — приказал Латомати. — Надо схватить этого шута и сечь его до смерти.

— Нет, — строго сказала царица, — он пришел добровольно, я его отпускаю. Ступай, мой друг. Мы не слушали твоих предложений и не можем их слушать. Если вы вернетесь к себе, мы о них забудем и будем помнить только о заслугах ваших. Если же вы действительно станете мятежниками, вы увидите, что с нами не так легко бороться, как с Болло. Ступай.

Четыре посла рабов при мертвом молчании всей Залы вступили в проход и исчезли во мраке лестницы.

XX

Когда мы вернулись в Царскую Комнату, Латомати сжал сам себе грудь, чтобы не кричать от негодования.

— Царица! — простонал он наконец. — То, что мы слышали, ужасно. Рабы грозят нам, рабы над нами смеются. Нет, полно. Пора покончить с этим. Нас около пятидесяти мужчин, я знаю точно. Мы последние лэти, но мы отстоим свое царство. Сегодня мы сойдем вниз к рабам и будем биться с ними, и, я клянусь, мы победим. Не могут свободные люди не одержать верха над рабами. Я клянусь, царица, ставлю жизнь свою как залог. Но чтобы я взял на себя такую ответственность, я дол-

жен знать, за кого я борюсь. Я не хочу своей кровью добывать трон для неизвестного бродяги, хвастающегося, будто он прибыл со Звезды.

Он перевел дух и потом воскликнул звенящим голосом, так нежно, как я не ожидал от него:

— Сеата, слушай. Разве же не видишь ты, как мечтаю я о тебе, разве не заметила ты давно-давно, что ты для меня все! И жизнь, и блаженство. Для тебя я сражался заодно с рабами, для тебя я рубил своих братьев лэтеев, для тебя я погубил наше священное царство, Сеата! Мои предки тоже занимали трон. Я предлагаю тебе, Сеата, себя как помощника, как друга. Тебя околдовал этот проклятый чужеземец. Поверь мне, близкому тебе, прогони его, прогони его, позволь мне убить его... И я назову тебя своей женой, мы восторжествуем над рабами! Клянусь, мы восстановим Царство, начнем новый великий род среди Царей Горы.

Глубокое молчание наступило за речью Латомати. Сышен был даже отдаленный шум из других зал. И тихо, но ясно и твердо прозвучал ответ Сеаты:

— То, что ты говоришь, невозможно. Минуту назад другой человек предлагал мне быть его женой. Знай, я согласилась бы скорей на предложения царя рабов, чем на твоё, Латомати.

Латомати хрипло крикнул, стиснул зубы и одно мгновение смотрел на царицу. Потом он обернулся ко мне своим воспаленным взором.

— Слушай же ты, безвестный бродяга! Я сегодня бранил тебя позорнейшими словами. Я сейчас повторяю тебе, что ты лжец и обманщик. Если есть в тебе капля благородства, ты выйдешь против меня на смертельный бой. Я вызываю тебя, я, Латомати, сын Талаэсто, потомок древних царей.

— Принимаю, — сказал я коротко.

— Толе, Толе, — нерешительно произнесла Сеата.

— Так должно, — холодно сказал я.

Лэти, бывшие в комнате, расступились. Сеата в трепете сошла с трона и прижалась к стене. Мы с Латомати остались вдвоем посреди Царской Залы. Мы двинулись друг на друга. У обоих у нас было обычное оружие лэтеев, короткий меч, по форме напоминающий эспадрону. В юности я хорошо владел

эспадронами, но приемы фехтования на Горе еще далеко не все были мне известны. Латомати считался искуснейшим бойцом, и я принужден был только защищаться. Латомати яростно наступал на меня. Я отступал и наконец остановился у стены. Легкий стон вырвался у Сеата. Этот стон заставил меня затрепетать в таком волнении, какого я не знал уже долгие годы. Сильным ударом я отпарировал удар Латомати и перешел в нападение. За недолгое время нашего боя я уже ознакомился со всеми приемами Латомати, они были оригинальны, но однообразны. Теперь я, в свою очередь, поразил Латомати хитростями европейского искусства. Отступать пришлось уже ему, два раза он споткнулся, и я щадил ему жизнь. Опьяненный бешенством, он ринулся на меня, забыв всю осторожность. Я хотел с размаху выбить у него меч из руки, но он почему-то опустил руку, и мой удар пришелся ему прямо в висок. Черная кровь заклубилась, и юноша пал мертвый. Лэти закричали. Сеата кинулась ко мне. Наступило смятение. Кто-то нагнулся к Латомати, чтобы удостовериться, что он убит. Я еще не успел прийти в себя, как вдруг лэти, словно по уголовру, один за другим стали уходить из комнаты... Один из них остановился в дверях и кинул Сеате:

— Царица! Ты не знаешь еще. В этот час жрецы проклинают тебя в Области Тайн.

Через мгновение мы были одни, шаги уходящих замирали.

— Идите! Ступайте — крикнула Сеата не помня себя. — Мне вас не нужно. Прочь, венец! Гибни, Гора! Гибни, народ лэтеев!

Она сорвала с себя царский убор, она задыхалась.

— Мне остался ты, Толе, — простонала она уже со слезами.

— Уйдем, убежим. Прочь от всего этого позорного и ненавистного. Я не жалею их тысячелетнее царство, оно стоило того, чтобы погибнуть. Не жалею царского сана, ибо царить над таким народом позорно. Я свободна, Толе, уводи меня.

Она не сознавала, что говорила, разум ее мутился. Поддержав ее, потому что она шаталась от утомления, я старался успокоить ее, образумить. Но внимание наше привлечено было странным шумом. Слышалось звяканье мечей и крики рабов. Я бросился туда, но в проходе со мной столкнулся со всего разбега Мстега.

— Господина! — крикнул он. — Беги! Рабы в третьем этаже и идут убить тебя.

Я еще не успел понять, в чем дело, как следом за Мстегой показался великан Гуаро. Он потрясал все той же палицей Мстега дико вззвизгнул и ринулся на него.

— Беги! — крикнул он мне еще раз.

Великан был схвачен Мстегой поперек тела и на мгновение должен был остановиться. Но почти тотчас же он справился. Послышался лязг ломаемых костей. Гуаро поднял Мстегу на воздух и ударил его черепом о гранитный пол.

Этого мгновенного замедления было достаточно, чтобы спасти меня. Я был уже опять около Сеаты. Комната царицы была одна из немногих, у которых вместо дверей служил тяжелый камень, вращающийся на шарнире. Мы задвинули вход в то самое мгновение, когда Гуаро добежал до него. За камнем послышался злобный вой обманувшихся врагов.

— А! Мы опять спасены! — восторженно крикнула мне Сеата.

— Мы в тюрьме, — отвечал я спокойно, — в тюрьме, где нет ни пищи, ни питья.

Я отвел изнемогающую Сеату к трону. Но вдруг с тихим визгом повернулся другой шарнир в стене около трона, где я и не подозревал двери. В открывшемся проходе стоял верховный жрец.

XXI

Мы были подавлены сменой впечатлений. Мы не имели сил ни трепетать, ни удивляться. Верховный жрец окинул нас спокойным взглядом. Мы смотрели на него тоже безмолвно. За стеной слышалось рычание толпы.

Наконец голосом суровым и властным жрец сказал Сеате:

— Царица! Великий час пришел.

И вдруг Сеата вся задрожала, словно в припадке, словно былинка под сильным ветром. Она вскрикнула:

— Нет, отец мой, нет!

— Царица! Великий час пришел, — повторил верховный жрец. Столь же внезапно к Сеате вернулась бодрость.

— Ну что ж, — сказала она, как-то странно устремляя глаза ввысь, не глядя ни на кого. — Не сама ли я желала того. Лучше великий час отчаянья и гибели, чем медленные часы томления. Я готова, отец мой.

— Иди за мной, — сказал жрец и медленно указал ей на узкую лестницу, по которой сам сошел к нам.

Царица пошла к нему, я сделал несколько шагов за ней.

— Пусть чужеземец останется здесь, — сказал жрец. — То, что нам предстоит видеть, не для взоров непосвященных.

— Нет! — твердо возразила Сеата. — Он пойдет со мной. Я единственная из царского рода. Так я могу выполнить волю Звезды. Вам нельзя выбирать. Если пойду я, и он пойдет со мной.

Жрец не возражал больше. По узкой лестнице прямо из Царской Комнаты мы поднялись в четвертый этаж, в музеи и библиотеки. Сюда еще не проникли рабы. Статуи стояли еще не прикосновенными, как провели они двадцать столетий. Мирно дремали в углублении стен свитки — книги с летописями, величественными поэмами и страстными стихами о любви.

Из Музея камней, где собраны были величайшие в мире богатства, мы стали подниматься в пятый этаж, в Область Тайны, куда я шел впервые. Но во мне не было любопытства. Моя душа была полна одним чувством — тревогой за Сеату. Она уверенно и гордо шла за старцем.

Мы вступили в храм лэтеев. То был круглый покой с куполом. И этот гладкий купол и стены были выложены полированным золотом, в котором сотни раз повторялся свет факелов и где вновь и вновь встречали мы свое отражение. Никаких статуй и украшений в храме не было. Только по всему полу был сделан широкий желоб, по которому медленно катился большой золотой шар, подчиняясь какой-то непонятной мне силе.

В зале на четырех золотых ложах сидели четверо жрецов. Их помощник-мальчик стоял около. Когда верховный жрец вступил в храм, все встали.

— Великий час настал, — сказал он им.

Все пали на колени, закрыли глаза руками и повторили с ужасом:

- Настал великий час! Великий час!
 - Верховный жрец обратился к Сеате строго и властно:
 - Дочь моя, кто были твои предки?
 - Я из племени царей, — отвечала Сеата.
 - Великий час настал. Знаешь ли ты, что должна делать?
 - Знаю, отец мой.
 - Иди же. Ты гордыней своей низвергла в бездну Царство Горы; за это сегодня мы произнесли на тебя проклятие. Но ты исполнишь волю Звезды, и я благословлю тебя.
- Сеата наклонила голову, закрыв глаза рукой.
- Вступи, царица, в Покой Великой Тайны.

Потайная дверь открыла в стене отверстие, мы вошли. Эта новая [комната] была очень небольшой, шагов в двадцать в длину и ширину. Стены ее были без всякого убранства, серокаменные. Свет падал из широкого окна. У одной стены стояло каменное ложе. Посреди комнаты стоял членок странной формы. Нигде до сих пор в стране Звезды не видал я лодок, так как здесь не было ни значительных озер, ни рек.

Но что было самым дивным в этой комнате — это левая, восточная стена ее. У этой стены во всю ее вышину стояла мумия. Она не была одета. К выпирающим костям плотно прилегали иссохшие мускулы, обтянутые пожелтевшей кожей. Но это не была человеческая мумия. Я не знаю, что это было за существо. Голова его была небольшая, с двумя совершенно рядом поставленными глазами, [...] они сохраняли свой цвет и свою форму, словно глядели пристально. Костянистое тело было широко, напоминало несколько строением колокол. И кончалось целым рядом конечностей, руки были скорее крыльями, потому что на них я заметил перепонки. Наконец, все это кончалось как бы рыбьим хвостом, а может быть, рулем, чтобы забирать воздух во время полета.

Пока я смотрел, окаменев от изумления, жрец, приведший нас, исчез. Потайная дверь замкнулась. Мы были с Сеатой вдвоем.

- Кто это? — хрипло спросил я, указывая на мумию.
- Это он, — тихо ответила царица, — тот, кого мы почитаем. Он первый царь наш и вечный наш владыка. Прости меня, господин мой! Но я верю, ты сам хотел того. — Она поклонилась мумии.

— Сеата, но человек ли это? — опять спросил я.
— Он больше чем человек, — ответила Сеата еще тише. — Да! Есть другие миры, мой Толе! Есть высшие существа. Она смотрела на меня восторженно...

XXII

Тогда невыразимый стыд сдавил мое сердце. Я вдруг отступил от Сеаты. Мне подумалось, что я краду ее милость.

— Царица, — с трудом выговорил я, — отвернись от меня, царица. Я недостоин твоего взора. Я лгал вам всем, и тебе я лгал. Я вовсе не житель Звезды. Я, как ты, родился здесь, на Земле.

Широко открыв глаза, еще не понимая, царица отшатнулась от меня, как от призрака.

— Да, — продолжал я угрюмо, — я не житель Звезды и не сын царя. Я бездомный скиталец, которого дома презирают, который убежал в пустыню от насмешек. Все время я обманывал тебя.

Ответ царицы был скорее угадан, чем услышан мною.

— Ах, Толе! Разбита прекрасная мечта, яркая надежда! Так близок был ко мне иной мир, не мир Земли. [...] А теперь, теперь я снова приговорена навеки... Бедные крылья сломаны.

Потом, взглянув на меня со слабой улыбкой, Сеата добавила громче:

— Но ты не грусти, мой Толе. Разве я в тебе любила только жителя Звезды? Ты был дорог мне как учитель. Ты дал мне понять, что я только угадывала. Что может быть иная жизнь, что не все кончается на этой Горе, что не вся мудрость у наших мудрецов, не вся правда — то, чему учили нас старики... Я, как прежде, люблю тебя, Толе. Грусть эта только моя.

Но голос ее был надтреснутым. Я попытался ободрить ее:

— Царица! Я позорно лгал, говоря, что прибыл со Звезды. Но я говорил тебе великую правду об иной жизни, о человечестве, которое ждет тебя. Ты увидишь все те чудеса, о которых я говорил, будто они на моей Звезде. Увидишь, если мы спасемся...

— Может быть, мы спасемся, Толе, — грустно молвила Сеата, — но меня не утешат твои чудеса. Что мне в том, что они

чудеса, если они здесь, на Земле! Если их создали люди, такие же, как я! Если есть границы моему миру! Нам сказано: до сих пор это твое, а дальше мы не смеем. О! Толе! Толе! В этом-то ужас.

Она ломала руки. Я мог многое возразить ей, но молчал, не смел говорить. Но вот она встала с видом пророчицы.

— Идем! Как бы то ни было, теперь больше чем когда-либо должно исполнить волю Звезды. Идем!

За ложем была еще одна потайная дверь и узкая извишающаяся лестница. Скользя во мраке, мы поднялись на круглую площадку, которой заканчивалась Гора Звезды.

Была безлунная ночь. Во мгле не было видно ни долины, ни террас. Ни звука не доносилось снизу. Мы были словно одни во всем мире. Среди крупных тропических звезд ярко сверкала красная звезда Марса. К ней простерла свои мраморные руки Сеата.

— Звезда! Священная Звезда! Ныне исполняю твою волю. Ты царица на этой Горе. Пришел час истребить твое царство. Свое взыщи себе, нам же оставь наши горести.

Потом, обращаясь ко мне, Сеата добавила:

— Я верю, да! Я верю, что у нас есть связь с нашей Звездой. Ты не прибыл к нам со Звезды, но я чувствую, что мольбы и пение могут достигать до Звезды, [...] что оттуда к нам доходят голоса. Я слышу! Я слышу зов! Я иду к тебе. Звезда! Иду! Иду! — Она воскликнула последние слова в самозабвении и как лунатик шла к сверкающей Звезде. Я удержал Сеату на краю обрыва. Она очнулась.

— Ах, Толе, мне послышался зов, будто Звезда меня звала. Могла она звать? Как ты думаешь? Веришь ты этому?

— Я всему верю, чему веришь ты, — отвечал я, плача и целуя ее платье.

Сеата подумала секунду, потом сказала опять твердым голосом:

— Здесь на середине стоит золотой шар. Его должнобросить вниз.

— Сеата, но это страшная тяжесть, это не под силу одному человеку.

— Толе! Ты умен, поищи, постарайся.

Царица села над обрывом, опустив ноги в пропасть, и задумалась. Я подступил к шару. В нем было с виду пудов... Скоро я ощупью нашел, что ось его составляет металлический стержень, который можно вынуть. Так у меня оказалось в руках орудие. Я старался, действуя им как ломом, приподнять шар. Это мне не удавалось. Потом заметил я, что некоторые камни на площадке легко вынимаются. Я начал делать скат для шара. Работа подвигалась быстро. Наконец я решился упереться в шар. Он неожиданно легко поддался. Я едва устоял на ногах, а страшная тяжесть покатилась сначала по площадке, потом подпрыгнула с края, и загрохотал страшный раскат от ее удара о крепкую стену Горы. Удар повторился еще дважды, и долго замирали отзвуки.

— Свершилось, — торжественно сказала Сеата. — Вернемся. Я повиновался Сеате как существу высшему.

Мы опять спустились в комнату с ладьей. Сеата нашла где-то кружку воды и немного маису, видимо, приготовленного для нас. Я был очень голоден, но Сеата почти не прикоснулась к пище. Порывы бодрости сменились у нее полным бессилием. Когда я подошел к ней, она что-то шептала. Я взял ее за руку — рука была холодна и дрожала.

— Ты больна, Сеата. Ты должна лечь отдохнуть.

Она повиновалась и поникла на каменное ложе. Почти тотчас глаза ее закрылись: то был свинцовый сон. Я благоговейно прикоснулся губами к ее бледному челу, взял факел и вышел потайной дверью вниз, в другие этажи горы.

XXIII

Я предчувствовал гибель, я хотел последний раз осмотреть Гору, эту дивную Гору, у вершины которой хранится скелет странного существа. Был ли прав старый помешанный ученый, умерший в степях Африки? Создание ли это дерзких беглецов из другого мира? И, проходя опять по переходам лестницы, я мог только дивиться на это создание. Вся Гора изрезана, изрыта залами, комнатами и проходами сверху донизу. Иные залы были выше сорока саженей, громадные арки поддерживали тяжелые своды, переходы шли уверенно, не сбиваясь с принятого

го направления, нигде не заметно было никакого промаха; я встречал статуи, высеченные из самой скалы, составлявшие одно с полом, так что для них оставляли глыбу, когда пробивали самую залу. Я готов был верить, что этот лабиринт был создан по единому плану великого зодчего, во власти которого были целые века и миллионы работников. Я прошел по Области Тайны. Все было там нетронуто. Золотой шар с тихим шумом продолжал катиться по золотому желобу, как катился, может быть, много столетий. Пять старцев и пять отроков лежали, простертые на полу. Я нагнулся к ним. Они были мертвы, тепло медленно покидало их тела...

Осторожно стал я спускаться в Царский этаж. Там я мог по-встречать рабов. Но все было тихо. Я прошел средней витой лестницей и сразу вступил в Звездную залу. Она была так же изуродована; изображения Солнца и Луны сорваны со стены, и их пустые впадины зияли, как свежие раны. Но потолок был слишком высок, и при свете моего факела засверкало искусственное звездное небо — загорелся Южный Крест, красным светом загорелась священная Звезда. Тихие стоны вспугнули меня, когда я сделал несколько шагов вперед. Я увидел, что пол был устлан телами. То были лэти, павшие в последней схватке с рабами. Но еще больше валялось рабов, разрубленных лэтийскими мечами. Где-то были еще живые, только раненые, потому что я слышал зов. Я стал искать, скользя в лужах крови. Скоро я наткнулся на тело Итчуу. Юноша был убит наповал. Голова срублена до половины. Подальше у стены была целая груда женских тел.

Я уже дошел опять до середины залы, когда один из лежавших вдруг узнал меня и окликнул:

— Чужеземец!

Я остановился. Из груды тел привстал старик с седыми, но окрашенными волосами. Он смотрел на меня огненным взором.

— Чужеземец! Зачем вернулся ты сюда? Ты ишешь проклятий, ты хочешь, чтобы все мертвцы кричали тебе голосом бури: проклят, проклят! Нет! Ты этого не услышишь. Я иное скажу тебе. Не ты погубил Гору, ты не был бы в силах сделать это. Сама Звезда решила, что [наступил] ее последний час. Слышишь, сама Звезда. И потому мы тебя прощаем.

Проговорив эти слова, старик опять откинулся навзничь. Я слушал его слова, окаменев от ужаса, дикий бред уже готов был овладеть мной: по слову старика мне уже казалось, что мертвецы кругом действительно приподнимаются, встают, говорят мне... Страшным усилием воли я овладел собой и хотел подойти к старику, чтобы чем-нибудь помочь ему. Но вдруг я ясно почувствовал, что почва под моими ногами заколебалась.

От первого толчка я устоял. Но второй удар землетрясения был так силен, что я упал в лужу крови, и факел мой погас. Затем началось равномерное качание пола. Тела, лежавшие кругом меня, зашевелились как живые. Я был во мраке среди двигающихся мертвецов. Ужас оледенил мое лицо, сердце перестало биться.

Я полз среди груды тел, я ощупью искал дорогу. Я терял сознание. Наконец я нашупал вход наверх. Я бросился бежать по скользким ступеням. Я пробежал в полном мраке через комнаты музеев; я остановился только около трупов жрецов, освещенных стоявшим здесь факелом. Тут я пришел в себя. Но я не мог отдать себе отчета в своих мыслях. То было сострадание к умирающим там, во тьме, одинокими, то был ужас и содрогание перед всем, что я сейчас испытал, то было смятение всех чувств. А пол продолжал качаться под моими ногами.

Я взял факел, освещавший мертвых жрецов, и пошел к Сеате. Она спала.

Я вышел на площадку Горы. Взошла луна в половину четверти. При слабом свете ее смутно увидел я что-то необъяснимое. На том пространстве, которое должна была занимать долина, странно сверкала полоса лунного света, словно под нами была водная гладь. Я долго смотрел на переливы света в волнах, потом я сошел на верхние ступени лестницы и, опустившись на них, тотчас заснул.

XXIV

Мне снилось, что я еще раб в стране Звезды, что я бежал, проник в подземные проходы Горы и пробираюсь по ним, ища выхода. Переходы кружили, извивались, убегали все дальше, и не было им конца. Присосавшись к стенам, ждали здесь меня

какие-то громадные слизняки, которые тянули ко мне липкие руки. Я отбивался от них. Когда наконец я совсем изнемог, подземелье вдруг кончилось. Мне глянул в очи океан. Я упал на гранитный выступ, а передо мной расстипалось безграничное водное пространство; луч луны играл на волнах; вал за валом разбивался о каменный берег, и страшен был гул набегающей пучины.

И в эту минуту подумалось мне, что я ушел из страны Звезды навсегда, что мне больше нет пути назад, что больше я не увижу Сеата никогда, никогда! Эта мысль сковала меня невыносимым ужасом; я молил небо об одном — умереть, не быть, чтобы только не испытывать этих мучений... Но солнечный луч вдруг ударил прямо мне в лицо, и я проснулся на острых ступеньках лестницы. Первое, что охватило меня, было чувство безмерного счастья, блаженство от сознания, что Сеата близко, что она со мной, что я увижу ее. Но в то же мгновение меня поразило, что рев набегающей пучины не смолк, и после пробуждения я бросился наверх.

Гора медленно, но явственно опускалась. Я ощущал сотрясение площадки. Я видел, что отдаленные края котловины как бы поднимались вверх. Внизу же вместо долины, вместо лесов, полей и всей этой пышной карты расстипалась серая, волнующаяся водная гладь. Пенистые волны ходили и качались везде, куда достигал глаз. Какие-то жерла разверзлись за ночь, какие-то потоки хлынули из недр земли, и вот вся котловина была уже затоплена наполовину. Море поглощало Гору. Гора погружалась в море. Седые гребни волн уже плескались о террасу третьего этажа. Пока я стоял в оцепенении со взором, прикованным к невероятному зрелищу, на площадке показалась Сеата, бледная, утомленная, но с горящим взором. В ней ничего не было земного, словно она уже не принадлежала этому миру.

— Это Тайна Горы, — вдохновенным голосом сказала она мне, не ожидая вопроса. — Вода поглотила всю страну; вода, служившая гробом для предков, смоет и все создания веков, поверья прошлого и записи о грядущем. Ты вызвал к жизни эту силу, дремавшую в оковах. Вода будет на месте моей страны, а мы... У нас есть возможность пережить ее.

До нас смутно долетали стоны. Рабы так и не нашли прохода, ведшего в четвертый этаж. Потому никого из них не было на четвертой террасе, она была пуста. Зато весь народ рабов теснился, жался на третьей террасе, уже омываемой волнами. От нас это было на расстоянии почти трехсот саженей, и нам трудно было следить за ними.

Рабы были в паническом страхе. Они почти не двигались. Вся толпа — тысячи в три человек — стояла неподвижно, обернувшись к воде, и смотрела, как волны наступали на нее. Изредка у всех у них вырывался нечеловеческий вопль, доносившийся до нас слабым стоном.

Вот вода перехлестнула через парапет. Рабы стали погружаться в губительную стихию. Я не знал, что сделать, я хотел бежать к ним, указать им путь к нам, я что-то говорил Сеате. Но она остановила меня, властно положив мне руку на плечо.

— Останься здесь. Если бы ты и привел их сюда, все равно их гибель была бы неотвратима. Челнок сделан лишь для двоих, ибо Звезда знала, что нас будет двое. Не пытайся бороться с велениями Звезды, мы слишком ничтожны, наша участь — покориться.

Я упал ничком у края площадки и впился взором в ужасающую трагедию, совершающуюся где-то в глубине. Вода подступила к груди рабов, постепенно поглощая их. Матери поднимали грудных детей над головой, более сильные в животном ужасе взбирались на плечи других, иные пытались взобраться вверх по гладкой стене, но тотчас обрывались, некоторые, обезумев, бросались сами в пучину. Вода повышалась со стремительной быстротой. Я видел, как волны стали оказывать головы самых высоких. Я видел мгновение, когда поднятая рука исчезла в пене прибоя. На поверхности виднелось несколько тел, боровшихся еще со смертью. Но никто из погибающих не умел плавать. Через несколько минут все было кончено. Ничто постороннее не нарушило более се-рой пенистой глади.

Когда я приподнялся, помертвевый от ужаса, Сеата все еще стояла в прежнем положении со взором, устремленным куда-то вдаль, прочь от земли.

- Все кончено, — хрипло сказал я.
Сеата обратилась ко мне.
— Мой милый, — промолвила она, впервые называя меня так, — надо принести сюда членок.
Я повиновался.

XXV

Гора опускалась медленно. В полдень исчезла под волнами терраса третьего этажа. Солнце уже клонилось к горизонту, когда волны дошли до края котловины. В то же время и вершина Горы уже почти касалась поверхности воды. За этот день мы едва ли обменялись с Сеатой десятком слов. Она сидела на груде камней, выбитых мной вчера из площадки, и загадочным взором смотрела на водную поверхность. Иногда мне казалось, что она наслаждалась этим новым для нее зрелищем. Иногда я начинал понимать, что за безумная тоска дает ей сердце.

Я работал над лодкой, сколько мог приспособливая ее для путешествия. На Сеату смотрел я даже с некоторой робостью. Однажды я сказал ей, утешая ее:

— Мы скоро увидим с тобой новую землю и новое человечество. Думай о будущем.

Она ответила мне:

— Мы с тобой величайшие убийцы на земле.

Я содрогнулся.

В другой раз мне пришла странная мысль в голову, и я опять обратился к ней:

— Сеата, а как ты думаешь, не мог ли кто-нибудь из рабов проникнуть в Царство Тайны? Может быть, они еще и теперь таятся там. Не пойти ли к ним?

Сеата холодно посмотрела на меня и сказала:

— Нет, надо, чтобы они погибли все.

И я содрогнулся снова.

Когда вода подошла к нам на расстояние двух саженей, я спустил лодку в море: я боялся водоворота, который должен был бы возникнуть, когда пик Горы погрузится в пучину. Лодка веревками была привязана к камням, бывшим на середине пло-

щадки. По этим веревкам я спустился в лодку и ждал. Когда расстояние между лодкой и площадкой еще уменьшилось, я быстро помог сойти Сеате, перерубил веревки своим лэйтеским мечом, оттолкнулся от стены и всей силой налег на весла, спеша уйти от тонущей Горы.

Через несколько минут вершина Горы с каким-то свистом погрузилась в пучину. Некоторое время мне приходилось бороться с волнами водоворота, но наконец мы могли считать себя в безопасности, и я огляделся.

Котловины уже не существовало. Вода перелилась через край и затопляла Проклятую пустыню, не переставая прибывать, грозя превратить всю Африку в дно морское. Течение несло нас от центра, и весла были не нужны..

Я посмотрел на Сеату, Сеата смотрела на меня.

— Мой милый, — сказала она мне, — нас двое во всем мире. Мы первые люди и последние люди. С нами кончается жизнь Земли. Нам надо умереть.

Я пытался ее успокоить:

— Земля велика еще. Есть много-много людей в мире. Ты найдешь новую родину, ты найдешь то, что искала.

Сеата молчала, устремив взор за нашу корму, туда, где возвышалось недавно Царство Горы. Теперь со всех сторон от нас, куда только хватал взор, были небо и вода. Ярко-красное солнце закатилось в обагрившиеся волны. Настала ночь и прохлада. Я хотел подкрепить силы. С нами было очень немного маису, но совсем не было воды. Со страхом и горестным предчувствием зачерпнул я воду за бортом. Увы! Худшие предчувствия исполнились. Вода была горько-соленая, негодная для питья, поистине морская.

Весь ужас нашего положения ясно представился мне. Предстояло проехать или снова пройти всю ту же Проклятую пустыню, по которой мы шли с Мстегой, почти не имея ни малейшего запаса воды. Я ничего не сказал Сеате, но она все поняла.

— Не пугайся, милый, — сказала она, — для меня теперь ясно, что все создано волей Звезды. Я прежде смеялась над суевериями отцов, но теперь понимаю, как была я безумна. Позволь мне принести мольбу Звезде.

Она стала на колени, обратив свое лицо к Красной Звезде. И я тоже преклонил колени рядом с ней, молился впервые после многих и многих лет. И в молчании пустыни наш утлый челнок уносил нас в неведомую даль...

XXVI

Ночью я греб, направляясь по звездам. Под утро утомление одолело меня. Проснувшись, я увидел, что Сеата лежит на дне лодки с закрытыми глазами. В испуге я наклонился к ней. Она взглянула на меня и слабо улыбнулась.

— Я очень слаба, мой милый, — сказала она мне, — мне кажется, это смерть.

Я был так потрясен последними днями, что эти слова не ужаснули меня. Только слезы полились из моих глаз. Я прикоснулся губами к ее руке.

Не лишения, не трудности пути губили Сеату. Зной также не был силен, так как воздух был полон водяными парами. В полдень мне удалось поймать орла, спасшегося от потопа, но теперь упавшего в воду. На время мы были спасены от голодной смерти, могли даже утолить жажду его свежей кровью. Но Сеата не хотела ни пить, ни есть. Внутренняя скорбь убивала ее. Днем я продолжал грести, придерживаясь того направления, которое я дал лодке с вечера, но далеко не был убежден, что мы плывем верно. Разве можно было определить направление в этом океане без берегов? Вода перестала прибывать. Волнение утихло. Сквозь прояснившуюся воду мне было видно дно — поверхность каменистой пустыни. Глубина нового моря была всего аршина полтора. Я мог достать веслом до солончака. Весь день Сеата лежала как в забытьи. Несколько раз я смачивал ей губы кровью убитой птицы, но, приходя в себя, она не хотела пить. К вечеру она совсем очнулась и позвала меня:

— Мой милый! Мой дорогой! Нам осталось немного говорить с тобой. Я умираю.

— Сеата! Полно! — в тоске сказал я. — Зачем же умирать? Разве ты не хочешь увидеть мою землю, моих братьев?

— Полно, друг! Это несбыточная мечта. Я и не могла бы жить без моей страны, после гибели моего народа. Теперь я

сознаюсь тебе во многом, в чем не решалась сознаться и себе. Напрасно мечтала я о других мирах, моя душа все же была прикована к этому. Я очень любила свою страну как родину, как родную землю. Я очень любила тебя. Толе, очень, как мужа. Скажи же мне еще раз, что ты меня любишь, что ты не льстил бывшей чужеземной царевне. Скажи, чтобы я умерла счастливой.

Я припал губами к ее рукам, я шептал ей, что, теряя ее, я теряю больше, чем жизнь.

Она улыбнулась своей обычной тихой улыбкой и сказала:

— Нет, ты не виновен в гибели Горы. То Звезда отомстила лэтеям за рабов, а рабам — за лэтеев. Та же Звезда послала мне тебя. Толе, чтобы я поняла себя, а тебе — меня, твою царевну, твою Сеату, чтобы и ты воскрес к жизни. Помни меня, а я благословляю тебя для жизни.

— Сеата! — с полным отчаянием воскликнул я. — Разве для меня будет жизнь без тебя?! Ради меня, ради души моей, не уходи, будь со мной, останься.

В слезах я целовал ее холодеющие пальцы, она уже не могла говорить, и только тихая улыбка сохранилась на ее побледневших устах. Потом она устремила взор к завечеревшему небу, и душа ее отлетела из мира земли, которым она так тяготилась при жизни.

В тот же час, как Сеата умерла, я вдруг понял всю бессмертность своей любви к ней. Мне сразу как в блеске молнии представились два существа — я до этой любви и я, воскрешенный любовью. И я понял, что это два разных человека. Я рыдал, как [осужденный], я хотел бы воскресить ее хоть на время, на одно мгновение, чтобы доказать ей все, что не успел выразить при жизни. В бешенстве я проклинал себя за потерянные дни и часы, в которые можно было передать так много!

Мысль об ужасном будущем пронеслась в моей голове. С дикой решимостью я схватил дорогое мне тело, прикоснулся к нему последним поцелуем и медленно опустил его за борт. Я произнес несколько молитвенных слов над этим местом, не обозначенным никаким памятником. Потом сильным ударом весла я удалился оттуда.

Почти тотчас раскаянье овладело мной, во мне воскресло страстное желание видеть ее, целовать ее хотя бы и безжизненные руки, говорить с ней. Я начал гребти назад, среди мрака наступившей ночи я искал ее тело, я без устали работал веслами, плыл взад и вперед, тщетно всматриваясь в почерневшую воду. Но мне не суждено было найти дорогой могилы.

Взошло солнце, и я увидел себя все за теми же безумными поисками. Я не знал, куда уплыл я, долго ли блуждаю. Тогда в порыве нового отчаяния я отбросил весла прочь от себя в эту спокойную безответную воду и распростерся на дне членка, на том самом месте, где лежала Сеата, целовал те доски, к которым она прикасалась. Неожиданно возникший ветер развевал мои волосы, но я не обращал на него внимания. Мне было все равно, куда влечется моя ладья. -

Так прошел день, и настала новая ночь, и краски новой зари проглянули, прогорели и погасли [на востоке]. Я смутно понимал течение времени. Я был снова во власти бреда и диких грез, то отвратительно-мучительных, то несказанно блаженных, потому что в них мне являлась снова моя царевна Сеата. И весь мир был не нужен мне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грубое морщинистое лицо старухи негритянки и ее иссохшие руки -- вот было первое, что я увидел, когда очнулся. Челнок мой прижало ветром к краю озера, образовавшегося на месте Проклятой пустыни, и выбросило на траву. Меня подобрало кочевавшее здесь племя бечуанов. Обо мне заботились и, как умели, лечили. Много дней пролежал я в горячке и, очнувшись, был так слаб, что не мог шевелиться. Добрые бечуаны кормили меня сушеным мясом и поили водой из скорлупки страусовых яиц. Только через две недели встал я на ноги и лишь через месяц мог выйти за пределы деревни.

Первую свою прогулку я совершил по направлению к Горе Звезды. Вновь образовавшееся озеро уже отхлынуло, и на месте прежней каменистой степи простиралась равнина, покрытая илом, кое-где начинавшая порастать первым мохом и робкой травой. Ясно было, что впоследствии здесь образуется степь

и появится жизнь. Пальмы вырастут над могилой Сеаты. Напрягая зрение, я всматривался вдаль, но силуэт конусообразной Горы уже не рисовался на фоне ясного утреннего неба.

С трудом оторвав глаза от дали, повернул я к ближнему леску. Трава шелестела под моими ногами, попугай испуганно перескакивали с ветки на ветку. Мне вздумалось испробовать, изменила ли мне рука. Со мной был бечуанский лук, которым прежде я свободно владел. Прицелившись, я спустил тетиву, стрела простонала, и попугай, как бывало, повалился с ветки на берег ручья. С несчастной улыбкой пошел я за бесполезно убитой птицей. Да! Немногое изменилось во мне, только сердце стало живым и страдающим.

Я нагнулся, чтобы поднять попугая, и увидел свое отражение в зеркале ручья. Длинные волосы по-прежнему смело падали мне на лоб, на шею, но они сверкали, как серебро. На меня из ручья смотрело лицо еще молодого человека, но с уже совершенно седой головой.

Еще печальнее улыбнулся я. Прошлая жизнь была погребена под этим снегом, а в новую я не верил. Подняв убитого попугая, я побрел в крааль друзей моих бечуанов. Больше мне некуда было идти.

Фаддей Булгарин

ПРЕДОК И ПОТОМКИ

Сатирическая повесть

ГЛАВА I

Гроза на съезжем дворе. Писарь Михеич. Добыча

Один из частных приставов санкт-петербургской полиции, получив выговор от обер-полицеймейстера и узнав в управе благочиния, что три дела, представленные им в сие присутственное место, решены иначе, нежели он надеялся, возвратился домой в величайшем гневе. Несколько дворников, обвиненных квартальными надзирателями в неисправности, были первыми жертвами гнева частного пристава; потом несколько несчастных пьяниц, поднятых ночью на улицах, подверглись той же участи, и поделом. Собравшиеся в канцелярии квартальные надзиратели и писцы предчувствовали для себя худые последствия от гнева начальника и с трепетом слышали, в отдалении, грозные его речи; а некоторые просители заблагорассудили возвратиться домой и выждать благоприятнейшее время для объяснения своих дел. Наконец частный пристав взбежал, запыхавшись, на лестницу, толкнул ногою дверь в канцелярию, бросил шинель на стол, прикрыв ею трепещущего писца и его бумаги, и скорыми шагами пошел в свои комнаты. Супруга его, получив новый чепец в подарок от модной торговки, недавно переехавшей в часть, выбежала к мужу, чтоб обрадовать его обновкой, которая была ей весьма к лицу, по уверению кухарки, но увидев, что супруг ее весь был в поту и бросал вокруг себя огненные взоры, она побежала назад.

— Куда, сударыня! — воскликнул грозно частный пристав.— Подай водки! — И с сими словами снял шпагу, бросил шляпу и растянулся на канапе, бормоча: — Постой же, я им дам! Я их

проучу! Черт их всех побери! Вымешу я на других! Никому ни копейки более!

Между тем жена внесла графин с настойкою густого темно-коричневого цвета, рюмку величиной в полчетверти и несколько тонких ломтиков черного хлеба, крепко натертых солью. Частный пристав вил в горло три рюмки водки, одну за другою, закусил, прошелся несколько раз по комнате и грозно завопил:

— Гей, кто там! трубку!

Тотчас явился сын его, мальчик лет четырнадцати, который воспитывался дома, под надзором нежных родителей, учился грамоте у главного частного писаря, а светскому общению и ловкости у надзирателей, бравших его с собою в театры, в трактиры и в другие публичные заведения. Главная обязанность сынка состояла в том, чтоб набивать рубку папеньки и ходить к главным жителям части с изустными его поручениями. Сынок, в изодранном нанковом сюртуке, без галстука, предстал с большою деревянной грубкой, которую сам раскуривал, и подал ее отцу. Но отец грозно посмотрел на сына и, схватив за всклоченные волосы, вытолкнул его за двери, промолвив:

— Негодяй, неряха!

Если б съезжий двор мог колебаться, как некогда колебался Олимп от гнева Юпитера, то верно в эту пору не осталось бы камня на камне в сем средоточии порядка и справы от гнева частного пристава. Сын его, потеряв клок волос, пробежал по всем коридорам с визгом, возвещая грозу, а супруга сердитого начальника скрылась в кухне.

Но люди сердятся, веселятся, хворают, прыгают, умирают, а бумажные дела текут, текут, как вода в море! Человеческие глупости бесконечны и безостановочны! Невзирая ни на гнев, ни на веселость частного пристава, чернила лились рекою в его канцелярии и, чудесною силою превращаясь в хлеб и вино, утучняли полдюжины писцов, украшая их лица багровым цветом.

Ударил роковой час, и главный писец должен был явиться с кипою бумаг к своему начальнику. Писец этот, узнав на съезжем дворе всю суetu мира сего, сделался философом цинической секты. Хотя он имел угол для своего ночлега, но, подобно Диогену, любил проводить время если не в бочке, то

возле бочки и часто отдыхал, по трудах, за нею. Весь гардероб его составляли нанковый сюртук, неизвестно какого цвета, и фризовая шинель, имевшая некогда цвет гороховый. Он так редко брился, что знакомые не узнавали его, когда он являлся на улице выбритый. Однажды в год он ходил на Апраксин двор, в лавки, где продаётся готовая одежда, и там, подобно улитке, сбрасывал с себя старую оболочку и наряжался в новую. Но этот день был триста шестидесятый от того, в который писец переменил свою оболочку на толкучем рынке, и девятый с тех пор, как чугунная бритва со звоном прошла по щетинистой его бороде, а от того она была теперь как сапожная щетка, а нанковый сюртук похож был на рогожку из сального буяна.

- Есть делишки к подписанию и арестанты к выслушанию, ваше высокоблагородие! — сказал писарь.
- Провались ты с делами! Арестантов допросил — да и в преисподнюю, а завтра в управу... Черт вас всех побери!
- Есть одно дельцо *казусное*, ваше высокоблагородие. Из второго квартала доставлен беспаспортный человек...
- В управу! — закричал частный пристав, прервав речь писца.
- Жаль отослать его в управу, ваше высокоблагородие! Человек этот, как кажется, безумный, сиречь сумасшедший...
- Ну, так к Обухову мосту...
- Позвольте высказать, ваше высокоблагородие! При нем найден целый бочонок с новенькими голландскими червончиками да бумажник, полный новеньких беленьких бумажек, только что с иголочки...
- Где он, где он?..
- Деньги отданы на сохранение почтеннейшей супруге вашего высокоблагородия Акулине Матвеевне, а человек в арестантской.
- Ах, ты, окаянный! Ты безумный, а не он!.. Ко мне его, сейчас перевезти в мою комнату! А кто допрашивал его?
- Надзиратель второго квартала — и я.
- Беги и приведи тотчас арестанта: я сам допрошу его, а квартальному скажи, чтоб пришел через кухню в заднюю комнату и подождал меня.

- Просители дожидаются...
- Пусть выслушает их дежурный... мне некогда я имею поручение... скорей приведи арестанта!

Писец побежал опрометью за двери, а частный пристав закричал:

- Акулька, Кулинька, Акулина Матвеевна!
- Жена явилась из кухни, в страхе и трепете.
- Куда ты припрятала деньги, которые дал тебе квартальный?
- Какие деньги, батюшка, Никита Игнатьевич?
- Червонцы и бумажки!
- Знать не знаю и ведать не ведаю, батюшка, Никита Игнатьевич.
- Как, что! Ты не знаешь, где девался бочонок с червонцами и бумажник с ассигнациями?
- А, бочонок и узелок! Так это червонцы и бумажки? У меня, у меня! Ведь квартальный не сказал, что это такое, а просто внес с писарем да велел беречь до твоего прихода. Вот здесь, под кроватью!

Частный пристав пошел в спальню, посмотрел с улыбкой на бочонок, поднял узелок и положил в комод; потом перевел дух из всей силы, как будто для того, чтобы изгнать из сердца всю злость и досаду, и наконец поцеловал жену и сказал:

- Ох, тяжела служба, любезная жена! Если б удалось... но увидим! Вот уже пришли... останься здесь!

Частный пристав возвратился в первую комнату, куда писец ввел человека средних лет, в русском кафтане, с русою окладистою бородою, высокого, широкоплечего и краснощекого. Частный пристав смотрел пристально в глаза арестанту, но не заметил в них ни мутности, ни других примет сумасшествия. Арестант поклонился приставу и сказал:

- Прошу тебя, кормилец, скажи мне, за что меня заперли в тюрьму и отняли мои деньги? Я ни в чем не провинился и не заслужил на то, чтоб меня встретили тюрьмою в моем отечестве, на святой Руси!

Частный пристав не отвечал ни слова и не сводил глаз с незнакомца; наконец сел и, кивнув головою писарю, сказал:

- Садись и пиши, Михеич!.. Изволь отвечать на мои вопросы

ГЛАВА II

Допрос и сказочные ответы

- Как тебя зовут? — спросил частный пристав арестанта.
- Сергей Сергеевич Свистушкин, — отвечал незнакомец.
- Готово! — сказал писарь, отряхнув перо и обтерши об рукав бесцветного сюртука.
- Молчи и пиши, Михеич! — возразил пристав. — Откуда ты родом?
- Из Москвы.
- Из какого звания?
- Из дворян московских, стольник его царской милости.
- Что такое? Придворный столяр и из дворян! — сказал пристав в недоумении и снова посмотрел быстро в глаза незнакомцу.
- Прикажете записать, ваше высокоблагородие? — спросил писарь.
- Нет, постой! Что ты несешь околесную! — примолвил пристав, обращаясь к незнакомцу. — Как может быть, чтоб дворянин был столяром? Какой ты дворянин в русском кафтане и с бородой?
- Я, батюшка, не столяр, а стольник его царской милости, царя, государя и великого князя Алексея Михайловича всея России, — отвечал важно незнакомец. — Ношу я каftан, в котором ходили предки мои и все русские князья и бояре. Бороду не брею, потому что ни один из предков моих не брил ее и что я русский, а не немец.
- И я, братец, не немец, а природный русский, из города Чухломы, — сказал пристав, — но если б явился с бородою к начальнику, то меня выгнали бы в толчки. Об каком ты царе толкуешь? У нас царь, его императорское величество Александр Павлович, а не Алексей Михайлович... Михеич, не знаю, писать ли это? Он несет ахинею! — При сих словах пристав провел пальцем возле своего лба, чтоб дать знать, что у незнакомца вертится в голове. Потом, обратясь к незнакомцу, сказал:
- Послушай-ка, Сергей Сергеевич Свистушкин, не говори о царе Алексее Михайловиче! Ведь за это, брат, попадешь в беду: я не враг тебе и хочу тебе помочь как-нибудь. Где твой паспорт?

- А что такое паспорт?
- Как, ты не знаешь, что такое паспорт! О, это уже слишком! Ты хочешь шутить со мной; так я же тебя проучу! В кандалы!
- Помилуй, отец родной, сжалься надо мной и выслушай, ради Бога! Мне говорят, что я в России, а я, русский человек, ничего не понимаю здесь, и меня никто не понимает. Ради Бога, скажи мне, где я? Ужели есть другое царство русское? Все, что я здесь вижу, непохоже на русское, только в речах узнаю русские слова. Ради Бога, объясните мне, где я и что со мною делается!
- Частный пристав встал со стула, подозвал к себе писца и сказал:
- Михеич! Что ты думаешь об этом? Надобно ли написать весь вздор, что говорит сумасшедший?
- Разумеется, ваше высокоблагородие: это послужит доказательством, что он сумасшедший. И тогда,— промолвил он вполголоса,— не поверят, когда он скажет, что у него были деньги.
- Правда твоя, Михеич! Послушай-ка, господин придворный столяр, из дворян, небывалого царя Алексея Михайловича! Рассказывай, что тебе угодно. Пока тебя заставят признаться, нам надобно знать, что ты говоришь о себе. Начинай, как ты вышел из Москвы, где был, что делал и как попал сюда без паспорта. Прежде выслушай, Михеич, а после напиши своими словами и вели подписать ему, если он знает грамоте.
- Как мне не знать грамоте! — возразил незнакомец.
- Итак, говори! Мы слушаем.
- В … году, в апреле месяце, царь государь и милостивец наш, Алексей Михайлович, призвал меня к себе, в свои царские кремлевские палаты, в Москве белокаменной, и сказал:
- «Сережка! Поезжай к городу Архангельску, да высеки порядочно воеводу и его дьяков, да подьячих, за то, что сдирают лишние подати и берут взятки с православных и немецких купцов, а чтоб плуты не разжирели чужим добром, имение их опиши в мою казну, государеву. После этого сядь на ладью да съезди на Соловки и отдай архимандриту церковную утварь и ризы, которые я обещал на церковь. Всем чернецам дай от меня по пяти алтын, чтоб молили Бога за меня, за деток моих и за всех

православных моих подданных. На обратном пути заезжай в Лонь, да высеки пристава, чтоб не крал муки, которую я посылаю лопарям из Архангельска. Потом возвратись в Москву и предстань пред светлые очи мои, государевы...»

Частный пристав прервал речь незнакомца:

— Помилуй, братец, да это сказка! Начать бы тебе: «В некотором царстве, в некотором государстве!..»

— Мне известно «Уложение» царя Алексея Михайловича,— сказал писец,— и я вычитал в «Зерцале Российских государей»... Позвольте! Полезная книжица сия имеется у сынка вашего благородия, Пантелеимона Никитича: мы тотчас увидим! — Писец пошел в другую комнату и возвратился с книгою. — От смерти царя Алексея Михайловича сто... лет. Сколько тебе было лет от роду, когда тебя выслал царь в Архангельск?

— Тридцать шесть, — отвечал незнакомец.

— Дважды два, семь и семь... следовательно, тебе должно быть теперь сто... с лишком лет,— сказал писец, посмотрев насмешливо на незнакомца.

— Итак, царь, государь и милостивец наш, Алексей Михайлович, преставился, — сказал незнакомец. — Вечная ему память и царство небесное! Воля ваша, честные господа, но вы шутите надо мною, несчастным, говоря, что мне сто лет с лишком!

— Не ты ли шутишь над нами, братец? — сказал частный пристав.— Смотри только, чтоб не поплатиться за шутки! Впрочем, ври что угодно, это не наше дело. Только говори скорее.

— Приехав в Архангельск, я исполнил царское повеление, высек батогами взяточников и отправился с богомольцами на Соловки. К вечеру настала жестокая буря, и нас понесло Бог знает куда! Хлеба и воды у нас было только на шестеро суток, а нас несло ветром ровнехонько две недели. Умирая с голоду и жажды, мы каждый миг ожидали гибели и уже перестали править ладью, как вдруг восстал еще сильнейший ветер и пригнал нас к ледяным горам. Мы было подумали сперва, что это земля, и обрадовались, но вскоре надежда наша исчезла. Между тем волнение занесло ладью на лыдины, и она разбилась вдребезги.

Я не помню, что со мной было, что я делал, где был; долго ли, коротко ли, только, проснувшись, почувствовал, что я лежу

во льду. Надо мною была ледяная кора, не толще полуаршина. Солнечные лучи проникали лед насквозь, он таял постепенно сверху и допускал теплоту ко мне. Мне стало так хорошо, когда я почувствовал, что в жилах моих переливается теплая кровь и что отвердевшие члены снова принимают свою гибкость! Я стал дышать теплым паром, и вскоре ледяное пространство, в котором я был заключен как в гробу, сделалось обширнее, и наконец верхняя льдина лопнула от удара моих ног.

Я вылез из льда, как бабочка из мешочка, и, вздохнув свежим воздухом, чуть не умер от радости и ослабления. Солнце сильно пекло, и со льда текли ручьи пресной воды. Я утолил жажду и укрепился.

Лишь только я вышел из своего ледяного заточения, одежда моя тотчас свалилась с меня и рассыпалась в прах. Это меня несколько обеспокоило, но провидению угодно было спасти меня чудом и довершить избавление чудом же.

В нескольких шагах от меня я увидел трех мертвых белых медведей, как будто оклевших от ран, нанесенных клыками каких-то животных. Я, отыскав свой нож, уцелевший от нетления, и содрав шкуру с одного медведя, прикрылся ею, а из других шкур сделал для себя постель во льду. Впрочем, я так закачлился, что мало чувствовал действие холода. На берегу ледяного этого острова было много мертвых рыбы и разных улиток; я питался ими и проводил время, смотря в открытое море. Ночи не было в этом месте, и я тогда только ложился спать, когда совершенно выбивался из сил. Страх быть съедену белыми медведями или другими животными не давал мне покоя; но они не осмеливались приближаться ко мне, и лишь только я начинал кричать, то они бежали от меня опрометью. Других зверей я не видел, кроме китов: одного мертвого кита выбросило бурею на лед, что доставило мне не только обильную пищу, но даже оружие из костей этого животного.

Не знаю, сколько времени провел я таким образом, думаю, месяца два, как вдруг поднялась жестокая буря, о какой я и в сказках не слыхивал! Ледяной остров качало, как щепку, и я ожидал, что его или разобьет, или что он канет на дно. На противоположном берегу я слышал страшный стук и грохот и думал, что ледяные годы уже разрушаются. Створив молитву,

я прилег на льду и ожидал смерти. Но вскоре гром и стук исчезли, а через несколько времени буря утихла.

Я взлез на возвышенность льда и увидел, что часть моего ледяного острова отломало и что на берегу лежат обломки корабля. Надеясь найти человека, спасшегося от кораблекрушения, я побежал туда, но обманулся в ожидании. На льду лежало несколько бочек и бочонков, куски дерева, канаты, а не было ни одной живой души. Со слезами бросился я обнимать куски дерева, давно не виданного мною, и лобызая их как земляка, как вестника с земли, с которою я был разлучен и отдан морем и льдами.

В бочках нашел я сухари и сельди. Я не питался, но лакомился ими, зная, что это последнее средство к моему спасению, если море откажется выбрасывать мне гнилую рыбу и звери найдут другое место для пожирания своей добычи. В бочонках были червонцы; со презрением смотрел я на золото, которое не могло мне принести никакой пользы, и употребил бочонки на то только, чтоб сложить из них род стены, которую прикрыл досками. Положение мое улучшилось, но я боялся наступления зимы и недостатка в пище. Страх будущего тревожил меня в настоящем. Все время проводил я в молитве, приготовляясь к смерти. Однажды я увидел вдали, в открытом море, движущееся белое пятнышко; я думал сперва, что это стадо китов, но вскоре мог рассмотреть, что это корабль на всех парусах. Не могу рассказать, что я тогда чувствовал! Сперва я бросился на колена и поблагодарил Бога, а после взбежал на высокую льдину и стал махать моей медвежьей шкурой, кричать и прыгать от радости. Ветер был боковой, с корабля увидели меня в подзорную трубку и наконец услышали мой крик. Вскоре я увидел, что корабль направил путь к моему ледяному острову. Наконец он бросил якорь на малом расстоянии и выслал за мной шлюпку.

На берег вышли немцы. Они осмотрели меня с ног до головы и подумали, что я дикий человек. Наконец мне удалось растолковать им, что я русский. На корабле находился один матрос, бывший в России; за ним тотчас послали, чтоб он служил переводчиком. Я рассказал мое приключение и заметил, что мне не верили, когда дошла очередь до моего сна

внутри льда. Корабельщик и матросы думали, что я помешался в уме; но когда я им указал на бочки с золотом, то они признали, что я в полном уме и даже очень умен. Бочонки и меня взяли на корабль и, не занимаясь более китовою ловлею, отправились в голландскую землю, в город Амстердам. Там взял меня к себе в дом хозяин корабля и при разделе червонцев дал мне два бочонка; один бочонок хозяин променял мне на какие-то бумаги, за которые я должен был получить деньги от здешних немецких купцов, а другой бочонок я взял нераскупоренный и с первым кораблем отправился в Россию.

Третьего дня я прибыл в какой-то город, на острове, в тридцати верстах отсюда, и мне сказали, что я в России. Я думал, что надо мной издеваются, потому что я едва увидел там несколько русских людей, а все прочее там немецкое. Пробыв там несколько часов, корабельщик повез меня с собой на большой лодке, как он говорил, в столицу русского государства, привез в этот большой город и поместил в немецком постоялом дворе. Я стал расспрашивать людей: в каком я царстве? И мне говорят, что я в России. Не знаю, чему верить; только я вижу здесь мало русского. Вероятно, что немцы поселили здесь русских пленных, ибо кроме черного русского народа здесь нет вовсе никого из русских. Немцы разъезжают в дорогих колымагах, а русские развозят их. Немцы живут в высоких каменных палатах, а русские сидят на лавках и лабазах. Русские таскают воду и дрова, чистят улицы, строят хоромы, а немцы только расхаживают да разгуливают. Я не верю и не могу верить, что я в России, и мне все кажется, что надо мной смеются.

Наконец, дело это кончилось тем, что у меня отняли мои червонцы и посадили в тюрьму — ни за что ни про что! Я, право, в самом деле сойду с ума от всего, что я здесь вижу и слышу!..

Пока арестант рассказывал, частный пристав выкушал раза три водочки и, обернувшись спиной к рассказчику, задремал. Писец воспользовался этим случаем и выпил остатки, то есть половину графина. Наконец, когда арестант умолк, писец громко сказал:

— Конец и Богу слава! Что прикажете, ваше высокоблагородие?

Частный пристав проснулся на громогласное призвание писца, а он повторил:

— Допрос кончен; что прикажете, ваше высокоблагородие?

— В тюрьму! — сказал сквозь зубы пристав, протирая глаза.

— Помилуйте, сжальтесь надо мною! — воскликнул арестант.

Пристав посмотрел на него и, вспомнив дело, сказал:

— В дом сумасшедших, к Обухову мосту! Михеич, напиши отношение в больницу.

Арестант хотел что-то говорить, но замолчал. Он в самом деле начал сомневаться, точно ли он в здравом уме; а наконец решился: лучше быть в руках докторов, нежели тех, которые его допрашивали. Он, в безмолвии, последовал за писцом, который тотчас изготовил отношение, а дежурный квартирный надзиратель отвез несчастного в больницу.

ГЛАВА III

Перемена участия арестанта. Никита Игнатьевич Когтев и его супруга. Следствия откровенности

Частный пристав, Никита Игнатьевич Когтев, будучи еще брандмейстером, женился, для приобретения покровительства, или, как он говорил, *из протекции*, на теще своего начальника, частного пристава. Через четыре года брандмейстер, узнав, через жену свою, многие тайны частного пристава, по части карманной, по врожденной откровенности объявил это начальству. А как начальство знало брандмейстера с хорошей стороны, по рекомендации обвиненного пристава, то обратило на откровенного чиновника особенное внимание, и через год он получил место прежнего своего покровителя. До сих пор Акулина Матвеевна имела первенство в доме, но когда зять ее перестал быть начальником мужа, Никита Игнатьевич дал ей почувствовать, что он женился на ней *из протекции* и что ей сорок пять лет от рождения. Из полной хозяйствки она сделалась первою служанкою в доме, и хотя муж позволял ей принимать подарки, но только самые безделицы, а наконец дошел до того, что первые порывы своего гнева всегда устремлял на жену и

даже несколько раз осмеливался прикасаться дерзко ладонью к ее ланитам, где прежде ничего не бывало, кроме румян и поцелуев. Одним словом, жена без протекции, красоты и денег была в тягость Никите Игнатьевичу, а Акулине Матвеевне был несносен муж грубиян и деспот. Они оба желали избавиться друг от друга, но не знали как.

Наконец Акулине Матвеевне пришло в голову употребить то же средство, каким избавился муж от своего покровителя, то есть откровенностью пред начальством. Она переговорила с квартальным надзирателем, принесшим бочонок с червонцами и узелок с ассигнациями; надзиратель посоветовался с писарем Михеичем, и как уже прошло полторы недели, а частный пристав не говорил ни слова о деньгах ни жене, ни надзирателю, ниже писарю, то однажды вечером потребовали его к начальнику переговорить о сем приятном предмете, и разговор кончился тем, что Никита Игнатьевича посадили под арест, деньги запечатали и отдали на сохранение в приказ общественного призрения; а несчастного Сергея Свистушкина потребовали для объяснения.

Лекарь, пользовавший его в больнице, почел его лишенным ума. Сергей Свистушкин беспрестанно утверждал, что он стольник двора его царской милости царя, государя и великого князя Алексея Михайловича; не признавал русскими безбородых короткокафтанныхников; утверждал, что над ним изде-ваются, говоря с ним языком полурусским и полунемецким, и просил, ради Бога, отпустить его на святую Русь, в Москву белокаменную, к царю-государю. Но полиция судила иначе, нежели доктор. Она предполагала (и весьма умно), что Сергей Свистушкин, вероятно, какой-нибудь плут или вор, который похитил деньги и, будучи пойман, старается увернуться от расспросов и наказания притворным сумасшествием. Иначе и нельзя было предполагать, и потому Сергея Свистушкина перевели из больницы в тюрьму. Тогда лекарь, пользовавший его, сжался над его участью (при мысли о бочонке) и представил в полицию ученую диссертацию, в которой доказывал возможность прожить сто лет во льду. Он подкреплял свои предположения всеми известными случаями, а именно, найденными в граните живыми лягушками и змеями и муха-

ми в янтаре. Хотя лекарь причислял подобные случаи к чудесам натуры, однако же предполагал возможность оных и указывал на ласточек, кочующих зимою (якобы) в воде!

Один антикварий доказывал, что в том именно годе был послан стольник Сергей Свистушкин в Архангельск, при блаженной памяти царя Алексея Михайловича, и в «Дворцовых записках» (разумеется, рукописных) показан погибшим в переезде на Соловки. Между бумагами Сергея Свистушкина отыскан паспорт из Голландии и свидетельство, что он найден на плавающих ледяных горах, возле Шпицбергена. Об этих бумагах ничего не знал Свистушкин и не понимал их содержания, так же как не знал достоинства ассигнаций.

Все сии доводы послужили одному знаменитому стряпчemum удовлетворительными для освобождения Сергея Свистушкина с его деньгами из тюрьмы, что наконец и последовало. «Слушали и приказали: Сергея Свистушкина, освободив, отдать на руки родственникам, буде таковые имеются, оставить в сильном подозрении. В чем подозревали его, сумасшествии или похищении денег, о том не упомянуто в решении. Стряпчий называл это лазейкою.

ГЛАВА IV

Перебор родни

Освободители Сергея Свистушкина: лекарь, антикварий и стряпчий — собрались для совета, к которому из родственников должен он отправиться и в какие войти с родными сношения. Все те, о которых говорил Сергей Свистушкин, как о живых, давно уже покоились на лоне Авраама. Итак, надлежало иметь дело с их потомками, которых вовсе не знал Сергей Свистушкин. Антикварий сидел за столом с адрес-календарем, стряпчий со справками, доктор с сигарой во рту, и все они, выпив по стакану вина, которое бывший стольник называл романею, открыли заседание.

Антикварий. Платон Осипович Свистушкин, кригс-комиссариатский чиновник. Что вы скажете о нем, господа?

С. Свистушкин. Ах, батюшки, боюсь! Это, верно, не из нашего рода, а из немцев. Да я не выговорю его прозвания... крыс, косе...

Лекарь. Этот человек мне не нравится. Я был однажды в тех странах, где он закупал вещи для казны, а если он так же будет соблюдать выгоды Сергея Сергеевича, как казенные, то бочонок скоро превратится в наперсток. Нет ли другого?

Антикварий. Павел Петрович Свистушкин, обер-гитенфервалтер.

С. Свистушкин. Опять немец. Не знал я, что в Неметчине у меня столько родни! Видно, бабы наши перебесились да все вышли за немцев. Бог с ними! Поищи-ка между русскими.

Собеседники улыбнулись, а стряпчий сказал:

— Этот обер-гитенфервалтер был добрый человек, но уже два года, как он умер.

Антикварий (*перебирая адрес-календарь*). Оттого-то и вписан в адрес-календарь, потому что в нем именно не помещают живущих, в два и три года, после определения в службу, а на несколько лет оставляют умерших. Но вот порядочный человек: Иван Иванович Свистушкин, унтер-шталмейстер.

С. Свистушкин. Да отвяжись ты со своими немцами! Не хочу, рещительно не хочу!

Стряпчий. И я также. Иван Иванович, сколько мне известно, нуждается всегда в деньгах, проживая, тридцать лет сряду, более, нежели сколько позволяют ему доходы. Червончики могли бы ускакать в галоп из бочонка, под руководством господина унтер-шталмейстера. Но зачем стало дело: я предлагаю Кузьму Петровича Свистушкина, обер-прокурора, чиновника степенного, порядочного.

С. Свистушкин. Опять немец! Вы, право, ребята, говорились, что ли, свести меня с ума! Не хочу, да и только!

Антикварий. Кузьма Петрович поехал к водам, в чужие края.

С. Свистушкин. Виши какого басурмана хотели навязать мне! Коли б он был русский, то покинул ли бы святую Русь, чтоб идти в чужую землю за водою! Куда же бы он залетел за хлебом? Хорош гусь!

Собеседники рассмеялись, и антикварий сказал:

— Знаете ли что, господа? Пошлем Сергея Сергеевича к Никандру Семеновичу Свистушкину. Он поэт и притом разгульная головушка. Если ему и перепадет червончик-другой, то, право, не жаль!

Стряпчий. Дельно! Когда поэт будет управлять делами, то, вероятно, без нас не обойдется, а мы из дружбы к Сергею Сергеевичу будем наблюдать за порядком.

С. Свистушкин. Что такое, потомок мой поет? Где? Верно, на клиросе!

Антикварий. Потомок ваш не поет, но пишет, а между прочим и песенки, которые поют другие, потому что у него самого козлиный голос. Он сочинитель, сиречь человек, который для забавы других слагает вирши, сочиняет сказки и разные другие побасенки.

С. Свистушкин. Понимаю! Это должен быть веселый человек, словно наш Кирша Данилов. Не правда ли, ты, умная голова!

Антикварий. Да, он будет весел до тех пор, пока вы станете хвалить его вирши, а чуть намекнете, что нехороши, так и укусит...

С. Свистушкин. Так зачем же не посадят его на цепь, когда он кусается?

Антикварий. Сорвется! Но я шучу, почтенный Сергей Сергеевич! В излишней щекотливости и в страсти к похвалам нельзя обвинить одного нашего потомка. Ведь все почти стихотворцы на один покрой, до тех пор хороши, пока их похваливаешь, а за каждое словцо — тотчас готовы в драку. Я думаю, и ваш Кирша Данилов был таков.

С. Свистушкин. Точнехонько! Бывало, как напьется пьян, окаянный, так и на всех брешет, аки пес, ни за что ни про что; а как похвалишь его песенку, так лижется и смирен, как овечка.

Антикварий. Ну вот видите! Впрочем, ваш, право, малый добрый, а если б у него было столько ума, сколько кудрявых слов и складных речей, и столько чувства, сколько тщеславия, то он далеко бы ушел.

С. Свистушкин. Вы меня так настрашали своими немцами, что я боюсь выбирать, а пойду к этому весельчаку. Пускай на старость утешает меня сказками и прибаутками, да складывает песенки. Все это лучше, чем обдирать безвинных людей и запирать в доме сумасшедших!

Лекарь и стряпчий согласились на выбор антиквария, и Свистушкин отправился с ним к своему потомку.

ГЛАВА V

Старое и новое мнение о России

Бывший стольник не хотел сесть в карету, сказав, что только женщинам прилично ездить в закрытых колымагах. На дрожки он взглянул и засмеялся во все горло, ибо в это самое время проехал в этом экипаже мужчина с женщиной, в самом странном положении. Верховой лошади не было, итак, стольник вознамерился идти пешком.

— Ты мне кажешься человеком умным, — сказал Сергей Свищушкин антикварию, — потому я намерен открыть тебе, что я думаю обо всем, что здесь вижу и слышу, а вместе с этим прошу сказать мне всю правду. Я читал в хронографах, что когда варяги пришли в Новгород и завладели славянскою землею, то в народе была великая смута, оттого, что дружины Рюрикова хотела господствовать и вводить свои обычай, а славяне желали остаться при своем и принудить варяг жить по-своему. Что я вижу здесь, походит на это. Все вы называетесь русскими, а вы так же похожи на русских, как я на кита или на белого медведя. Посмотри на себя, умная голова! Ведь ты одет шутом. Твой кургузый кафтан ни греет тебя, ни прикрывает. Безбородое лицо твое походит, прости Господи, на окорок. На голове у тебя хохол, как у индейского петуха, грудь прикрыта лохмотьями, шея лохмотьями — срам да и только! Где я ни был с тобой, иконы не доишься, а стены испещрены всякими погаными изображениями: собаками, голыми людьми да идолами! В пятницу и в Филиппов пост в русских харчевнях едят мясо и курят табачище люди, называющиеся русскими! Ты сам, умная голова, ел, на мой счет, поганые яства: раковины, раков, угрей, как будто с голоду, на ледяном острове. Редкий из вас крестится перед церковью и перед иконой на улице, а в избе так вы и не думаете о молитве! В язык русский напутали вы каких-то чухонских слов и говорите между собою такой вздор, что уши вянут! Всех русских купцов заперли вы в гостинный двор, а в домах своих открыли лавки и посадили туда немецких баб да девок. Господи, прости и помилуй! Сущий Содом и Гоморра! Скажи, пожалуйста, откуда вы взяли это?

— Вы смотрите на предметы с одной точки зрения. Сын блаженной памяти царя Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, справедливо названный Великим, поехал в чужие страны посмотреть, как живут на свете Другие народы, которые присылали к нам свои товары, своих мастеров и всяких искусствников. Петр Алексеевич убедился, что если Россия будет оставаться в своем невежественном положении, то есть не станет учиться тому, что знают иностранцы, то кончится тем, что ее покорят, разделят и русских сделают рабами иноплеменников; ибо ум и искусство торжествуют всегда над силою и покоряют ее так точно, как человек умом и искусством ловит слона, льва и кита. Татары покорили Россию оттого, что были искуснее нас в военном деле, а поляки, при самозванцах, не страшились десятками нападать на наши сотни, потому что лучше нас знали военное ремесло. Чтобы не покупать втридорога нужного для нас у иностранцев, надобно было учиться у них выделять разные товары дома и для этого надобно было знать разные науки, равно и для того, чтобы уметь пользоваться дарами нашей земли русской, управлять ею для блага всех, по воле добрых наших царей, и защищать престол, церковь и отчество умом и оружием от лукавого и сильного врага. Плоды этих начинаний мудрого Петра удостоверили нас в истине, что просвещение есть первое благо для царей и народов. Во сто лет мы побили всех соседей, отняли древние наши области, покорили целые царства и имеем, или по крайней мере знаем, что можем иметь, все то, что имеют иностранцы. Всем этим обязаны мы наукам и искусствам! В эти сто лет, обращаясь беспрерывно с иностранцами, мы переняли многие их обычай, ввели в употребление много новых слов, перешедших к нам с новыми вещами и новыми понятиями, и переоделись по-иностранныму, чтоб не отличаться от других просвещенных народов, составляющих одно европейское семейство. Вот вам, Сергей Сергеевич, объяснение той перемены, которую вы нашли по прошествии ста лет. Но верьте, что мы в душе остались те же русские, любим царей наших, знаем православную нашу веру, следуем святым ее уставам и преданы Отечеству.

— Дай Бог, чтоб все это была правда, что ты говоришь, умная голова! — сказал бывший стольник.—Только едва ли не лукавый опутал нас. Дасть Бог, поживем — увидим!

ГЛАВА VI

Новые обычаи и старые грехи

— Скажи, пожалуйста, зачем все эти дома испачканы надписями на иностранном языке? — спросил Сергей Свистушкин антиквария, проходя с ним по улицам Петербурга.

— Это вывески, указание места, где живут разные ремесленники и где находятся лавки, или складка товаров на продажу.

— Зачем же это написано не по-русски в русском городе? Постой, постой! Понимаю! Вероятно, русские хотят, чтоб приезжающие сюда иностранцы знали, где что можно сыскать и купить, и для того наши пишут по-немецки. Не правда ли?

— Нет, это не так. Напротив того, это надписывают иностранцы, чтоб русские знали, где сыскать их лавку или мастерскую.

— Помилуй, брат! Как это? Для русских в русском городе пишут по-немецки? Да в этом нет толку.

— Толку мало, но таков обычай. Русские покупают охотнее в той лавке, где надпись на иностранном языке и в которой торговец не знает по-русски. Равномерно мы иностранных мастеровых предпочитаем своим.

— Так где же ваше просвещение, которым ты хвастал передо мною! Из этого видно, что иностранцы лучше работают и торгуют лучшими товарами.

— Совсем нет. Иностранцы торгуют товарами, сделанными в России, русскими людьми, а только лавку свою называют немецкою, голландскою или английскою. У немецкого мастерового работают русские, а он покуриивает табак да побирает денежки. Но к иностранцам идут все; оттого... я, право, не умею сказать отчего... ну, вот так, затем, что они иностранцы.

— Спасибо за такое просвещение!

— Это остаток старого прёдрассудка. Сначала все лучшее делали у нас иностранцы, так и теперь осталась мысль, что они умнее русских. По несчастию, покупатели редко заглядывают в мастерские, а немногие знают, что лучшие товары изготавливаются русскими.

— А просвещение-то на что? Я думал на то, чтоб рассуждать, соображать, мыслить...

— Так быть должно, но как это тяжеленько, то большая часть заставляет других думать за себя, а сами пользуются готовым. Точно так, как барин велит повару готовить яства, а сам только кушает во здравие.

— А если повар окормит его мухоморами?

— Туда и дорога!

— А если, вместо рябчика, попотчуя вороным мясом?

— Подсластить, так и не узнает, что за мясо.

— Так вы живете, зажмуря глаза, и позволяете водить себя за нос иностранцам!

— Да, потому, что это находят очень приятным. Достоинство вещи зависит от мнения, которое об ней имеют. Какая нужда, что мой кафтан сшит русским, если я воображаю, что его сшил француз и, верю, что он лучше, когда его сшил француз!

— Мороченье, обман! Смешны вы мне, с вашим просвещением! Прочти-ка мне хоть одну из этих надписей.

— Я не могу вам перевести этого буквально, потому что в этой иностранной надписи вовсе нет смысла. Догадываюсь только, что здесь продают шелковые товары.

— Ну, брат, мудреные вы люди, когда для вас пишут на иностранном языке, да еще и без смысла. А я думал, что к вам заезжает все народ умный!

— И точно неглупый, но неученый. Притом же не всякой обязан знать тот язык, на котором пишет свою вывеску. У нас и чухны слывут парижанами, как заведут французского подмастерья или сидельца да напишут свое имя по-французски. Даже русские надписывают по-французски над своими заведениями

— Да, это, брат, сущая умора! И вы хотели запереть меня в дом умалищенных? Не перенести ли надписи из той больницы, где я был, к городским воротам?

— Другие времена, другие нравы!

— Ну, а эти иностранные торговцы и мастеровые навсегда поселились в России, что ли? Присягнули на подданство?

— Весьма немногие. Сюда приезжают только затем, чтоб составить капитал, а как карман полон, так они едут домой, в свою землю, да и бранят еще русских.

— А русские, верно, ездят за тем же за границу?

— Я не слыхал ни про одного русского купца, который бы разбогател за границей, не знаю ни одного, который бы имел торговое заведение в чужих краях. Об мастеровых даже и говорить нечего! Даже русские купцы, живущие здесь, не торгуют прямо с чужими краями, а делают это здешние иностранцы.

— Посмотри-ка мне в глаза! Нет, воля твоя, а мне кажется, что на нас подуло каким-то ветром, который "сем вам вскружил головы! Ведь во всем, что ты мне говоришь, нет ни здравого смысла, ни толку! Право, сумасшедшие лучше знают свои выгоды.

— Отчасти правда! Но что делать, обычай!

— Скажи: дурачество, сумасшествие!

В это время встретились с ними три мальчика, весьма чисто одетые, в сопровождении наставника. Антикварий остановился и поговорил с детьми и с наставником на иностранном языке.

— Это, верно, также иностранный купец, который собирает в России наследство для своих деток? — спросил Сергей Свищушкин.

— Нет. Это дети русского князя, с наставником своим.

— Зачем же ты не поговорил с ними по-русски?

— Они не умеют говорить по-русски, — отвечал антикварий с улыбкою.

— Шутишь, что ли?

— Клянусь честью, что это дети природного русского князя, русские по отцу и по матери, и что они не знают ни словечка по-русски!

— Как же это случилось? Верно, остались сиротами в чужой земле?

— Это дело не случая и не сиротства, но обычая. У нас знатные господа не говорят между собою по-русски и часто вступают в службу по такой части, где даже не нужно им ни писать, ни читать по-русски. А как произношение французского языка довольно трудно, то детей от колыбели учат французскому языку, дают им сперва нянью, а потом дядьку из французов и до вступления в службу держат при них иностранцев.

С. Свищушкин прервал речь антиквария:

- На каком же языке они молятся, эти русские?
— По-французски!

Сергей Свистушкин остановился, воздел руки к небу, потом перекрестился, и слезы градом полились из глаз его.

— Боже мой! Для того ли ты избавил меня от смерти, чтоб я был свидетелем поношения моих потомков? Русские не говорят между собою по-русски! Русские молятся не по-русски русскому Богу! Русские отдают детей своих на воспитание иностранцам!.. Послушай, брат, правду говоришь?

— Клянусь Богом, что правду! Но вы должны знать, что не все русские так делают, а только некоторые из знатных и богатых.

— О, зачем я не умер, зачем не лишился ума! — воскликнул Сергей Свистушкин.— Мне было бы легче, если б я нашел Россию покоренную иноземцами: тогда, по крайней мере, была бы надежда свергнуть с себя иго, подобное тому, как мы свергнули иго татарское и самозванцев. Но это добровольное порабощение, это постыдное сознание своего ничтожества, это желание казаться не тем, чем Бог нас создал, это отречение от языка предков... есть верх уничижения и постыдно не только для русского народа, но для всего человечества! О, зачем я не умер, зачем не лишился ума!

Это случилось с ними возле одной церкви. Поравнявшись с нею, С. Свистушкин вошел в церковь, распростерся на помосте храма и, громко рыдая, взывал к Богу русскому, чтоб он просветил потомков его и избавил их от ига чужеземных, бесполезных обычаев, а с тем вместе от посрамления.

ГЛАВА VII

Русский книжный магазин

Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу, антикварий сказал ему:

— Не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там мы узнаем, где жилище вашего внука.

— Пожалуй! Любопытно посмотреть на книги. Я, бывало, любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах!

Они вошли в лавку или в магазин. Уже было около 6 часов вечера, и запах рома слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было два торговца, из которых один казался хозяином, а другой слугою, хотя между ними было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища (вроде господина) и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же; первый кланялся — и другой гнулся; первый бежал за книгами — и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон Кихота с его Санчо Пансой.

— Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антикварий, — вы устали, и я также.

Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородным купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтобы приобрести медаль, поспешил подать ему стул. Товарищ его хотел предупредить его, и они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара двух спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил:

— Видно, крепколобого десятка!
— Есть ли у вас сочинения Никандра Семеновича Свистушкина? — спросил антикварий.
— Как не быть! Есть-с, — отвечал хозяин.
— Есть-с! — примолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких книжонок.

Сергей Свистушкин взял в руки одну книжонку, развернул ее и остановился.

— Что это? Разве это по-русски напечатано? — спросил он у антиквария.

— Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче, — ответил антикварий. — Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг.

При сих словах книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему свое внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупщиков, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по десяти и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал:

— Прекраснейшая книга-с! Славного, знаменитого и модного сочинителя!

— Прекраснейшая книга-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— Прочти-ка заглавие, разумная голова! — сказал С. Свистушкин, подавая книгу антикварию.

— «*Воры*». Поэма, сочинение Никандра Свистушкина, в стихах.

— Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах! Разве он служит в сыскном приказе?

Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали что отвечать.

— Это выдумка, сказка, — сказал антикварий.

— В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники!

— Сказки неравны, Сергей Сергеевич! — возразил антикварий. — От старинных сказок ничего не требовалось, кроме того, чтоб связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии.

— Перестань, умная голова! — сказал Сергей Свистушкин. — Зачем столько мудрости, чтоб описывать житьё-бытье *воров*? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику! Ты морочишь меня.

— Нет, я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец, по имени Шиллер, прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, «*Камедь о разбойниках*», так и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтоб описывать и выводить напоказ все, что есть худшего в мире: воров, убийц, бездушных изменников, бешеных — словом, всякого рода злодеев.

— Хорош обычай! Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, Полкан-богатырь, Бова Королевич и тому подобные.

— Вот другое сочинение нашего потомка, под заглавием: «Жиды...» — сказал антикварий, развертывая книгу.

— Ну их к черту, — возразил Сергей Свистушкин.— Этакой проказник мой потомок! Я думаю, что он скоро доберется до чертей.

— Вот-с, прекраснейшие-с стихи-с, столь же знаменитого поэта-с, как и Никандр Семенович Свистушкин-с, — сказал книгопродавец с улыбкою, подавая несколько томов. — Здесь более чертей-с, нежели в самом аду-с, и столько мертвцевов-с, что не поместятся на всех наших кладбищах-с! Прекраснейшие книги-с!

— Прекрасная книга-с! — примолвил товарищ хозяина, также улыбаясь.

— Отвяжитесь вы от меня, греховодники! — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула.

— Вы не любите-с чертовщины-с, — сказал книгопродавец.— Жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение-с. Не угодно ли-с?

— Чертовщина доставляет славу и уважение! Да вы с ума сошли! — сказал С. Свистушкин.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — сказал книжник.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — примолвил товарищ хозяина. — Сочинитель пишет в древнем вкусе-с.

Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и посмотрев на полки, спросил:

— Неужели все это русские книги?

— Никак нет-с. Русских книг есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите-с, — отвечал хозяин. — Но если что прикажете, то я тотчас пошлю в другие лавки.

Товарищ хозяина тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал:

— Что прикажете? Сейчас принесу!

— А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин.

— Это не наше дело, — сказал книжник.

— Итак, ты торгуешь чужим умом, чужим добром и чужим трудом! — примолвил Сергей Свистушкин. — Видно, за то немного и барыша!

— Очень-с немного! За чужой товар я получаю только по двадцати копеек с рубля.

— Только! За это *только* надо было бы подержать тебя на правеже! Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебец собираешь.. Это что за книжонки?

— Детские, в пользу воспитания юношества, не прикажете ли-с?

— А кто их пишет? Верно, отцы семейств, люди, занимающиеся воспитанием юношества?

— Никак нет-с. Отцы семейств и наставники покупают-с, а сочиняет кто попало, большую частью молодые люди, на заказ.

— Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают! — сказал Сергей Свищушкин.— Это что за кипы тоненьких книжонок и листов?

— Журналы и газеты-с. Не угодно ли подписаться-с?

— А что такое... как бишь их, журчалы, что ли, и глазеты?

Книгопрода́вцы и антикварий улыбнулись, и сей последний сказал:

— Журналы суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помешать новые небольшие сочинения и разбирать, то есть оценять по достоинству отдельно выходящие книги.

— Так, стало быть, эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле? — спросил Сергей Свищушкин.

— Так быть должно, но, по несчастию, по большей части дело идет напротив. Судят и рядят те, которые сами не могут и не умеют написать трех строк порядочно, а осуждают тех, которые их умнее.

— У вас, как я вижу, все идет наоборот!.. А *газеты* что такое?

— В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире, — отвечал антикварий.

— Вот это славно! И что же, обо всем пишут правду?

— Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем-должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно, и представляют вещи не так, как они есть, а как надо, чтоб было Иногда и выдумывают небылицы...

— Что за чудеса, все идет наперекор здравому смыслу!.. Это что за книги?

— История Российской-с. Превосходнейшая-с! Не угодно ли-с?

— То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями, или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени,— сказал антикварий.

— Так, стало быть, те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги?

— Землеописание Российского государства-с! Не угодно ли-с? Прекраснейшая-с книга-с!

— А справедливо ли все описано?

— В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. — Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не мерят, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из разных старых и новых книг, составленных также по слухам; и прибавляют все, что им кажется справедливым. Оттого выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле!

— Так какая же из этого польза? Те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, брат, охотники вы до сказок, и не мудрено, что вы мои похождения назвали сказкою! Странное дело ваше просвещение! Намереваетесь делать одно, а делаете другое, знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду и вместо того, чтоб прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев!.. Пойдем, брат, отсюда; здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтоб посмеяться.

— Милости просим-с! — сказал книгопродавец, с поклоном и улыбкою.

— Милости просим-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— А где живет Никандр Семенович Свистушкин? — спросил антикварий.

— Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома; теперь такое время, что он сидит где-нибудь в кругу своих знаменных друзей и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте

к его закалычному другу, барону Шнапсу фон Габенихтсу. Он получил сегодня за треть жалованье: так, верно, у него происходит жертвоприношение трем божествам вечно новых поэтов: Вакха, Лени и Свободе. Барон Шнапс фон Габенихтс живет за Конной, в доме Запивошкина.

— Неужели ваши писцы идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин.— Я боюсь за моего потомка.

— Не бойтесь! Жертва не есть еще вера, — возразил антикварий.

Антикварий с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габенихтсу.

ГЛАВА VIII

Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы

Антикварий с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтоб спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихтса. Дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок, и повел их по узкой грязной лестнице. В передней они увидели остатки, или *барельефы* пиршества: обороченные жестяные судки, соленые огурцы на промокной бумаге, которую наделяют покупателей в мелочных лавочках, соль, рассыпанную на столе, квас в умывальнике и т. п.

Вошел в первую и последнюю комнату барона Шнапса фон Габенихтса, они увидели собрание... (*листы рукописи затеряны, а когда найдутся, то будут напечатаны в новом издании, в 1930 году.*)

Бывший стольник царя Алексея Михайловича так испугался своего потомка, что, воспользовавшись замешательством вакхической беседы, бросился за двери и, сбежав с лестницы, пустился во всю прыть по улице. Антикварий догнал его и удержал за руку.

— Что с вами сделалось, Сергей Сергеевич? Неужели вы испугались деревянного кинжала в руках вашего потомка?

Бывший стольник молчал и только пыхтел. Антикварий продолжал:

— Напрасно вы испугались, Сергей Сергеевич! Ваш потомок и его товарищи, право, в существе добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего, в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лжут прах ног каждого сильного из одной надежды получить что-либо и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов. Ей-Богу, они только смешны, достойны сожаления, но вовсе не опасны со своими кинжалами и перунами! Я бы советовал вам взять вашего потомка к себе на дом и запереть на некоторое время, чтоб разлучить с его демоном-соблазнителем, с его друзьями, а может быть, вам удалось бы исправить...

— Да перестань! — воскликнул с досадой Сергей Свис-тушкин.— Что ты меня морочишь! Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное; не человек, а обезьяна! В этом ты не переуверишь меня, хоть божись, хоть клянись! Пускай себе она хоть утонет в вине... я знать не хочу!

ГЛАВА IX

Модная дама

Проезжая по одной улице, антикварий велел остановиться перед освещенным домом и сказал Сергею Свишушкину:

— Помните, что вам, по решению суда, должно непременно войти в связь с кем-нибудь из ваших потомков. Вот здесь живет одна молодая женщина, из рода Свишушкиных, вышедшая недавно замуж за камергера Бамбулинского. Мне сказывали, что она очень добрая и хорошо воспитанная женщина, а как женский пол вообще лучше мужского, то я надеюсь, что она не станет вас царапать и угрожать зубами, подобно вашему кинжалоносному потомку... Не угодно ли войти?

Сергей Свишушкин, не говоря ни слова, охнул только и слез с дрожек.

По какому-то необыкновенному случаю в передней не было лакея, и антикварий вошел со своим спутником прямо в залу, а

потом в гостиную. Там вокруг чайного столика сидело несколько молодых дамочек и разряженных франтов. Хозяйка вскрикнула от ужаса, увидев в своей гостиной человека в русском кафтане с бородой.

— Ah, mon Dieu! un Russe! une barbe! (ах, Боже мой! русский бородач!) — воскликнула она и хотела бежать.

— Чего вам угодно? — спросил один из рыцарей пустословия, смело подошед к антикварию.

— Этот господин, предок почтенной хозяйки дома, хочет познакомиться с нею, — сказал антикварий.

— Что? Мой предок, русский, бородач! — воскликнула дама. — Господа, избавьте меня от этих дерзких!

— Сударыня! — сказал антикварий. — Предки наши ходили с бородами и в русских кафтанах, и стоящий перед вами есть стольник двора его царского величества, человек не нашего века... — Тут антикварий принялся рассказывать историю Сергея Свистушкина, но ему не позволили продолжать, и хозяйка убежала с дамами в другую комнату, воскликнув:

— Мой предок с бородой! Это ужасно! Если бы он имел миллионы, я не хочу иметь предка в русском кафтане и с бородой. Это сделано кем-нибудь нарочно, чтобы взбесить меня, верно, из ревности или зависти. Предок с бородой! Fi done!

Сергей Свистушкин должен был выйти из дома. Некоторые щеголи хотели кончить прием грубостями, но крепкие мышцы бывшего стольника и гневный взгляд усмирили их.

Вышел на улицу, Сергей Свистушкин сказал:

— Вот этого я еще не ожидал, чтобы потомки стыдились своих предков, чтоб страшились, как сумы, русского с бородой! Ай да просвещение!

— Эта барыня не виновата: она воспитана француженкою в совершенном невежестве насчет всего отечественного, невзирая на то, что она очень добрая и милая женщина. Если бы я имел время растолковать, объяснить ей..

— Не беспокойся, — возразил Сергей Свистушкин, — я не признаю моими потомками тех, которые бегают от бородачей: если бы она даже полагала, что я русский мужик, то по боярскому обычая должна была бы принять меня вежливо и выслушать.

— Если б вы пришли в наряде французского мужика или матроса, то эти бабенки верно бы расплакались от радости! Согласен с вами, что это глупость, но утешьтесь, это пройдет, ибо это происходит от головы, а не от сердца.

ГЛАВА X

Заключение

Возвратясь в свою квартиру, Сергей Свистушкин сел за стол, посадил напротив себя антиквария и сказал:

- Прошу тебя отвечать на мои вопросы кратко и ясно.
- Извольте!
- Берут ли взятки судьи ваши и дьяки?
- Ох, берут!
- Так было и у нас! А исполняют ли во всей точности законы и царскую волю?
- Если б это исполнилось, то мы были бы счастливейшими людьми! Большая часть подъячих исполняет закон, поколику он ему полезен...
- Точно так, как было у нас! Берегут ли и хранят ли у вас по совести казну государеву?
- Казна, как масло, как пройдет по рукам, так растает и останется на пальцах.
- Точнехонько, как было у нас! Чем у вас достигают скорей до желаемого: умом или хитростью?
- Чаще хитростью.
- Ни дать ни взять, как было у нас! Ведется ли между вами клевета?
- Ох, ведется! Чуть человек обратит на себя внимание чемнибудь, едва выступит из толпы, тотчас на него и накинутся все, как коршуны!
- Так бывало и у нас! Что у вас предпочитается: ум или деньги?
- Деньги!
- То же самое, что было у нас! А уважается ли у вас честность и заслуга?
- Честные утешаются пословицею, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. Только б царь узнал о честности и заслуге, тогда верно наградит... А на других плохая надежда!

— Точнехонько, как было у нас, даже и пословица нашего времени! Верны ли ваши жены?.. Послушны ли мужья?

— На это трудно отвечать! Есть всякие. Впрочем, мы за этим не гонимся!

— Вот это не так, как было у нас! Первыми добродетелями жены почитались у нас верность и послушание. Не мудрено, что я не могу отыскать потомка, похожего на предков, и что ты мне представил обезьянку вместо потомка! А мужья?

— Об этом и говорить нечего. Впрочем, у нас супруги редко даже видаются между собою; каждый живет на свой счет, а разъезжает другим путем, за границей!

— Не так, как было у нас! Если б у нас жена вздумала разъезжать без мужа, то ее заперли бы в монастырь, на покаянье, и поделом!

— Без сомнения, поделом!

— А дети ваши послушны ли, почтительны ли?

— Да, когда у родителей есть деньги и когда у детей в виду богатое наследство.

— Это опять не так, как было у нас! У нас сын, хотя был бы знатнее царского тестя, а богаче первого боярина, то уважал родителей, если б они даже были нищими... Но я вижу, что мне не кончить с тобой до завтра. Скажи мне наконец: какую же пользу принесло вам это просвещение, которое ты столько выхваляешь передо мною? Я думал, что оно введено для того, чтоб вы были лучшими, а вижу, что вы не только не отстали от наших пороков, но еще приобрели новые; а что всего ужаснее, забыв страх Божий, променяли русский язык на какое-то лепетанье и отдали детей своих чужеземцам, чтоб они истребили в них любовь к Отечеству и возбудили привязанность к чужой стране! Этот грех не стоит того, что вы приобрели просвещением, то есть что оделись в кургузые кафтаны и выбрали подбородки! Царь Петр Алексеевич не того хотел от вас, когда вводил иностранное просвещение. Он без сомнения желал, чтоб вы отбросили старые пороки и приобрели новые добродетели. Для вас пишут хорошие законы, заводят школы, строят великолепные города, об вас цари пекутся, как о детях, а из всего этого, как я вижу, мало толку, и твое хваленое просвещение не искоренило ни взяточников, ни клеветы, ни гордости в боярах, ни

глупого тщеславия в юношестве, а из боярских деток, бояр-чонков и боярышень наделало каких-то полунемецких кукол. Сердце болит, когда подумаю об этом! Спасибо за просвещение, если от него вся польза — кургузый кафтан и бритый подбородок.

— Все, что вы приписываете просвещению, есть действие невежества, — отвечал антикварий, — которое только прикрыто лаком образованности. Просвещение есть древо, которое скоро произрастает, скоро расцветает, но поздно приносит зрелые плоды. Придет время, и мы вкусим плоды, которые теперь еще не созрели! Главное препятствие к искоренению пороков есть *ложно понимаемая любовь к Отечеству*. Наши современники не любят, чтоб им говорили правду, чтоб указывали на их слабости и предрассудки, но хотят, чтоб их хвалили, превозносили. В этом похожи они на устарелую красавицу, которая, нарумянив и набелив лицо, думает, что никто этого не видит, потому что никто не говорит ей этого в глаза. Но если мы образумимся и нападем общими силами на зло, то оно непременно исчезнет, потому что посевянные семена добра уже взошли и обещают богатую жатву. Не отчаивайтесь, Сергей Сергеевич, придет время, что потомки затмят даже предков!

— Дай Бог, чтоб так было, — сказал Сергей Свистушкин, — но пока это наступит, я не могу признать моими потомками русских, которые говорят между собою не по-русски, предпочитают иностранцев своими соотечественниками... и выродились до того, что даже мой потомок похож на обезьяну, а книжник назвал еще его славным человеком за то только, что он пишет сказки о ворах и негодяях! Нет, если нельзя переменить решения суда, то я лучше возвращусь в дом сумасшедших, чем жить с вашими умниками! Прощай!

Владимир Одоевский

ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.

Гумбольдт. Vues des Cordillères¹ T.I

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку*, а в околодке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудли-

¹ Виды Кордильеров (франц.)

вая рука природы или древнее незапамятное искусство растигивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей; юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили егоединение...

— Правда... — сказал незнакомец после некоторого молчания, — я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне, люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают, — возразил один из нас, чтоб завести разговор, — это место так уныло, — оно похоже на кладбище.

— На кладбище... — прервал незнакомец, — да, это правда! — прибавил он горько. — Это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы верно потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? — продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь, — отвечал он, — я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травою, — бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стена на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено

было пережить тебя. — Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорой.

— Опять ты предо мною, — вскричал он, — ты, вина всех бедствий моей отчизны, — прочь — прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?.. — Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить, — продолжал мой товарищ, — неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте... — повторил он после некоторого молчания, — да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимание на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвести и... погибнуть, незамеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченою; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не перерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благодеяние общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не преступать границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, *польза* есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благодеяния.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей, — и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентами: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блестательную систему..

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей разевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностью вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость — он произносил заветное слово: *польза* — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза*. Так протекли долгие годы. Ничто не нарушило спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощущительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, — и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной

фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний, — каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением, — жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой эксплуатации¹; мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом польза, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом про-

¹ К счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести, наживка на счет ближнего

давали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусственных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевывать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разрабатывали их для того только, чтобы сделаться нашими жертвами.

Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Малопомалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным, быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, — хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту расплюю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровергимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат¹.

¹Американский республиканский журнал «Tribune» (из коего отрывок напечатан в «Северной пчеле», 1861, сентября 21, №209, стр. 859 кол. 4), исчисляя следствие торжества ультрадемократической партии, говорит: «один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство»

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои дома прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей*, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, *на которые было требование*, чтобы потом продавать их дорогою ценою; с основательностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрея; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекрасно, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чув-

ством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека, нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добыывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дорожеизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровергимыми выклад-

ками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровергимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. «Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!» — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. «Зачем, — говорили купцы, — нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!» И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предвидение, исправление нравов — все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо — мечтами. Банкирский феодализм торже-

ствовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали перед человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлили в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение золота, угощдение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходорасходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, — а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. «Горе, — воскликнул он, посыпая прахом главу свою, — горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи; или ты не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды золота, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — золото, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца.

Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума я чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!» С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Через несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синею молнией; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в «Прейскуранте», единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью: «Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P.S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии..К доверию бедствий, в соседственной горе образовался вулкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч...».

Наш незнакомец остановился. «Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. «Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим сто-

лом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!» И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачиваться капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холода и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями». И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необыльный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скучную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли гнивали в пристани. И

странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! Я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в северном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники зата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалийтесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повернуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик. — Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (*meetings*). Мы все обрадовались, особенно наши жены, и собирались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный на-

род в целом свете, что банкротство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть.. и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло терпеть такой обиды национального характера — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитаются из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.

ВЕЧЕР В 2217 ГОДУ

I

Был четвертый час. Матовые чечевицы засияли на улицах, борясь с разноцветными огнями бесчисленных окон; а вверху еще умирал яркий зимний день, и его лучи золотили и румянили покрытые морозными цветами стекла городской крыши. Казалось, там, над голосами, в темной паутине алюминиевой сети загорались миллионы драгоценных камней, то горячих, как рубин, то ярких и острых, как изумруды, то тусклых и ленивых, как аметисты...

Многие из стоявших на самодвижке подымали глаза вверх, и тогда листья пальм и магнолий, росших вдоль Невского, казались черными, как куски черного бархата в море умирающего блеска.

Искры света в стеклах затрепетали и заискрились. Заунывший звонок отбил три жалобных и нежных удара. Шумя, опустился над углом Литейного воздушник, и через две минуты вниз по лестницам и из подъемных машин потекла пестрая толпа приезжих, наполняя плотную самодвижки. Нижние части домов не были видны, и казалось, что под ними плыла густая и темная река, и, как шум реки, звучали тысячи голосов, наполняя все пространство улицы и подымаясь мягкими взмахами под самую крышу и замирая там в темных извиах алюминиевой сети и тускнеющем блеске последних лучей зари...

Еще молодая, но уже утратившая юношескую свежесть девушка, стоявшая на второй площадке самодвижки, закусила белыми ровными зубами пухлую нижнюю губку, сдвинула тонкие и густые брови и задумалась. Какая-то дымка легла на ее лицо и затуманила ее синие глаза. Она не заметила, как пересекла Литейный, Троицкую, парк на Фонтанке, не заметила, как кругомnee все повернули головы к свежему бюллетеню,

загоревшемуся красными буквами над толпой, и заговорили об извержении в Гренландии, которое все разрасталось, несмотря на напряженную борьбу с ним.

— Ужасно, как человечество еще слабо... — проговорил высокий плечистый юноша около девушки.

— Но это извержение, положительно, выходит из ряда вон.

— Что-то вообще творится неладное кругом, — проворчал плотно сложенный тысяцкий, закуривая длинную папиросу.

И красноватый свет огнива ярко выделил его крупный с горбинкой нос, сжатые губы и выпуклые глаза.

— Вы думаете? — спросила его женщина с повязкой врача.

— Что ж тут думать?.. Надо прислушаться, и вы услышите гул приближающегося извержения, только не такого, как в Гренландии, — а пострашнее...

И, словно в ответ на эти слова, сказанные тяжелым и уверенным, как пророчество, голосом, все смолкли, и где-то там, в глубине земли, под их ногами, что-то загудело и, как могучий вздох огромной каменной груди, медленно проплыло и затихло...

— Это грузовик, — сказала женщина, как бы спеша подыскать объяснение.

— Не все так просто объясняется, — бросил тысяцкий и перешел на площадку, чтобы подняться на поперечную самодвижку.

Девушка достигла уже Екатерининской улицы и тут только заметила, что давно миновала свой поворот; но ей не хотелось возвращаться; какая-то сеть опутывает ее тело и душу, цепкая тяжелая сеть, сжимавшаяся, как кольца удава, все туже и туже.

II

Девушка сошла с самодвижки и повернула к собору. Она любила этот «старый уголок». Она любила эти маленькие кустички, эти цветнички, восстановленные по старинным рисункам такими, какими они были сотни лет назад, усыпанные песком дорожки, газетный киоск на углу с объявлениями, напечатанными неуклюжими старинными буквами, маленький фонтан, наивно выбрасывавший свои тонкие струйки, с нежным плес-

ком падавшие обратно в круглый бассейн. Только высоко над головой, нарушая иллюзию, висела, освещенная снизу, серовато-белая крыша.

Сегодня здесь было мало народу. Сидел какой-то высокий старик с длинной черной бородой и два мальчика, — один особенно обратил на себя ее внимание, — худощавый, хрупкий, с огромными голубыми глазами и утиными прядями белокурых волос. Он, наверное, воображал себя каким-нибудь старинным борцом за правду, студентом или революционером и с таинственным видом поглядывал в маленькую записную книжку в красном переплете. На вид ему можно было дать не больше пятнадцати лет. Девушка невольно улыбнулась, глядя на него.

Потом она закрыла глаза и откинулась на неудобную, твердую спинку скамейки. Отдаленный говор людей на самодвижке смутно доносился до нее, сливаясь с плеском фонтана. Ей чудилось, что кругом нее стоит огромная толпа притихнувших людей. Они собирались здесь, робкие и измученные, с бьющимся сердцем и тревогой в душе, чтобы поднять в первый раз красное знамя свободы. Она слышит голоса, надорванные, звенящие слезами голоса, видит наивные, полные веры, горящие одушевлением лица...

И никто, проходя мимо и взглянув на девушку, на ее полное здоровое лицо, на ее положенные вместе руки, на ее казавшуюся мускулистыми и крепкими даже под одеждой закинутые одна на другую красивые ноги, на ее упругий стройный стан, не подумал бы, что она вся ушла в прошлое, в его туманную таинственную даль.

Потом девушка представила себе, как густыми и тягучими волнами льются звуки большого колокола, опускаясь с высоты на темную и холодную землю, и ей казалось, что, стоит ей обернуться, и она увидит красноватое пламя восковых свечей, густой дым кадил, женщин в темных длинных платьях с наклоненными головами, тяжелые фигуры мужчин в кожаных сапогах, в грубых толстых костюмах и белых крахмальных воротничках... Кончается служба... выливаясь потоком из дверей храма, они расходятся по темным, тускло освещенным старинными электрическими и газовыми фонарями улицам; и каждый идет в свой дом, в свой дом, в свой дом..

Девушка мысленно повторила несколько раз эти два странно звучавшие слова, и ей стало еще грустнее, чем было весь день, и от глубокого вздоха грудь ее поднялась неровно и покраснела, и мягкая материя недовольно зашуршала.

III

Только вчера она добилась своей очереди у Карпова.

Она была вообще странная девушка. То, что нравилось другим и увлекало их, то, что всем казалось просто, естественно и приятно, ее отталкивало, вызывало в ее красивой головке целый вихрь, целую бурю странных и неясных ей дум, вызывало щемящую боль в душе... Как расхохотались бы, весело, от всей души расхохотались бы те юноши и девушки, с которыми она встречалась ежедневно, если бы она вздумала передать им свои ощущения! Большинство совсем не поняли бы ее, и она, конечно, услышала бы со всех сторон один и тот же совет:

— Пойди к доктору...

Ей хотелось семьи, старинной семьи, замкнутой, как круг, тесно и неразрывно связанной, любящей семьи, семьи, о которой теперь читают только в исторических романах.

И она приглядывалась к тем сытым, крупным юношам с крепкими мускулами и смелыми глазами, которых она встречала на работе, на улицах, в театрах, на собраниях, на пикниках, на прогулках, и уныло твердила:

— Не то, не то, не то...

И ее словно оскорбляла, словно наносила ей глубокую рану, та легкость, с какой эти юноши переходили от девушки к девушке, с какой они меняли свои привязанности...

Как стариинному скупцу, ей хотелось взять и спрятать того, кого она полюбила бы, от всех, взять его для нее одной, хотелось, чтобы он любил ее одну, одну; всю жизнь любил бы только ее одну... И так шли годы. Подруги смеялись над нею:

— У тебя каменное сердце...

Отвергнутые ею юноши считали ее глупой и совсем нормальной и понемногу перестали ею заниматься.

Однажды — это было весной, когда в раскрытые части крыши врывался прохладный, душистый ветер, деревья ласково

шелестели своими блестящими листьями, — она была в университете на защите диссертации молодым, но уже успевшим приобрести массу поклонников и поклонниц, ученым Карповым.

Темой диссертации он выбрал: «Институт семьи в дореформенной Европе».

Диссертация была написана великолепным языком; и помимо блестящей научной эрудиции, автор обнаружил в ней еще и большой художественный талант и ярко до осязаемости нарисовал эту старинную замкнутую ячейку-семью, из которых, как пчелиный сот, слагалось тогдашнее государство.

И когда, удостоенный знания доктора истории, он, подняв голову, увенчанную темной шапкой густых каштановых волос, сходил с эстрады, раздался дружный, долго не смолкавший взрыв рукоплесканий, от которых жалобно звенел металлический переплет стен и потолка... Женщины и девушки забросали Карпова букетами свежих душистых ландышей.

Аглае — девушку звали Аглаей — шел тогда уже двадцать шестой год, и раза два суровая и сухая тысяцкая Краг говорила, оглядывая стройную фигуру Аглаи:

— Вы уклоняетесь от службы обществу...

Эту Краг многие не любили за ее прямолинейность и строгость, за ее фанатическую преданность ее божеству — обществу.

Молодью девушки, легкомысленные и ленивые, говорили, что она метит в председательницы округа.

Еще накануне защиты диссертации Карповым Краг остановила Аглаю после смены и сказала, глядя на нее прямо и открыто словно стеклянным взглядом:

— Если у вас нет пока увлечений, вы должны по крайней мере записаться... Если вы берете у общества все, что вам нужно, то вы и должны дать ему все, что можете. Уклоняться нечестно и непорядочно.

— Я подумаю, — сказала Аглая.

— Не о чем думать. Это и так ясно. Это какая-то новая болезнь теперь. Раньше, когда я была молода, девушки так много не думали. Кажется, правы те, кто предлагает издать специальный понудительный закон.

И вот, сходя со ступенек университета, охваченная волною прохладного весеннего ветра, от которого у нее расширились тонкие нервные ноздри и грудь дышала широко и свободно, Аглай решилась...

На другой же день она отправилась в дом, где жил Карпов.

Ей трудно было приступить к делу, и она вся так и запылала, спросивши у заведующего домом:

— Что, Карпов записи принимает?

Заведующий невольно улыбнулся и ответил:

— Да, принимает; по средам от двух до трех.

До следующей среды оставалось четыре дня, и Аглай провела их как в лихорадке и сотни раз решала не идти вовсе и снова перерешала.

За пять минут до того, как ей выйти из своей комнаты, она не знала еще наверное, пойдет ли.

Но она пошла.

В комнате, светлой, но заставленной цветами, сидело уже больше двадцати женщин и девушек, и каждую минуту прибывали все новые. Некоторые, видимо, были смущены и сидели, опустив глаза и сложив руки; другие разговаривали вполголоса. Комната наполнялась, и казалось, что в ней не хватит места, чтобы принять всех желавших записаться у восходящего светила; а они все шли и шли, и каждую минуту подъемная машина выпускала их на площадку по одной, по две и по три.

Около половины третьего вышел в мягком домашнем костюме и в мягких туфлях Карпов. Женщины уже избаловали его, но сегодняшним наплывом он был, по-видимому, все-таки смущен и остановился в замешательстве.

Было больше пятидесяти кандидаток. Остановившись посередине комнаты, Карпов сделал общий поклон и обвел глазами лица и фигуры. Совсем некрасивых не было. Как всегда, у каждой на плече был пришит ее рабочий номер. И, вынув маленькую с золотым обрезом книжечку и крошечный карандаш, Карпов отметил несколько номеров, еще раз обводя взглядом всех кандидаток, и, сделав снова общий поклон, скрылся в ту же дверь, через которую вошел.

Аглай не хотелось ни с кем говорить и, сгорая от стыда, она вскочила на первую площадку самодвижки, и, не довольству-

ясь ее быстротой, пошла, лавируя в толпе и возбуждая удивленные взгляды, на свою квартиру.

И когда через несколько дней Краг снова спросила ее:

— Все еще не записались? — она со злостью и нервной дрожью в голосе ответила:

— Записалась, записалась, оставьте меня в покое, умоляю вас.

IV

Вчера утром ее известили, что вечером ее очередь, у Карпова. Она ждала этого, но ей казалось, что это будет еще очень и очень не скоро, и понемногу она совершенно успокоилась. Известие подействовало на нее как толчок электрического тока. Ей казалось, что у нее внезапно отнялись руки и ноги, и в голове все кружилось с бешеною быстротой; и когда она вечером мылась и одевалась, руки ее ходили, и она вся дрожала мелкой дрожью.

Едва слышно она постучалась в дверь комнаты Карпова. Он был дома и лениво ответил:

— Входите.

Был двенадцатый час; час, когда ей было назначено к нему прийти.

Он лежал уже в постели и тотчас же лениво сказал:

— Раздевайтесь.

Пальцы не слушались ее. Оторвалась большая металлическая пуговица и с тонким звоном упала на пол и покатилась, оборвалась завязка.

А он, ленивый и равнодушный, говорил:

— Как вы долго копаетесь...

V

И теперь, когда она вспомнила мгновенье за мгновеньем весь этот вечер, всю эту ночь, ей хотелось закрыть себе лицо руками и зарыдать громко, в голос, так, чтобы тряслось и прыгало все тело...

Заунывный звон электрического колокола опустился из-под крыши, и, приставая, прошумел воздушник...

Гул толпы на самодвижке замирал; толпа редела.
Аглае казалось, что вчера она потеряла что-то самое дорогое, самое лучшее в жизни, потеряла невозвратно.

Она подняла глаза, словно ища темного ночного неба и тихих звезд, но там, над головой, все так же холодно и равнодушно висела серовато-белая крыша. И Аглае казалось что она давит ее мозг, давит ее мысли.

Аглая перевела глаза на улицу, на красные буквы бюллетеня, то меркнувшие, то загоравшиеся вновь, принося вести со всех концов земли:

Падение воздушника около Мадрида. Одиннадцать.
Выборы в токийском округе. Выбран Камегава большинством 389 голосов.

Извержение в Гренландии продолжается. Мобилизованы четыре дружины...

Аглая читала сообщения, и смысл этих красных, налитых кровью слов ускользал от нее. Она перевела взгляд направо. Там сверкали холодные зеленые буквы вечерней программы:

Зал первый. *Лекция Любавиной о строении земной коры.*
Зал второй. *Ароматический концерт.*
Зал третий. *Лекция Карпова...*

Это имя ударило Аглаю, как молотком, и, вскочив она хотела идти.

Но куда идти?
Ей хотелось сегодня быть подальше от людей, этих самодовольных, смеющихся, веселых и однообразных как манекены, людей. Еще страшнее было ей идти в свою комнату, чистую, светлую и всю наполненную одиночеством; страшнее всего было ей оставаться наедине с собою.

Она решила идти к Любe, своей новой подруге, с которой она близко сошлась за последние два месяца. На Невском было пустынно. Во многих окнах уже не было огней, и блестящие, холодные фасады домов словно застыли, залитые ровным белым светом. Полоски самодвижек без конца бежали в ту и другую сторону вдоль домов. Только немногие фигуры стояли и сидели на самодвижках, изредка перебрасываясь словами, гулко отдававшимися на пустынной улице.

Аглая села в кресло самодвижки и закрыла снова глаза.

На этот раз она не пропустила и остановилась у дома номер девятый. Она вошла в подъезд и надавила на справочной доске кнопку номер двадцать семьей, и в ответ тотчас появилась светлая надпись:

Дома. Кто?

Аглай ответила; и снова блеснули буквы:

Иди.

Аглай стала на подъемную машину, поднялась на восьмой этаж, сделала несколько шагов по коридору и постучалась в комнату номер двадцать семьей.

— Войди, — ответила Люба.

— Ты одна? — спросила Аглай, с трудом различая предметы в освещенной одним только согревателем комнате.

— Одна, — ответила Люба, поднимаясь к ней навстречу с кушетки.

Разноцветные матовые стекла согревателя бросали пестрые бледные пятна на стены и пол. Занавесь на окне была не спущена, и сквозь узорчатые стекла лил слабый уличный свет, едва намечая раму.

— Можно закрыть окно? — спросила Аглай, кладя палец на черную кнопку.

— Конечно, — ответила Люба.

Аглай надавила кнопку, и тяжелая занавесь опустилась и закрыла окно, смотревшее холодно и тускло, как глаз мертвеца.

— Так лучше, — сказала Аглай, — улица меня сегодня раздражает.

— А я лежала и мечтала, — сказала Люба, когда Аглай сняла верхнюю кофточку и перчатки.

— О чем?

— Так... Сама не знаю... Сегодня ароматический концерт с программой из моих любимых номеров: «Майская ночь» Вязникова, «Буря» Уоллэса, «Ромео и Джульетта» Полетти... Но мне не хочется уходить из своей комнаты... А славная эта «Майская ночь»... Ты помнишь?.. В начале тонко-тонко проносится сырой и нежный запах свежих полей; потом нарастает густой и теплый аромат фиалок, и запах зеленых крепких листьев, и лес-

ной гниловатый пряный запах... Так и кажется, что идешь, взявши рука за руку с любимым человеком, по густому-густому лесу; а потом нежной и легкой тканью рассыпается аромат ландышей — острый и свежий аромат, аромат, от которого шире и вольнее дышится... В этом месте я готова кричать от восторга... А потом розы, царственные пышные розы... Разгорается заря, сверкают капли росы. Чудо что такое!.. А «Ромео и Джульетта»... Что-то таинственное и жуткое в этих пронзительных кружасшихся запахах в начале... потом они нарастают, становятся все глубже, все печальнее... Так и чувствуешь, что опускаешься в глубокий, едва освещенный склеп... А «Буря»... Ты любишь «Бурю»?.. Какие взрывы тяжелых, падающих, как градины, запахов, сменяющихся быстро, бегущих и сталкивающихся!.. Восторг...

Люба закинула руки за голову и мечтательно смотрела на разноцветные стекла согревателя.

— Отчего ж ты не пойдешь? — спросила Аглай, со страхом ожидая ответа подруги, точно от этого ответа зависела вся ее судьба.

— Не хочется. Лень... И последнее время все неприятности у меня... — ответила Люба и замолчала, упорно смотря на цветные стекла.

VII

— Какие же у тебя неприятности? — спросила Аглай, чтобы не молчать.

— Ах, все то же. Опять сорвалось... Какая я несчастная, какая я несчастная, Аглай!

— Да в чем дело?

— Я была на этой неделе у Айхенвальда, у Курбатова, у Эйзена; везде отказ, везде... У Эйзена, впрочем, удалось, но не раньше как через полтора года... И он музыкант; а я не особенно люблю музыкантов; я вовсе не хочу, чтобы мой ребенок был музыкантом... Отчего я такая некрасивая, противная? Отчего у меня такой длинный нос?.. Я уверена, что каждый из них прежде всего смотрит на мой нос и пугается...

— Люба, ты вовсе не такая некрасивая, как воображаешь...

— Э-э... полно... не утешай меня; я сама знаю.

Снова наступило молчание, и вдалеке жалобно прозвенел электрический колокол: раз, два, три...

— Он меня выводит из себя сегодня, этот колокол, — сказала Люба, затыкая своими длинными пальцами на мгновение уши.

— А я была вчера вечером у Карпова, — едва слышно промолвила Аглай.

— Была? — живо воскликнула Люба, порывисто оборачиваясь к ней. — Ну что? Как? Какая ты счастливица, Аглай. Расскажи мне все, все... Слышишь? Все...

— Мне тяжело... Ничего я не буду рассказывать. На душе у меня так гадко, так гадко...

— Но отчего же?.. Ах, как бы я хотела быть на твоем месте!.. Не красней... Карпов такой красавец, такая прелесть...

VIII

Резко и отрывисто звякнул телефон, и луч белого света прорезал комнату.

— Кто это? — с досадою спросила Аглай, оборачиваясь на звонок.

— Бетзинский, — сказала Люба, взглянувшись в светлую дощечку. Люба встала и подошла к телефону.

— Что вам, Павел?.. Прийти ко мне?

— Зови, зови его, пожалуйста, — вмешалась Аглай, торопясь предупредить подругу.

— Терпеть я не могу этого реформатора, — шепнула Люба, отворачиваясь от телефона.

— Пожалуйста... — повторила Аглай, просительно складывая руки.

— Ну, ладно уж...

И, обернувшись снова к телефону, Люба сказала:

— Приходите. Тут и ваша поклонница Аглай... — И Люба замкнула телефон.

— Ну, зачем ты это сболтнула? — недовольно бросила Аглай.

— А разве неправда? Только он не в моем вкусе; и не знаю, чем он тебе нравится. Беспокойный какой-то.

— Вот это самое беспокойство мне в нем и нравится...

— Не понимаю...

Разговор не клеился. Подруги сидели молча и каждая думала о своем.

— Который час? — спросила наконец Аглай. — Я еще ничего с обеда сегодня не ела и ничего не хочется.

Люба закинула назад руку и надавила маленькой кнопочку; над согревателем сверкнули цифры часов.

- Половина восьмого, — сказала Люба.
- Спасибо, — шепнула Аглай и снова замолчала.
- Тебя перевели? — спросила после долгой паузы Люба.
- Да.
- На какое?
- На макаронное... Это все-таки веселее, чем сортировать и отправлять пакеты.
- А мне мои перчатки надоели хуже... хуже... ну я прямо слова подыскать не могу... есть какая-то старинная пословица... вот только сейчас вспомнить не могу.
- Хуже горькой редьки?..
- Вот именно...

IX

Посыпался стук я дверь.

— Войдите, — сказала Люба.

Вошел высокий, хорошо развитый и крепко сложенный юноша.

- Это вы, Павел? — спросила, не оборачиваясь, Люба.
- Да, я. Почему у вас нет света? — промолвил Павел, здороваясь с молодыми девушками.
- Так. Нервы не в порядке.
- А-а... Впрочем, теперь немудрено и расстроиться нервам Знаете последнюю новость?
- Какую? — спросила Аглай.
- Их две, впрочем.
- Какие же?
- Одна — взрыв на центральной станции городского отопления в Москве; взорвался цилиндр с газом, причем разнесло несколько домов, убило больше десятка людей и поломало крышу. Теперь весь город мерзнет.

— Ужасно, — прошептала Люба.

— А другая... Эта новость задевает меня самого за живое. Задержаны, допрошены и приговорены к пожизненному устраниению семь человек, членов «Южного общества индивидуалистов», явившихся к нам проповедовать свои идеи. Вчера в Соляном городке им устроили после собрания настоящую овацию; и не успели они вернуться к себе в дом, их, по распоряжению Верховного Совета, взяли и доставили на его экстренное заседание...

— Давно нужно принять крутые меры против этой заразы, — сказала Люба.

— А где же наша свобода? — спросила Аглай.

— Свобода, свобода... Затасканное слово... — ответила Люба. — Эти люди подрывают все общество, грозят несчастиями, страшнее всяких взрывов...

— Против слова нужно бороться словом, — сказала Аглай.

— И против чумы нужно бороться словом? — спросила раздраженно Люба. — А есть слова, которые хуже чумы.

Она заговорила оживленно, волнуясь и жестикулируя:

— Нашлись пророки... Столетиями, тысячелетиями стонало человечество, мучилось, корчилось в крови и слезах. Наконец его муки были разрешены, оно дошло до решения вековых вопросов; нет больше несчастных, обездоленных, забытых; все имеют доступ к свету, теплу, все сыты, все могут учиться...

— И все рабы... — тихо бросил Павел.

— Неправда, — горячо подхватила Люба, — неправда: рабов теперь нет. Мы все равны и свободны. Нет рабов, потому что нет господ.

— Есть один страшный господин...

— Кто?

— Толпа... Это ваше ужасное «большинство»...

— Э-э... Оставьте... Старые сказки. Они меня раздражают. Я не могу слышать их равнодушно...

И Люба замолчала, сжимая нервно руки.

— Они меня влекут к себе, как глубокий омут, в пропасть... — сказала тихо Аглай.

— Кто? — спросила Люба.

- Те, кого ты иронически называешь пророками.
- Люба ничего не ответила, скривив презрительно губы.
- Будем чай пить? — спросила она потом, встряхивая головой, словно отбрасывая от себя неприятные мысли о беспокойных людях..
- Будем, — согласились в один голос Павел и Аглай и взглянули друг на друга, как бы поверяя один другому обшую тайну.

X

Люба сняла с полочки три стакана, молоко, печенье, хлеб и масло и, нажав пружину, захлопнула дверцу.

— Теперь свету бы не мешало, — сказал Павел, беря свой стакан, — неловко как-то в темноте.

Люба молча повернула рукоятку, и мягкий голубоватый свет полился с потолка.

— Я теперь читаю старинные книги. Каждый вечер нескользко часов посвящаю чтению, — заговорил снова Павел, отхлебнув несколько глотков и откидываясь на спинку кресла.

— Ну и что же? — отрывисто спросила Люба, раздражение которой еще не остыло.

— Я завидую, — ответил медленно Павел, — завидую свободным людям тех времен. Завидую тем несчастным, голодным и холодным «мужикам». Как просторно и свободно они жили, выбирая по своей воле труд или безделье.

— Главное, свободно умирая с голоду, — бросила Люба.

— Да; и свободно умирая с голоду.

— Умереть с голоду вы и теперь можете совершенно свободно.

— Да. Вот умереть мне можно совершенно свободно в любую минуту, а жить так, как я хочу, мне не позволяют.

— Как же вы хотите жить?

— Тоже совершенно свободно, независимо, не подчиняясь ни вашему Верховному Совету, ни окружным, ни тысячким, ни сотским...

Павел говорил громко и возбужденно, и все лицо его горело одушевлением, и глаза, красивые серые глаза блестели под белым, слегка откинутым назад лбом.

Аглай не сводила с него своего взгляда и жадно ловила его слова.

— Так, так, — наконец сказала она, — это мои мысли.

— Да замолчите вы, несносные, — вскричала Люба, — вы еще об религии заговорите!..

Она презрительно усмехнулась.

— О, как бы я хотел веровать, — сказал, подхватывая ее слова, Павел, — чисто, наивно и горячо веровать, как описывается в старинных книгах... Но меня обокрали; когда я был еще ребенком, мою душу отравили скептицизмом. Она мертвa и безжизненна... Как я завидую старому семейному быту, как бы мне хотелось иметь мать и отца; не граждан за номерами, которые числятся моими отцом и матерью по государственным спискам (да и то насчет отца я не уверен), а настоящих, живых мать и отца, которые воспитали бы меня и вложили бы в меня живую душу...

— Вы и против общественного воспитания детей?

— Да, против... Я не боюсь говорить об этом, как ни дико это кажется и как ни идет это вразрез с положениями госпожи науки и ходячей морали...

— Замолчите, мне тошно слушать вас. Я вам не верю; вы напускаете на себя.

— О нет, я говорю вполне искренно. Дружная религиозная семья... Как в ней должно быть хорошо бывало!.. Как радостно прыгали дети, встречая входящего отца! Как они прижимались доверчиво и ласково к своей матери!..

— У вас голова забита старыми бреднями. Вам нужно бросить читать и взять отпуск...

— Конечно, это лучшее средство, — сказал Павел насмешливо. — Нет, не то, — продолжал он, — раз проснулись эти чувства в душе, их ничем не заглушишь.

— Вы знаете, в Африке, около Нового Берлина, образовалось, говорят, общество, решившее добиваться от верховного африканского совета легализации семей на старинный лад? — сказала Аглай.

— Да, слышал. И глубоко им сочувствую. И, если я когда-нибудь сойдусь с девушкой, — прибавил Павел значительно, — я сойдусь с ней только с тем, чтоб никогда не разлучаться; и если она уйдет все-таки от меня, я ее убью... И себя убью...

— Вы совсем сумасшедший, — сказала Люба, — хотите ли еще чаю?

— Нет, не хочу... Свободные люди... А наша служба в Армии Труда, неизбежная, обязательная, как рок? обязательные занятия?! Вы что теперь делаете?

— Я в перчаточном, — ответила Люба.

— Ну вот. И очень это вам нравится?

— Это необходимо. И потом, ведь это отнимает у нас только четыре часа в сутки, а в остальное время делаем, что хотим.

— А я ни минуты, ни мгновения не хочу подчиняться, ни минуты не хочу заниматься мойкой стекол и полировкой рояля.

— Просите перевести вас.

— Куда? Рубить гвозди? Месить тесто?.. Я ничего, ни одного движения не хочу делать по принуждению...

— Ну к чему вы все это болтаете? — спросила его Люба, — ведь вы не переделаете всего общества. И если большинство с вами не согласно, вам остается только подчиниться.

— Большинство, большинство... Проклятое, бессмысленное большинство; камень, давящий всякое свободное движение..

XI

Павел вскочил и нервно заходил по комнате.

— Меня лишили, мне не дали веры... Не знаю, каким чудом есть еще верующие люди, и как бы я хотел этого чуда для себя! Меня обокрали; взамен мне не дали ничего, не дали никакого оружия против страшного, против чудовищного врага — смерти...

— Какого же оружия вы хотите? Его никогда не было. Разве в старых сказках...

— Вера была оружием. Твердая, горячая вера, с которой не страшна была самая темная ночь...

— Наука дает больше, чем вера; она реально, не в мечтах только и бреднях, а на самом деле, в действительности, продолжила вдвое среднюю человеческую жизнь; она избавила человека от болезней... Чего же вам еще?.. Мне кажется, этих реальных благ слишком чем достаточно, чтобы вознаградить за призрачные блага, дававшиеся верой.

— А смерть?
— А верующие не умирали?
— Умирали; но верили, что воскреснут. — Павел прошелся несколько раз по комнате.

— Свобода, — снова заговорил он, — а я ни одной вещи, ни одного угла не могу назвать своим. Нет ни одного угла, где бы я мог безусловно и совершенно самостоятельно распоряжаться...

— Вы все любите ссылаться на старину. Вспомните древних христиан. Я недавно еще читала о них целую книгу, у них ведь все было общее...

— Да, да... Все общее... Но только по любви, а не из принуждения. Я с восторгом бы имел все общее со всеми, если бы это было по любви, по братству. У христиан совершенно отсутствовал элемент насилия, принуждения, обязательности... — Он замолчал, пощипывая свою начавшую курчавиться бородку.

— Когда я прохожу, — начал он снова, — по Марсову полю, под его роскошными пальмами, магнолиями и олеандрами, среди пестрых цветов и вижу этот проклятый дворец Верховного Совета, у меня руки сжимаются судорогой и кажется, я так и передушил бы этих спокойных, холодных и бездушных, как машины, людей. Какой насмешкой, каким жалким убожеством кажутся мне пышные речи наших ораторов, произносимые на народных торжествах. Мне всегда так и хочется бросить в ответ на их шаблонно громкие слова о благоденствии человечества одно только слово: «слепцы». Человечество убито. Его нет больше. Оно только и было ценно, только и имело право жить за свою душу, за светлые порывы этой души, за светлые слезы любви... А теперь... теперь... Кругом только сытое стадо сытых и самодовольных зверей! Человечества нет — оно умерло!..

Павел задыхался.

И Аглай не сводила с него своего пристального взгляда и думала: «Так, так, это мои мысли, мои»...

XII

— Идемте вместе, — сказал Павел, когда Аглай начала собираться, — можно?

— Конечно, можно. Я буду очень рада.

Они спустились и вышли на улицу. Самодвижки уже были остановлены, и одинокие шаги редких прохожих гулко отдавались на пустой улице.

— Должно быть, ясная лунная ночь, — сказала Аглай, поднимая лицо вверх.

— Да, вероятно. Крыша не только освещена снизу, но и просвечивает лунным светом.

— Пойдемте наверх, на станцию воздушника; люблю смотреть, как они улетают и тонут в небе, особенно красиво это в лунную ночь: тогда они походят на серебристых птиц.

— Пойдемте.

Они пошли рядом по направлению к Литейному, то попадая в тень узорчатых листьев пальм, то обливаемы молочным сиянием. Красными огнями вспыхивали то там, то здесь бюллетени...

Молча поднялись Аглай и Павел по лестнице.

— Товарищ, дайте одеться, — сказал Павел, дотягиваясь до дремавшего дежурного, заведующего теплой одеждой.

— Куда так поздно? — спросил тот от нечего делать и выдал по одному комплекту одежды.

— На какой склад отметить? — спросил он снова.

— Мы недолго, только погулять на платформе, — сказал Павел.

— А-а... — протянул заведующий и снова сел в свое теплое и удобное кресло.

Павел и Аглай вышли на платформу. Воздушник был готов к отправлению и висел, подрагивая корпусом.

Полный месяц стоял в самой середине безоблачного голубого неба. Нежные и топкие лучи его лились на крышу, простиравшуюся до самого горизонта. От высоких труб и выступов падали голубоватые тени. Запорошенная мелким, неубранным снегом крыша сверкала и искрилась. Как привидения, подымались в небо станции воздушников. Иногда воздушник с острым шипом проносился и падал у станции, и жалобные звонки электрических колоколов бежали над крышой.

Раздались два громких неожиданных удара за спину Павла и Аглай. Они оба вздрогнули.

— Готово? — спросил отправитель.

— Готово, — ответил проводник.

— Отдай! — крикнул отправитель.

И, зазвенев в стальных полосах, воздушник скользнул и плавно поднялся вверх.

— Ну, смотрите, смотрите... Разве не похоже на сказочную, волшебную птицу? — спросила Аглай. — Смотрите, как блесст он.

— Да, да... — шептал Павел, взяв теплую руку Аглаи и сжимая ее своей рукой.

И у Аглаи сердце замерло неожиданно от предчувствия какого-то еще небывалого счастья.

Отправитель ушел к себе. Аглай и Павел остались одни на платформе, залитые яркими лучами месяца.

— Тебе не холодно? — спросил Павел, наклоняя лицо свое к Аглае.

Она не удивилась этому неожиданному «ты» и, вся замирая, с забывшимся вдруг сердцем едва слышно ответила:

— Нет.

— Аглай, дорогая, я люблю, люблю тебя, Аглай... — зашептал вдруг, как в горячке, Павел, — люблю давно, как безумный, и хочу, чтобы ты была моей женой: не отдалась бы только мне на миг, на день, на неделю, не мимолетной любви прошу у тебя, а на всю жизнь, до самой смерти... Если ты можешь дать такую любовь и если принимаешь мою, скажи мне «да»...

У Аглаи кружилась голова, мысли путались... и вдруг она отклонилась и вырвала свою руку из горячих рук Павла.

— Я недостойна тебя, — сказала она.

— Ты? Ты? Прекрасная, чистая душой и телом, ты недостойна меня?! — зашептал Павел, бросая слова одно за другим

— Да... Я была вчера у Карпова... по записи...

Павел отступил от нее, горестно смотря на ее побледневшее лицо и словно не веря.

— Да, да... Я сказала правду... Иди, уходи... Оставь, пожалуйста, меня одну... любимый мой... — Она закончила шепотом

— Позволь...

— Умоляю тебя, иди и оставь меня одну...

Павел покорно пошел прочь, волоча обессилевшие ноги, и скоро исчез в дверях спуска..

Аглай стояла, стиснув руки и наклонив голову, и крупные слезы одна за другой сбегали по ее щекам, обжигая их и застывая на ее груди крупинками льда.

Зазвонил колокол. Огромная тень воздушника мелькнула справа, и раньше, чем он успел опуститься, Аглай бросилась с платформы, закрыв глаза, под его тяжелое блестящее тело...

Павел долго бродил по пустым улицам... В третьем часу, переходя Морскую, он машинально взглянул на бюллетень. Красные буквы запрыгали у него в глазах.

В бюллетене стояло:

На воздушной станции № 3 гражданка № 4372221 бросилась под воздушник и поднята без признаков жизни. Причины неизвестны.

Владимир Соловьев

КРАТКАЯ ПОВЕСТЬ ОБ АНТИХРИСТЕ

Начало

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно...

ДАМА. Откуда этот эпиграф?
Г(-и) Z. Я думаю, что это автор
повести сам сочинил.
ДАМА. Ну, читайте.
Г(-и) Z. (читает):

Двадцатый век по Р. Х. был эпохой последних великих войн, междуусобий и переворотов. Самая большая из внешних войн имела своею отдаленою причиною возникшее еще в конце XIX века в Японии умственное движение панмонголизма. Подражательные японцы, с удивительною быстротою и успешностью перенявши вещественные формы европейской культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они провозгласили великую идею панмонголизма, т.е. собрание воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т.е. европейцев.

Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнею решительною борьбою с мусульманским миром в начале XX века, они приступили к осуществлению великого плана — сперва занятием Кореи, а затем и Пекина, где они с помощью

прогрессивной китайской партии низвергли старую маньчжурскую династию и посадили на ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские консерваторы. Они поняли, что из двух зол лучше выбрать меньшее и что свой своему поневоле брат. Государственная самостоятельность старого Китая все равно была не в силах держаться, и неизбежно было подчиниться или европейцам, или японцам.

Но ясно было, что владычество японцев, упраздняя внешние формы китайской государственности, оказавшиеся притом очевидно никуда не годными, не касалось внутренних начал национальной жизни, тогда как преобладание европейских держав, поддерживавших ради политики христианских миссионеров, грозило глубочайшим духовным устоям Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда ни те, ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась междуусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужие, только врачи, и их преобладание ничем не могло льстить племенному самолюбию, тогда как в руках Японии китайцы видели сладкую приманку панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их глазах и печальную неизбежность внешней европеизации.

«Поймите, упрямые братья, — твердили японцы, — что мы берем у западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами и примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и осnuем настоящее Срединное царство надо всею вселеною. Вы правы в своей народной гордости и в своем презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумною деятельностью. В ней мы вас опередили и должны вам показывать пути общей пользы. А не то смотрите сами, что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам — вашим естественным друзьям и защитникам: Россия и Англия, Германия и Франция чуть не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста».

Рассудительные китайцы находили это основательным, и японская династия прочно утвердилаась. Первою ее заботою

было, разумеется, создание могучей армии и флота. Большая часть военных сил Японии была переведена в Китай, где составила кадры новой огромной армии. Японские офицеры, говорившие по-китайски, действовали как инструкторы гораздо успешнее отстраненных европейцев, а в бесчисленном населении Китая с Маньчжурией, Монголией и Тибетом нашлось достаточно пригодного боевого материала.

Уже первый богдыхан из японской династии мог сделать удачную пробу оружия обновленной империи, вытеснив французов из Тонкина и Сиама, а англичан из Бирмы и включивши в Срединную империю весь Индокитай. Преемник его, по матери китаец, соединивший в себе китайскую хитрость и упругость с японской энергией, подвижностью и предприимчивостью, мобилизует в китайском Туркестане четырехмиллионную армию, и, в то время как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия предназначена для завоевания Индии; богдыхан вторгается в нашу Среднюю Азию и, поднявши здесь все население, быстро двигается через Урал и наводняет своими полками всю Восточную и Центральную Россию, тогда как наскоро мобилизуемые русские войска частями спешат из Польши и Литвы, Киева и Волыни, Петербурга и Финляндии. При отсутствии предварительного плана войны и при огромном численном перевесе неприятеля боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью. Быстрая нашествия не оставляет времени для должной концентрации, и корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. И монголам это достается не дешево, но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами, в то время как двухсоттысячная русская армия, давно собранная у границ Маньчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищенный Китай.

Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск, а также для преследования размножившихся партизанских отрядов, богдыхан тремя армиями переходит границы Германии. Здесь успели подготовиться, и одна из монгольских армий разбита наголову. Но в это время во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Попав между мо-

лотом и наковальней, германская армия принуждена принять почетные условия разоружения, предложенные богдыханом. Ликующие французы, братаясь с желтолицами, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с китайской аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих *sans patrie*, и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока.

Удовлетворив своему любопытству, богдыхан отправляется в приморскую Булонь, где под прикрытием флота, подошедшего из Тихого океана, готовятся транспортные суда, чтобы перевезти его войска в Великобританию. Но ему нужны деньги, и англичане откупаются миллиардом фунтов. Через год все европейские государства признают свою вассальную зависимость от богдыхана, и, оставив в Европе достаточное оккупационное войско, он возвращается на Восток и предпринимает морские походы в Америку и Австралию.

Полвека длится новое монгольское иго над Европой. Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется повсюдным смешением и глубоким взаимопроникновением европейских и восточных идей, повторением *en grand* древнегоalexандрийского синкретизма; а в практических областях жизни наиболее характерными становятся три явления: широкий наплыв в Европу китайских и японских рабочих и сильное обострение вследствие этого социально-экономического вопроса; продолжающийся со стороны правящих классов ряд паллиативных опытов решения этого вопроса и усиленная международная деятельность тайных общественных организаций, образующих обширный всеевропейский заговор с целью изгнания монголов и восстановления европейской независимости. Этот колоссальный заговор, в котором принимали участие и местные национальные правительства, насколько это было возможно при контроле богдыханских наместников, мастерски подготовлен и удаётся блестящим образом. В назначенный срок начинается резня монгольских солдат, избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем местам открываются тайные кадры европейских войск и по задолго составленному подробнейшему плану происходит

всеобщая мобилизация. Новый богдыхан, внук великого завоевателя, поспешает из Китая в Россию, но здесь его несметные полчища наголову разбиты всеевропейскою армией. Их рассеянные остатки возвращаются в глубь Азии, и Европа становится свободною. Если полуековое подчинение азиатским варварам произошло вследствие разъединения государств, думавших только о своих отдельных национальных интересах, то великое и славное освобождение достигнуто международною организацией соединенных сил всего европейского населения. Естественным следствием этого очевидного факта оказывается то, что старый, традиционный строй отдельных наций повсюду теряет значение и почти везде исчезают последние остатки старых монархических учреждений. Европа в двадцать первом веке представляет союз более или менее демократических государств — европейские соединенные штаты.

Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием и освободительной борьбою, снова пошли ускоренным ходом. А предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, осложненные и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, — остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один важный отрицательный результат: решительное падение теоретического материализма. Представление о Вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества — таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но ясно становится, с другой стороны, что оно также переросло и младенческую способность наивной, безответной веры. Таким понятиям, как Бог, сделавший мир из ничего и т.д., перестают уже учить и в начальных школах. Выработан некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство мыслящих людей остается вовсе неверующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму.

Был в это время между немногими верующими спиритуалистами один замечательный человек — многие называли его сверхчеловеком, — который был одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочтит Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится перед злую силу, лишь только она подкупит его — не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкой власти, а через одно безмерное самолюбие.

Впрочем, это самолюбие не было ни безотчетным инстинктом, ни безумным притязанием. Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности,казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно снабженный дарами Божьими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос. Но это сознание своего высшего достоинства на деле определилось в нем не как его нравственная обязанность к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими, и прежде всего перед Христом.

У него не было первоначально вражды и к Иисусу. Он признавал Его мессианское значение и достоинство, но он искренно видел в нем лишь своего величайшего предшественника; нравственный подвиг Христа и Его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума. Он рассуждал так: «Христос пришел раньше меня: я являюсь вторым; но ведь то, что в порядке времени является после, то, по существу, первое. Я прихожу последним, в конце истории, именно

потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос — мой предтеча. Его призвание было — предварить и подготовить мое явление». И в этой мысли великий человек двадцать первого века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, т.е. им самим. На этой стадии грядущий человек представляет еще немного характерного и оригинального. Ведь подобным же образом смотрел на свое отношение к Христу, например, Мухаммед, человек правдивый, которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить.

Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но неправда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно».

И вот в этом прекрасном расположении ждет он какого-нибудь ясного призыва Божия к делу нового спасения человечества, какого-нибудь явного и поразительного свидетельства, что он есть старший сын, возлюбленный первенец Божий. Ждет и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований — ведь это, как сказано, человек безупречной нравственности и необычайной гениальности.

Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества. — и не дождется. Ему уж минуло тридцать лет, проходят еще три года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячею дрожью пронизывает его мысль: «А

если?.. А вдруг не я, а тот... галилеянин?.. Вдруг Он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив... Где же Он?.. Вдруг Он придет ко мне... сейчас, сюда?.. Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь бессмысленно бормотать: Господи Сузе Христе, помилуй мя грешного, — или, как польская баба, растянувшись кжижем? Я, светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда!» И тут на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть: «Я, я, а не Он! Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес! Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя...» И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает из дому, из саду и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке...

Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нем что-то шевельнулось. «Позвать Его, — спросить, что мне делать?» И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. «Он меня жалеет... Нет, никогда! Не воскрес, не воскрес!» И он бросился с обрыва. Но что-то упругое, как водяной столб, удержало его в воздухе, он почувствовал сотрясение, как от электрического удара, и какая-то сила отбросила его назад. На миг он потерял сознание и очнулся стоящим на коленях в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовывалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу...

Видит он эти два пронзительных глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный и вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему: «Сын мой возлюбленный, в тебе все мое благование. Зачем ты не взыскал меня? Зачем почитал того, дурно-

го, и отца его? Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый — мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мной. Я люблю тебя и ничего от тебя не требую. Ты и так прекрасен, велик, могуч. Делай свое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе. Я люблю тебя. Мне ничего не нужно от тебя. Тот, Кого ты считал богом, требовал от Своего сына послушания, и послушания беспредельного — до крестной смерти, — и Он не помог ему на кресте. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе. Ради тебя самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства и ради моей чистой бескорыстной любви к тебе — я помогу тебе. Прими дух мой. Как прежде дух мой родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе».

И с этими словами неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись, два пронзительных глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот же миг светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то подняло сверхчеловека над землею и разом опустило в его саду, у дверей дома.

На другой день не только посетители великого человека, но даже его слуги были изумлены его особенным, каким-то вдохновенным видом. Но они были бы еще более поражены, если бы могли видеть, с какою сверхъестественною быстротою и легкостью писал он, запервшись в своем кабинете, свое знаменитое сочинение под заглавием: «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию».

Прежние книги и общественные действия сверхчеловека встречали строгих критиков, хотя это были большей частью люди особенно религиозные и потому лишенные всякого авторитета, — ведь я о времени пришествия антихриста говорю, — так что не многие их слушали, когда они указывали во всем, что писал и говорил «грядущий человек», признаки совершенного исключительного, напряженного самолюбия и самомнения при отсутствии истинной простоты, прямоты и сердечности.

Но своим новым сочинением он привлечет к себе даже некоторых из своих прежних критиков и противников. Эта книга,

написанная после приключения на обрыве, покажет в нем не-бывалую прежде силу гения. Это будет что-то всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная почтительность к древним преданиям и символам с широким и смелым радикализмом общественно-политических требований и указаний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал с полною определенностью и жизненностью практических решений. И все это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее действительно над своим я, николько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность.

Эта удивительная книга сейчас будет переведена на языки всех образованных и некоторых необразованных наций. Тысячи газет во всех частях света будут целый год наполняться изательскими рекламами и восторгами критиков. Дешевые издания с портретами автора будут расходиться в миллионах экземпляров, и весь культурный мир — а в то время это будет почти значить то же, что весь земной шар, — наполнится славою несравненного, великого, единственного! Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная справедливость, все текущее оценено так беспристрастно и всесторонне и лучшее будущее так наглядно и осозательно придинуто к настоящему, что всякий скажет: «Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера». И чудный писатель не только увлечет всех, но он будет всякому приятен, так что исполнится слово Христово: «Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, придет другой во имя свое, — того примете». Ведь для того, чтобы быть принятым, надо быть приятным. Правда, некоторые благочестивые люди, горячо восхваляя эту

книгу, станут задавать только вопрос, почему в ней ни разу не упомянуто о Христе, но другие христиане возразят: «И слава Богу! — довольно уже в прошлые века все священное было затаскано всякими непривычными ревнителями, и теперь глубоко-религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание книги проникнуто истинно-христианским духом деятельной любви и всеобъемлющего благоволения, то что же вам еще?» И с этим все согласятся.

Вскоре после появления «Открытого пути», который сделал своего автора самым популярным изо всех людей, когда-либо появлявшихся на свете, должно было происходить в Берлине международное учредительное собрание союза европейских государств. Союз этот, установленный после ряда внешних и внутренних войн, связанных с освобождением от монгольского ига и значительно изменивших карту Европы, подвергался опасности от столкновений теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными партиями. Заправили общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе (*Comite permanent universel*) не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящими, посвященными в дело масонами. Независимые члены управы вступали между собою в сепаратные соглашения, и дело грозило новою войною.

Тогда «посвященные» решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена — «грядущий человек». Он был единственным лицом с великою всемирною знаменитостью. Будучи по профессии ученым артиллеристом, а по состоянию крупным капиталистом, он повсюду имел дружеские связи с финансовыми и военными кругами. Против него в другое, менее просвещенное время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто глубоким мраком неизвестности. Мать его, особа снискавшая известность, была отлично известна обоим земным полушариям, но слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его

отцами. Эти обстоятельства, конечно, не могли иметь никакого значения для века столь передового, что ему даже пришлось быть последним. Грядущий человек был выбран почти единогласно в пожизненные президенты европейских соединенных штатов; когда же он явился на трибуне во всем блеске своей сверхчеловеческой юной красоты и силы и с вдохновенным красноречием изложил свою универсальную программу, увлеченное и очарованное собрание в порыве энтузиазма без голосования решило воздать ему высшую почесть избранием в римские императоры.

Конгресс закрылся среди всеобщего ликования, и великий избранник издал манифест, начинавшийся так: «Народы земли! Мир мой даю вам!» — и кончавшийся такими словами: «Народы земли! Свершились обетования! Вечный вселенский мир обеспечен. Всякая попытка его нарушить сейчас же встретит неодолимое противодействие. Ибо отныне есть на земле одна срединная власть, которая сильнее всех прочих властей и позрь, и вместе взятых. Эта ничем не одолимая, все превозмогающая власть принадлежит мне, полномочному избраннику Европы, императору всех ее сил. Международное право имеет, наконец, недостававшую ему доселе санкцию. И отныне никакая держава не осмелится сказать: война, когда я говорю: мир Народы земли — мир вам!»

Этот манифест произвел желанное действие. Повсюду вне Европы, особенно в Америке, образовались сильные империалистические партии, которые заставили свои государства на разных уровнях присоединиться к европейским соединенным штатам под верховною властью римского императора. Оставались еще независимые племена и державцы кое-где в Азии и Африке. Император с небольшою, но отборною армией из русских, немецких, польских, венгерских и турецких полков совершаet военную прогулку от Восточной Азии до Марокко и без большого кровопролития подчиняет всех непокорных. Во всех странах двух частей света он ставит своих наместников из европейски образованных и преданных ему туземных вельмож. Во всех языческих странах пораженное и очарованное население провозглашает его верховным богом. В один год основывается всемирная монархия в собственном и точном смысле. Ростки вой-

ны вырваны с корнем. Всеобщая лига мира сошлась в последний раз и, провозгласив восторженный панегирик великому миротворцу, закрыла себя за ненадобностью.

В новый год своего правления римский и всемирный император издает новый манифест: «Народы земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Но мир красен только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не радость. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас». И затем он объявляет простую и всеобъемлющую социальную реформу, уже намеченную в его сочинении и там уже пленявшую все благородные и трезвые умы. Теперь благодаря сосредоточению в его руках всемирных финансовых и колоссальных поземельных имуществ он мог осуществить эту реформу по желанию бедных и без ощущительной обиды для богатых. Всякий стал получать по своим способностям, и всякая способность — по своим трудам и заслугам. Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом, и не только филантропом, но и филозоем. Сам он был вегетарианцем, он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за боянями; общества покровительства животных всячески поощрялись им. Важнее этих подробностей было прочное установление во всем человечестве самого основного равенства — равенства всеобщей сытости. Это совершилось во второй год его царствования. Социально-экономический вопрос был окончательно решен. Но если сытость есть первый интерес для голодных, то сытым хочется чего-нибудь другого. Даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть. Тем более человечество, которое всегда *post rapet* требовало *circenses*. Император-сверхчеловек поймет, что нужно его толпе. В это время с Дальнего Востока прибудет к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако странных былей и диких сказок. По слухам, распространенным среди необуддистов, он будет происхождения божественного: от солнечного бога Сурьи и какой-то речной нимфы.

Этот чудодей по имени Аполлоний, человек несомненно гениальный, полуазиат и полуевропеец, католический епископ *in partibus infidelium*, удивительным образом соединит в себе обладание последними выводами и техническими приложениями

западной науки со знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной мистике Востока. Результаты такого сочетания будут поразительны. Аполлоний дойдет, между прочим, до полунаучного, полумагического искусства притягивать и направлять по своей воле атмосферическое электричество, и в народе будут говорить, что он сводит огонь с небес. Впрочем, поражая воображение толпы разными неслыханными диковинками, он не будет до времени злоупотреблять своим могуществом для каких-нибудь особых целей.

Так вот этот человек придет к великому императору, поклонится ему как истинному сыну Божию, объявит, что в тайных книгах Востока он нашел прямые предсказания о нем, императоре, как о последнем спасителе и судии Вселенной, и предложит ему на службу себя и все свое искусство. Очарованный им император примет его как дар свыше и, украсив его пышными титулами, не будет уже более с ним разлучаться. И вот народы земли, облагодетельствованные своим владыкой, кроме всеобщего мира, кроме всеобщей сытости получат еще возможность постоянного наслаждения самыми разнообразными и неожиданными чудесами и знамениями. Кончался третий год царствования сверхчеловека.

Окончание

После благополучного решения политического и социального вопроса поднялся вопрос религиозный. Его возбудил сам император, и прежде всего по отношению к христианству. В это время христианство находилось в таком положении. При очень значительном численном уменьшении своего состава — на всем земном шаре оставалось не более сорока пяти миллионов христиан — оно нравственно подобралось и подтянулось и выигрывало в качестве, что теряло в количестве. Людей, не соединенных с христианством никаким духовным интересом, более уже не числилось между христианами. Различные вероисповедания довольно равномерно уменьшились в своем составе, так что между ними сохранялось приблизительно прежнее числовое отношение; что же касается до взаимных чувств,

то хотя вражда не заменилась полным примирением, но значительно смягчилась и противоположения потеряли свою прежнюю остроту.

Папство уже давно было изгнано из Рима и после многих скитаний нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны. В России оно значительно опростилось. Не изменяя существенно необходимого состава своих коллегий и официй, оно должно было одухотворить характер их деятельности, а также сократить до минимальных размеров свой пышный ритуал и церемониал. Многие странные и соблазнительные обычаи, хотя формально не отмененные, сами собою вышли из употребления. Во всех прочих странах, особенно в Северной Америке, католическая иерархия еще имела много представителей с твердою волей, неутомимою энергией и независимым положением; еще сильнее прежнего стянувших единство католической церкви и сохранивших за нею ее международное космополитическое значение.

Что касается до протестантства, во главе которого продолжала стоять Германия, особенно после воссоединения значительной части англиканской церкви с католической, то оно очистилось от своих крайних отрицательных тенденций, сторонники которых открыто перешли к религиозному индифферентизму и неверию. В евангелической церкви остались лишь искренно верующие, во главе которых стояли люди, соединявшие обширную ученость с глубокою религиозностью и с все более усилившимся стремлением возродить в себе живой образ древнего подлинного христианства.

Русское православие после того, как политические события изменили официальное положение церкви, хотя потеряло многие миллионы своих мнимых, номинальных членов, зато испытalo радость соединения с лучшую частью староверов и даже многих сектантов положительно-религиозного направления. Эта обновленная церковь, не возрастаю числом, стала расти в силе духа, которую она особенно показала в своей внутренней борьбе с размножившимися в народе и обществе крайними сектами, не чуждыми демонического и сатанического элемента.

В первые два года нового царствования все христиане, напуганные и утомленные рядом предшествовавших революций и войн, относились к новому повелителю и его мирным реформам частью с благосклонным выжиданием, частью с решительным сочувствием и даже с горячим восторгом. Но на третий год, с появлением великого мага, у многих православных, католиков и евангеликов стали возникать серьезные опасения и антипатии. Евангельские и апостольские тексты, говорившие о князе века сего и об антихристе, стали читаться внимательнее и оживленно комментироваться. По некоторым признакам, император догадался о собирающейся грозе и решил скорее выяснить дело.

В начале четвертого года царствования он издает манифест ко всем своим верным христианам без различия исповедания, приглашая их избрать или назначить полномочных представителей на вселенский собор под его председательством. Резиденция в это время была перенесена из Рима в Иерусалим. Палестина тогда была автономной областью, населеною и управляемою преимущественно евреями. Иерусалим был вольным, а тут сделался имперским городом. Христианские святыни остались неприкосновенными, но на всей обширной платформе Харам-эш-Шерифа, от Биркет-Исраин и теперешней казармы, с одной стороны, и до мечети Эль-Акса и «соломоновых конюшен» — с другой, было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себе кроме двух старых небольших мечетей обширный «имперский» храм для единения всех культов и два роскошных имперских дворца, с библиотеками, музеями и особыми помещениями для магических опытов и упражнений. В этом полуухраме-полудворце четырнадцатого сентября должен был открыться вселенский собор. Так как евангелическое исповедание не имеет в собственном смысле священства, то католические и православные иерархи, согласно желанию императора, чтобы придать некоторую однородность представительству всех частей христианства, решили допустить к участию на соборе некоторое число своих мирян, известных благочестием и преданностью церковным интересам; а раз были допущены миряне, то нельзя было исключить низшего духовенства, черного и белого. Таким образом, об-

шее число членов собора превышало три тысячи, а около полумиллиона христианских паломников наводнили Иерусалим и всю Палестину.

Между членами собора особенно выделялись трое. Во-первых, папа Петр II, по праву стоявший во главе католической части собора. Его предшественник умер по пути на собор, и в Дамаске составился конclave, единогласно избравший кардинала Симоне Барионини, принявшего имя Петра. Происхождения он был простонародного, из Неаполитанской области, и стал известен как проповедник кармелитского ордена, оказавший большие заслуги в борьбе с одною усилившуюся в Петербурге и его окрестностях сатаническою сектой, совращающей не только православных, но и католиков. Сделанный архиепископом могилевским, а потом и кардиналом, он заранее был намечен для тиары. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста и плотного сложения, с красным лицом, горбатым носом и густыми бровями. Он был человек горячий и стремительный, говорил с жаром и с размашистыми жестами и более увлекал, чем убеждал слушателей. К всемирному повелителю новый папа выказывал недоверие и нерасположение, особенно после того, как покойный папа, отправляясь на собор, уступил настояниям императора и назначил кардиналом имперского канцлера и великого всемирного мага, экзотического епископа Аполлония, которого Петр считал сомнительным католиком и несомненным обманщиком.

Действительным, хотя неофициальным, вождем православных был старец Иоанн, весьма известный среди русского народа. Хотя он официально числился епископом «на покое», но не жил ни в каком монастыре, а постоянно странствовал во всех направлениях. Про него ходили разные легенды. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, т.е. император Александр Первый, родившийся около трех веков до того. Другие шли дальше и утверждали, что это настоящий старец Иоанн, т.е. апостол Иоанн Богослов, никогда не умиравший и открыто явившийся в последние времена. Сам он ничего не говорил о своем происхождении и о своей молодости. Теперь это был очень древний, но бодрый старик, с желтеющею и даже зеле-неющею белизною кудрей и бороды, высокого роста и худой в

теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи; одет он был всегда в белую рясу и мантию.

Во главе евангелических членов собора стал ученейший немецкий теолог, профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста сухой старичок, с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым свирепо-добродушным взглядом. Он ежеминутно потирал руки, качал головой, страшно сдвигал брови и оттопыривал губы; при этом, сверкая глазами, он угрюмо произносил отрывистые звуки: so! nun! ja! so also! Он был одет торжественно — в белом галстуке и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими знаками.

Открытие собора было внушительно. Две трети огромного храма, посвященного «единству всех культов», были уставлены скамьями и другими сиденьями для членов собора, одна треть была занята высокою эстрадой, где кроме императорского трона и другого, пониже, для великого мага, — он же кардинал, имперский канцлер, — были ряды кресел сзади для министров, придворных и статс-секретарей, а сбоку — более длинные ряды кресел, назначение которых было неизвестно. На хорах были оркестры музыки, а на соседней площади выстроились два гвардейских полка и батарея для торжественных залпов. Члены собора уже отслужили свои богослужения в разных церквях, и открытие собора должно было быть вполне светским. Когда вошел император с великим магом и свитою и оркестр заиграл «Марш единого человечества», служивший имперским международным гимном, все члены собора встали и, махая шляпами, трижды громко прокричали: «Viva! Ура! Hoch!»

Император, ставши около трона и с величественною благосклонностью протянувши руку, произнес звучным и приятным голосом: «Христиане всех толков! Возлюбленные мои подданные и братья! От начала моего царствования, которое Вышний благословил такими чудными и славными делами, я ни разу не имел повода быть вами недовольным; вы всегда исполняли свой долг по вере и совести. Но мне этого мало. Моя искренняя любовь к вам, братья возлюбленные, жаждет взаимности. Я хочу, чтобы не по чувству долга, а по чувству сер-

дечной любви вы признали меня вашим истинным вождем во всяком деле, предпринимаемом для блага человечества. И вот кроме того, что я делаю для всех, я хотел бы оказать вам особые милости. Христиане, чем мог бы я вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным, а как единоверцам, братьям моим? Христиане! Скажите мне, что для вас всего дороже в христианстве, чтоб я мог в эту сторону направить свои усилия?»

Он остановился и ждал. По храму носился глухой гул. Члены собора перешептывались между собою. Папа Петр, горячо жестикулируя, толковал что-то своим окружающим. Профессор Паули качал головой и ожесточенно чмокал губами. Старец Иоанн, наклонившись над восточным епископом и капуцином, что-то тихо внушал им. Прождавши несколько минут, император обратился к собору тем же ласковым тоном, но в котором звучала едва уловимая нотка иронии. «Любезные христиане, — сказал он. — Я понимаю, как труден для вас один прямой ответ. Я хочу помочь вам и в этом. Вы, к несчастью, с таких незапамятных времен распались на разные толки и партии, что, может быть, у вас и нет одного общего предмета влечения. Но если вы не можете согласиться между собою, то я надеюсь согласить все ваши партии тем, что окажу им всем одинаковую любовь и одинаковую готовность удовлетворить истинному стремлению каждой. Любезные христиане! Я знаю, что для многих и не последних из вас всего дороже в христианстве тот духовный авторитет, который оно дает своим законным представителям, — не для их собственной выгоды, конечно, а для общего блага, так как на этом авторитете зиждется правильный духовный порядок и нравственная дисциплина, необходимая для всех. Любезные братья-католики! О, как я понимаю ваш взгляд, и как бы я хотел опереть свою державу на авторитет вашего духовного главы! Чтобы вы не думали, что это лесть и пустые слова, торжественно объявляем согласно нашей самодержавной воле: верховный епископ всех католиков, папа римский, восстанавливается отныне на престоле своем в Риме со всеми прежними правами и преимуществами этого звания и кафедры, когда-либо данными от наших предшественников, начиная с императора Константина Великого. А от вас, братья-католи-

ки, я хочу за это лишь внутреннего сердечного признания меня вашим единственным заступником и покровителем. Кто здесь по совести и чувству признает меня таким, пусть идет сюда ко мне». И он указал пустые места на эстраде.

И с радостными восклицаниями: «*Gratias agimus! Domine! Salvum fac magnum imperatorem*» — почти все князья католической церкви, кардиналы и епископы, большая часть верующих мирян и более половины монахов взошли на эстраду и после низких поклонов по направлению к императору заняли свои кресла. Но внизу, посредине собора, прямой и неподвижный, как мраморная статуя, сидел на своем месте папа Петр Второй. Все, что его окружало, было на эстраде. Но оставшаяся внизу поредевшая толпа монахов и мирян сдвинулась к нему и сомкнулась тесным кольцом, и оттуда слышался сдержаный шепот: «*Non praevalebunt, non praevalebunt portae imfernī*».

Взглянув с удивлением на неподвижного папу, император снова возвысил голос: «Любезные братья! Знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе, с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной, а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаяев к преданию и установлениям святой православной церкви! Братья православные! Кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда».

И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными криками взошли на эстраду, косясь на горделиво восседавших там католиков. Но старец Иоанн не двигался и громко вздыхал. И когда толпа вокруг

него сильно поредела, он оставил свою скамью и пересел ближе к папе Петру и его кружку. За ним последовали и прочие православные, не пошедшие на эстраду.

Опять заговорил император: «Известны мне, любезные христиане, и такие между вами, что всего более дорожат в христианстве личною уверенностью в истине и свободным исследованием Писания. Как я смотрю на это — нет надобности распространяться. Вы знаете, может быть, что еще в ранней юности я написал большое сочинение по библейской критике, произведенное в то время некоторый шум и положившее начало моей известности. И вот, вероятно, в память этого здесь на этих днях присыпает мне просьбу Тюбингенский университет принять от него почетный диплом доктора теологии. Я велел отвечать, что с удовольствием и благодарностью принимаю. А сегодня вместе с тем музеем христианской археологии подписал я учреждение всемирного института для свободного исследования Священного Писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях и для изучения всех вспомогательных наук, с полутора миллионами марок годового бюджета. Кому из вас по сердцу такое мое душевное расположение и кто может по чистому чувству признать меня своим державным вождем, прошу сюда к новому доктору теологии». И прекрасные уста великого человека слегка передернуло какой-то странной усмешкой.

Больше половины ученых-теологов двинулось к эстраде, хотя с некоторым замедлением и колебанием. Все озирались на профессора Паули, который будто прирос к своему сиденью. Он низко опустил голову, согнулся и съежился. Взошедшие на эстраду ученые-теологи конфузились, а один вдруг махнул рукой и, соскочив прямо вниз мимо лестницы, прихрамывая, побежал к профессору Паули и оставшемуся при нем меньшинству. Тот поднял голову и, вставши с каким-то неопределенным движением, пошел мимо опустевших скамей, сопровождаемый устоявшими единоверцами, и подсел с ними ближе к старцу Иоанну и папе Петру с их кружками.

Значительное большинство собора, и в том числе почти вся иерархия Востока и Запада, находилось на эстраде. Внизу оставались только три сблизившиеся между собой кучки людей.

жавшихся около старца Иоанна, папы Петра и профессора Паули. Грустным тоном обратился к ним император: «Что еще могу я сделать для вас? Странные люди! Чего вы от меня хотите? Я не знаю. Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих братьев и вождей, осужденные народным чувством: что всего дороже для вас в христианстве?»

Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и кратко отвечал: «Великий государь! Всего дороже для нас в христианстве сам Христос, — Он Сам, а от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твоей опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас, — вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, — исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его второго славного пришествия».

Он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось что-то недобroe. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие, и все его мысли сосредоточились на том, чтобы не лишиться и наружного самообладания и не выдать себя прежде времени. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с диким воплем на говорившего и не начать грызть его зубами. Вдруг он услышал знакомый нездешний голос: «Молчи и ничего не бойся». Он молчал. Только помертвевшее и потемневшее лицо его все перекосилось, и из глаз вылетали искры.

Между тем во время речи старца Иоанна великий маг, который сидел весь закутанный в свою необъятную трехцветную мантию, скрывавшую кардинальский пурпур, как будто производил под нею какие-то манипуляции, глаза его сосредоточенно сверкали и губы шевелились. В открытые окна храма было видно, что нашла огромная черная туча, и скоро все потемнело. Старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных глаз с лица безмолвного императора, и вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул: «Детушки, антихрист!» В это время вместе с оглушительным ударом гро-

ма в храме вспыхнула огромная круглая молния и покрыла собой старца. Все замерло на мгновение, и, когда оглушенные христиане пришли в себя, старец Иоанн лежал мертвый.

Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию: «Вы видели суд Божий. Я не хотел ничьей смерти, но мой Отец небесный мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всеизыщим? Секретари! Запишите: вселенский собор всех христиан, после того как огонь с небес поразил безумного противника божественного величества, единогласно признал державного императора Рима и всей Вселенной своим верховным вождем и владыкой».

Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму: «*Contradicitur*». Папа Петр Второй встал и с побагровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору. «Наш единый Владыка — Иисус Христос, Сын Бога живого. А ты кто — ты слышал. Вон от нас, Каин-братоубийца! Вон, сосуд диавольский! Властию Христовой я, служитель служителей Божиих, навек извергаю тебя, гнусного пса, из ограды Божией и предаю отцу твоему, Сатане! Анафема, анафема, анафема!» Пока он говорил, великий маг беспокойно двигался под своею мантиею, и громче последней анафемы загремел гром, и последний папа пал бездыханным.

«Так от руки отца моего погибнут все враги мои», — сказал император. «*Pereant, pereant!*» — закричали дрожащие князья церкви. Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага и сопровождаемый всею своею толпою, в двери за эстрадою. В храме остались два мертвца и тесный круг полуживых от страха христиан.

Единственный, кто не растерялся, был профессор Паули Общий ужас как будто возбудил в нем все силы духа. Он и наружно переменился — принял величавый и вдохновенный вид. Решительными шагами взошел он на эстраду и, сев на одно из опустевших статс-секретарских мест, взял лист бумаги и стал на нем что-то писать. Кончивши, он встал и громогласно прочел: «Во славу единого Спасителя нашего Иисуса Христа. Вселенский собор Божиих церквей, собравшийся в Иерусалиме после того, как блаженнейший брат наш Иоанн, предстоятель восточного христианства, обличил великого об-

манщика и врага Божия в том, что он есть подлинный антихрист, предсказанный в слове Божием, а блаженнейший отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от церкви Божией, ныне перед телами сих двух, убиенных за правду, свидетелей Христовых постановляет: прекратить всякое общение с отлученным и с мерзким соборищем его и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса Христа».

Одушевление овладело толпой, и раздались громкие голоса: «*Adveniat! Adveniat cito! Komm, Herr Jesu, komm!* Гряди, Господи Иисусе!»

Профессор Паули приписал и прочел: «Приняв единогласно сей первый и последний акт последнего вселенского собора, подписываем свои имена», — и он сделал пригласительный знак собранию. Все поспешно всходили на возвышение и подписывались. В конце крупным готическим шрифтом подписался: «*Diutum defunctorum testium locum tenens Ernst Pauli*».

«Теперь идем с нашим кивотом последнего завета!» — сказал он, указывая на двух покойников. Тела были подняты на носилках. Медленно, с пением латинских, немецких и церковнославянских гимнов, направились христиане к выходу из Харам-эш-Шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарем в сопровождении офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа, а статс-секретарь с возвышения прочел: «Повеление божественного величества: для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнем, выставить публично на улице Христиан (Харет-эн-Насара), у входа в главный храм этой религии, именуемый Гробом Господним, а также Воскресения, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти. Упорствующие же их единомышленники, злобно отвергающие все наши благодеяния и бездумно закрывающие глаза на явные знамения самого божества, освобождаются нашим милосердием и представительством нашим перед отцом небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес и оставляются на полной своей воле с

единственным запрещением, ради общего блага, обитать в городах и других населенных местах, дабы не смущали и не созблазняли они невинных и простодушных людей, своими злобными вымыслами». Когда он кончил, восемь солдат по знаку офицера подошли к носилкам с телами.

«Да свершится написанное», — сказал профессор Паули, и христиане, державшие носилки, безмолвно передали их солдатам, которые удалились через северо-западные ворота, а христиане, выйдя через северо-восточные, поспешно направились из города мимо Масличной горы в Иерихон по дороге, которую предварительно жандармы и два кавалерийские полка очистили от народной толпы. На пустынных холмах у Иерихона решено было ждать несколько дней.

На следующее утро из Иерусалима прибыли знакомые христианские паломники и рассказали, что происходило в Сионе. После придворного обеда все члены собора были приглашены в огромную тронную палату (около предполагаемого места Соломонова престола), и император, обращаясь к представителям католической иерархии, заявил им, что благо церкви, очевидно, требует от них немедленного избрания достойного преемника апостола Петра, что по обстоятельствам времени избрание должно быть суммарно, что присутствие его, императора, как вождя и представителя всего христианского мира с избытком восполнит ритуальные пропуски и что он от имени всех христиан предлагает Священной Коллегии избрать его возлюбленного друга и брата Аполлония, дабы их тесная связь сделала прочным и неразрывным единение церкви и государства для общего их блага. Священная Коллегия удалилась в особую комнату для конclave и через полтора часа возвратилась с новым папой Аполлонием.

А между тем как происходили выборы, император кротко, мудро и красноречиво убеждал православных и евангелических представителей, ввиду новой великой эры христианской истории, покончить старые распри, ручаясь своим словом, что Аполлоний сумеет навсегда упразднить все исторические злоупотребления папской власти. Убежденные этою речью, представители православия и протестантства составили акт соединения церквей, и, когда Аполлоний с кардиналами показался в палате

при радостных кликах всего собрания, греческий архиерей и евангелический пастор поднесли ему свою бумагу. «Accipio et apprabo et laetificatur cor meum», — сказал Аполлоний, подписывая документ. «Я такой же истинный православный и истинный евангелист, каков я истинный католик», — прибавил он и дружелюбно облобызлся с греком и немцем. Затем он подошел к императору, который его обнял и долго держал в своих объятиях.

В это время какие-то светящиеся точки стали носиться во дворце и во храме по всем направлениям, они росли и превращались в светлые формы странных существ, невиданные на земле цветы посыпались сверху, наполняя воздух неведомым ароматом. Сверху раздались восхитительные, прямо в душу идущие и хватающие за сердце звуки неслыханных дотоле музыкальных инструментов, и ангельские голоса незримых певцов славили новых владык неба и земли. Между тем раздался страшный подземный гул в северо-западном углу Срединного дворца под куббет-эль-аруах, т.е. куполом душ, где, по мусульманским преданиям, вход в преисподнюю. Когда собрание по приглашению императора двинулось в ту сторону, все ясно услышали бесчисленные голоса, тонкие и пронзительные, не то детские, не то дьявольские, — восклицавшие: «Пришла пора, пустите нас, спасители, спасители!» Но когда Аполлоний, припавши к скале, трижды прокричал что-то вниз на неизвестном языке, голоса умолкли, и подземный гул прекратился.

Между тем необъятная толпа народа со всех сторон окружила Харам-эш-Шериф. При наступлении ночи император, вместе с новым папой, вышел на восточное крыльцо, подняв «бурю восторгов». Он приветливо кланялся во все стороны, тогда как Аполлоний, из подносимых ему кардиналами-дьяконами больших корзин, непрерывно брал и бросал по воздуху загоравшиеся от прикосновения его руки великолепные римские свечи, ракеты и огненные фонтаны, то фосфорически-жемчужные, то ярко-радужные, и все это, достигая земли, превращалось в бесчисленные разноцветные листы с полными и безусловными индульгенциями на все грехи прошедшие, настоящие и будущие. Народное ликование перешло всякие пределы.

Правда, некоторые утверждали, что видели своими глазами, как индульгении превращались в преотвратительных жаб и змей. Тем не менее огромное большинство было в восторге, и народные празднества продолжались еще несколько дней, причем новый папа-чудотворец дошел до вешей столь диковинных и невероятных, что передавать их было бы совершенно бесполезно.

Тем временем у пустынных высот Иерихона христиане предавались посту и молитве. Вечером четвертого дня, когда стемнело, профессор Паули с девятью товарищами на ослах и с телегой пробрались в Иерусалим и, боковыми улицами мимо Харам-эш-Шерифа, выехали на Харет-эн-Насара и подошли к входу в храм Воскресения, где на мостовой лежали тела папы Петра и старца Иоанна. На улице в этот час было безлюдно, весь город ушел к Харам-эш-Шерифу. Каравальные солдаты спали глубоким сном. Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим, но, лишь только они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились, стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба ожившие встали на ноги целыми и невредимыми.

И заговорил оживший старец Иоанн: «Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом — едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!» И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: «*Tu est Petrus!* — обратился он к папе. — *Jetzt ist es ja grundlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt!*». — И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: «*So also, Vaterchen — nun sind wir ja Eins in Christo*». Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте.

Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось на небе великое знамение: жена, облеченный в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул: «Вот наша хоругвь! Идем за нею». И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпою христиан, к Божьей горе, Синаю...

(Тут читавший остановился.)

ДАМА. Что же вы не продолжаете?

Г(-и) Z. Да рукопись не продолжается. Отец Пансофий не успел окончить своей повести. Уже больной, он мне рассказывал, что хотел писать дальше — «вот как только выздоровлю» Но он не выздоровел, и конец его повести погребен вместе с ним в Даниловском монастыре.

ДАМА. Но ведь вы же помните, что он вам говорил, — так расскажите.

Г(-и) Z. Помню только в главных чертах. После того как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда изо всех стран стекались к ним толпы верных ревнителей истины, новый папа мог беспрепятственно разворачивать своими чудесами и диковинами всех остальных, не разочаровавшихся в антихристе, поверхностных христиан. Он объявил, что властью своих ключей он отворил двери между земным и загробным миром, и действительно общение живых и умерших, а также людей и демонов сделалось обычным явлением, и развились новые, неслыханные виды мистического блуда и демонолatriи.

Но только что император стал считать себя крепко стоящим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного «отчего» голоса объявил себя единственным истинным воплощением верховного божества вселенной, как пришла на него новая беда, откуда никто ее не ожидал: поднялись евреи. Эта нация, которой численность дошла в то время до тридцати миллионов, была не совсем чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Когда же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача — установить всемирное владычество Израиля, то евреи признали его Мессией, и их восторженная преданность ему не имела предела. И вдруг они восстали, дыша гневом и местью.

Этот оборот, несомненно предуказанный и в Писании и в предании, представлялся отцом Пансофием, быть может, с излишнею простотой и реализмом. Дело в том, что евреи, считавшие императора кровным и совершенным израильянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием. Беспредельная и горячая преданность спасителю Израиля, обетованному Мессии сменилась столь же беспрепредельною и столь же горячею ненавистью к коварному обманщику, к наглому самозванцу. Все еврейство стало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства — упованием и гневом своей вековой мессианской веры.

Император, не ожидавший сразу такого взрыва, потерял самообладание и издал указ, приговаривавший к смерти всех непокорных евреев и христиан. Многие тысячи и десятки тысяч, не успевших вооружиться, беспощадно избивались. Но скоро миллионная армия евреев овладела Иерусалимом и заперла антихриста в Харам-эш-Шерифе. В его распоряжении была только часть гвардии, которая не могла пересилить массу неприятеля. С помощью волшебного искусства своего папы императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха.

Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы — под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, сливвшись в однопламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки, и неотлучно сопровождавшего его папу Аполлония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму, в страхе и трепете взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростертых руках. В то же

время от Синая к Сиону двигалась толпа христиан, предводимых Петром, Иоанном и Павлом, а с разных сторон бежали еще иные восторженные толпы: то были все казненные антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились с Христом на тысячу лет

На этом отец Пансофий хотел и кончить свою повесть, которая имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса, состоящую в явлении, прославлении и крушении антихриста.

ПОЛИТИК. И вы думаете, что эта развязка так близка?

Г(-и) Z. Ну, еще много будет болтовни и суэтни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено.

ДАМА. Но в чем же окончательно смысл этой драмы? И я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый, не злой?

Г(-и) Z. То-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что «антихриста на одних пословицах не объяснишь». Он весь объясняется одною, и притом чрезвычайно простоватою, пословицей: Не все то золото, что блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра — хоть отбавляй, ну а существенной силы — никакой.

ГЕНЕРАЛ. Но заметьте тоже, на чем занавес-то в этой исторической драме опускается: на войне, на встрече двух войск! Вот и конец нашего разговора вернулся к своему началу. Как вам это нравится, князь?.. Батюшки! Да где же князь?

ПОЛИТИК. А вы разве не видели? Он потихоньку ушел в том патетическом месте, когда старец Иоанн антихриста к стене прижал. Я тогда не хотел прерывать чтения, а потом забыл.

ГЕНЕРАЛ. Сбежал, ей-Богу, второй раз сбежал. А ведь как себя пересиливал. Ну а этой марки все-таки не выдержал. Ау ты, Господи!

Федор Достоевский

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя; если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда была смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научился тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне

с годами, и если о, случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не мог определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало все равно, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость,

сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все разно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было все равно, они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль. Я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелись. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочек и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в оз-

нобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернулся к ней лицом, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прекричала лишь: «Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, а она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страха какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько

бы их там ни было, — мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета, и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я ихпускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом, — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя,

например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подłość сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан; застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Пошло, что сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на Земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с Земли на Луну, — было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдал ястреб. У капитана

же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски-мелочью отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремят не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой посмер и скончен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой истины и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материалах. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце — в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так я во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно, я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концами пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль. «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля...» А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг позвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною: существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни

постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я возвзвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь, я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидел в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердца. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует. «А, стало быть, есть и за гробом жизни!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине. «И если надо быть снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощущив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют

меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчавшего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на Землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отзывалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для

чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызalo их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих

людей звучала детская радость, О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увили меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и

любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить ихими, или хотя бы только из любви к ним. Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немногого и слегка. У них была любовь и дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле; всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор, не было ревности, и они не понимали даже, что это значит Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видел, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они

соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то наущенное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проникали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все и более. Я часто говорил им, что я все это давно прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущую тоскою, доходившую подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на земле нашей на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска; зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им

говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, — Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем; но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был волютить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стущеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше и светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать, пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех!

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд, и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными, счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготовили это желание, выстроили храмов и стали молиться своей же идее, своему «желанию», в то же время вполне веря в неис-

полнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтобы они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они, наверно бы, отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами! и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая, любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а

если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь смысл. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирая к ним руки, в отчаянии обвиняя, прогнивая и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся.

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении: никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей; никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и Жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине: не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в

ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю тех, которые надо мной смеются, больше всех остальных, почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то идет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, сбьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я сбьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот ужо первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот это насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они

так гордятся! Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не быть раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

...И дух рвался за грань подлунных сфер...
— А там, в выси, где пела Безмятежность,
Смеялся алым взором Люцифер,
И, шелестя неслышными крылами,
Глядел на нас, искателей химер,
И сумрачно смеялся над мечтами —
Торжественный и властный Люцифер.
Очами звезд сверкающий над нами!..

*Борис Гуревич. Вечно человеческое.
Книга космической поэзии*

В книге «Полдень, XIX век» собраны фантастические рассказы писателей необычных, с яркими талантами, оригинальными воззрениями на мир и странными судьбами. Польский шляхтич Фаддей Булгарин, воевавший в кампании 1812 года сначала на стороне французов, затем против них, издатель «Северной пчелы», расходившейся неслыханными для того времени тиражами. Князь Владимир Одоевский, считавший чернокнижие предтечей современной ему науки. Григорий Данилевский, тайный советник Главного управления по делам печати, имевший доступ к секретным архивам. Федор Достоевский, философ и мистик, приговоренный к смертной казни и помилованный за минуту до расстрела. Основатель «русского космизма» Николай Федоров. Владимир Соловьев, богоборец, ставший впоследствии знаменитым религиозным философом, бездомный одинокий искатель Истины.

Все они в значительной степени повлияли на сознание современников. Высказанные ими идеи ломали общественные стереотипы, разрывали порочный круг показной, фарисейской морали, уносили мысли читателей в вечность —

туда, где прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино, где обнажаются тайны мироздания, где слышен тихий шепот абсолютной, конечной правды...

Психологизм, глубина философских обобщений — все то, что делает золотой век русской классики уникальным явлением мировой культуры, — все это, безусловно, черты не только крупной прозы девятнадцатого столетия, но и прозы малого жанра. Уже поэтому фантастические рассказы русских классиков невозможно воспринимать только как развлекательное чтение. Эти произведения даже сложно назвать просто фантастическими, к ним более подходит определение «предвидческие».

Поражает прежде всего та пугающая достоверность, с которой будущее, описанное в рассказах отечественных фантастов, стало сегодняшней реальностью. Самолеты, космические и подводные корабли, телевизор, электрическое освещение, электронный микроскоп, газопровод, пулемет и даже бульонные кубики — все эти открытия науки были предсказаны русскими писателями задолго до появления в печати романов Жюля Верна и Герберта Уэллса, западных «родоначальников» научной фантастики. Стали явью значимые события и явления современной истории: Первая и Вторая мировые войны, революция, проблема перенаселения планеты, кризис энергоресурсов, рост экономической мощи и политического влияния Китая, противостояние западной цивилизации и исламского мира.

В развитии русской фантастики девятнадцатого века заметна определенная эволюция. Восторженное отношение к возможностям человеческого разума, слепая вера в научный прогресс уступают место размышлению о роли человека в техногенном будущем. Царство разума и благоденствия, столь живо обрисованное Владимиром Одоевским в романе «4338 год», перестает казаться лишь утопической мечтой о земном рае. Сквозь туман грядущего проступают пугающие черты иного мира, подчиненного законам логики, в котором прагматизм становится основным поведен-

ческим принципом, а технология заменяет творение Цивилизация будущего, превратившая природу в мастерскую, обретшая власть над пространством и временем, начинает терять человеческие черты. Так, общество «разумных» людей, описанное в рассказе «Город без имени», доходит в своем стремлении к чистой пользе до отрицания собственной культуры. Однако единство товарно-денежных интересов не может защитить жителей «города без имени» от природных бедствий, голода, болезней. Упразднив науку и религию, они стремительно деградируют и вымирают. Не менее мрачным представляется будущее и Николаю Федорову («Вечер в 2217 году»). Общество всеобщего равенства, основанное на принципе уже не личной, но общей пользы, стремясь превратить героя рассказа в бездушную машину, лишает ее жизнь смысла и по сути оставляет ей единственный путь к свободе — суицид.

Наиболее ярко образ человека грядущего воплотился в главном герое повести Владимира Соловьева. Долгожданный вождь человечества, богослов и философ, гуманист, устранивший войны и нужду, он провозглашает Эру Благоденствия, воплощает в реальность сокровенные мечты о рае на земле. Именно так Соловьев описывает преддверие конца Времен, царство Антихриста, процветание человечества и угасание человечности. Ибо суть человечности, коренное отличие его от иных существ, заключается не в силе мысли и воли, но прежде всего в сокровенном чувстве человеческого единства, в таинственной безусловной, внепрагматичной любви к ближнему.

Такова конечная истина жизни, открывшаяся и герою «Сна смешного человека» Федора Достоевского. Только переступив порог смерти, блуждая в иных мирах, столь отличных от земного, ему становится ясна природа человека, божественная и дьявольская составляющие души его. Склонный к глубоким философским обобщениям, писатель рисует трагический образ человечества, не только утратившего представление о смысле земного пути, но и само

стремление к жизни. Неужели оно должно пережить свою гибель, чтобы научиться отличать временное от вечного, форму от содержания, правду от лжи? Возможно, еще при нашей жизни мы узнаем ответ на этот вопрос...

*Александр Гулий,
кандидат филологических наук*

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Одоевский	
4338-й год. Петербургские письма	3
Фаддей Булгарин	
Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в двадцать девятом веке	37
Григорий Данилевский	
Жизнь через сто лет	79
Фаддей Булгарин	
Похождения Митрофанушки в Луне. Бред неспящего человека	103
Валерий Брюсов	
Гора Звезды	162
Фаддей Булгарин	
Предок и потомки	228
Владимир Одоевский	
Город без имени	260
Николай Федоров	
Вечер в 2217 году	276
Владимир Соловьев	
Краткая повесть об антихристе	296
Федор Достоевский	
Сон смешного человека	326
Послесловие составителя	
Назад в будущее	346

Корпорация «Сомбра» представляет

В серии «Это фантастика!»



уникальный
литературный
эксперимент

роман
Дмитрия Резаева
«Ферма»

2060 год... Вокруг места космической катастрофы в дикой степи разгорается схватка за инопланетные технологии. Тот, кому достанется таинственный «черный ящик», обретет невероятное могущество. Но способен ли человек со-владать с этой властью?

Полдень, XIX век.
Сборник фантастических произведений

Руководители проекта
А.С. Гулый, В.Ю. Исаев

ООО «Корпорация „Сомбра“»

Юридический адрес: 121096, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 3.
Почтовый адрес: 105120, Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д. 5/7
Тел./факс: (095) 916-78-12.
www.sombra.ru

Подписано в печать 15.08.2005.

Формат 84x108/32. Объем 11 п.л.

Бумага газетная. Гарнитура «Ньютон»

Печать офсетная.

Тираж 5000 экз.

Заказ № 654

Отпечатано

ГУП Московская типография № 2
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
129085, Москва, пр. Мира, 105. Тел.. 682-24-91

Полдень, XIX век

Коллекция
Сомбра

Когда речь заходит о фантастике XIX- начала XX веков, поклонники этого жанра прежде всего вспоминают Жюля Верна и Герберта Уэллса.

Космические путешествия, летающие корабли, боевые субмарины и другие плоды воображения этих писателей, ставшие реальностью, кажутся нам исключительным приоритетом западной литературы.

Имена же русских фантастов, предвидения которых затмевают самые смелые фантазии европейских авторов, незаслуженно забыты. А ведь им удалось прозреть не только технический облик нашего времени, но и многие политические события, оказавшиеся неожиданными даже для людей нашей эпохи.

Как знать, возможно, еще при жизни нынешнего поколения сбудутся и другие предсказания классиков русской фантастики: Фаддея Булгарина, Григория Данилевского, Николая Федорова...

Этот сборник - попытка воздать должное нашим соотечественникам, которые опередили свое время на века и познакомить с их творчеством современных любителей фантастики.

www.sombra.ru

ISBN 5-9106-4002-X



9 785910 640027